

ГЕНРИК  
СЕНКЕВИЧ

Потоп



✦ ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА ✦

Трилогия

Генрик Сенкевич

**Потоп**

«АСТ»

1886

## **Сенкевич Г.**

Потоп / Г. Сенкевич — «АСТ», 1886 — (Трилогия)

Самый знаменитый исторический роман польской литературы. Книга, на которой выросли поколения читателей. В 1974 году классик европейского кинематографа Ежи Гофман экранизировал «Потоп» – однако даже этой блестящей экранизации не удалось в полной мере передать масштаб и многогранность оригинального текста Сенкевича... Открывая этот роман, мы словно сами оказываемся в Речи Посполитой середины XVI века – эпохи войны со шведами, решившими любой ценой покорить Польшу и посадить на ее престол своего ставленника. Среди поляков тоже нет единства – многие магнаты и шляхтичи поддерживают шведов, а многие готовы положить жизнь во имя независимости родной земли... Таков фон, на котором разворачивается увлекательная история приключений отважного молодого дворянина Анджея Кмицица и его возлюбленной – прекрасной Оленьки Биллевич...

© Сенкевич Г., 1886

© АСТ, 1886

# Содержание

Часть первая	5
Вступление	5
Глава I	9
Глава II	18
Глава III	22
Глава IV	28
Глава V	38
Глава VI	48
Глава VII	53
Глава VIII	67
Глава IX	77
Глава X	82
Глава XI	103
Глава XII	110
Глава XIII	129
Глава XIV	145
Глава XV	152
Глава XVI	158
Глава XVII	163
Глава XVIII	181
Глава XIX	187
Глава XX	193
Конец ознакомительного фрагмента.	194



# Генрик Сенкевич

## Потоп

### Роман

#### Часть первая

#### Вступление

Был в Жмуди знатный род Биллевичей со многими отраслями, происшедший от Мендога и во всем Россиенском повете почитавшийся более прочих родов. Никому из Биллевичей не случилось стать вельможею, правили они только у себя в повете, однако на поле Марса оказали отчизне памятные услуги, за что в разное время были щедро жалованы наградами. Родовое гнездо их, сохранившееся и поныне, называлось тоже Биллевичами, но, кроме него, они владели многими другими поместьями и под Россиенами, и дальше к Кракинову, по Лауде, Шое, Невяжи и даже за Поневежем. Со временем род Биллевичей разделился на несколько домов, и родичи потеряли друг друга из виду. Съезжались все только в ту пору, когда в Россиенах, на равнине, называвшейся Станами, происходили смотры жмудского шляхетского ополчения. Встречались иной раз и под знаменами постоянного литовского войска да на сеймиках, а так как были сильны и богаты, то считаться с ними приходилось даже всемогущим в Литве и Жмуди Радзивиллам.

При короле Яне Казимире патриархом рода был Гераклиуш Биллевич, полковник легкой хоругви, подкоморий упитский. Он не жил в родовом гнезде, принадлежавшем в то время Томашу, мечнику россиенскому; сам Гераклиуш владел Водоктами, Любичем и Митрунами, которые лежали неподалеку от Лауды и, словно морем, были окружены землями мелкопоместной шляхты. Кроме Биллевичей, богатых домов в округе было немного: Соллогубы, Монтвиллы, Шиллинги, Корызны, Сицинские (впрочем, и мелкопоместной братии с такими прозваниями тоже было немало), и по всему лауданскому поречью раскинулись так называемые «околицы», или, проще сказать, застьянки, в которых обитала доблестная и славная в истории Жмуди лауданская шляхта.

В других местах род принимал название от застьянка или застьянок от рода, как бывало в Подлясье, а тут, в лауданском поречье, было по-иному. Тут в Морезах жили Стакьяны, которых в свое время поселил на здешних землях Баторий в награду за храбрость, проявленную под Псковом. В Волмонтовичах на плодородной земле хозяйствовали Бутрымы; великаны на всю Лауду, малоречивые, с тяжелой рукой, они во время сеймиков, набегов и войн привыкли молча ломить стеною. В Дрожейканах и Мозгах возделывали землю многочисленные Домашевичи, славные охотники; в пуще Зелёнке они хаживали на медведя под самый Вилькомир. Гаштовты обитали в Пацунелях; девушки их славились своею красотой, так что в конце концов всех красавиц в окрестностях Кракинова, Поневежа и Упиты стали звать «пацунельками». Соллогубы Малые выпасали на лесных пастбищах табуны коней и стада отличной скотины; Гостевичи из Гошун курили смолу в лесах, почему их и прозвали Гостевичами Черными, или Дымными.

Были и другие застьянки, были и другие роды. Названия многих сохранились поныне; но и застьянки по большей части лежат не там, где прежде лежали, и люди, которые живут в них, зовутся иначе. Пришли войны, бедствия, пожары; люди не всегда отстраивались на старом пепелище, словом, многое изменилось. Но в те времена еще цвела древняя Лауда, живя по старине, и слух о лауданской шляхте шел по всему краю, ибо незадолго до этого она под

водительством Януша Радзивилла сражалась под Лоевом против взбунтовавшихся казаков и покрыла себя великою славой.

Все лауданцы служили в хоругви старого Гераклиуша Биллевича: кто побогаче – товарищами одвуконь, кто победнее – об один конь, а самые бедные – простыми солдатами. Всегда это была воинственная шляхта, особенно любившая рыцарское свое искусство. Зато в тех делах, которыми обычно занимались сеймики, она мало разбиралась. Знала, что король – в Варшаве, Радзивилл и пан Глебович, староста, – в Жмуди, а пан Биллевич – в Водоктах на Лауде. Этого с нее было довольно, и голосовала она так, как учил пан Биллевич, твердо веря, что он хочет того же, что пан Глебович, тот в свой черед идет нога в ногу с Радзивиллом, Радзивилл – королевская рука в Литве и Жмуди, а уж король – супруг Речи Посполитой и отец всего шляхетского сословия.

Для могущественных биржанских владык пан Биллевич был не слугою, а скорее другом, притом неоценимым, ибо по первому зову у него была наготове тысяча голосов и тысяча лауданских сабель, а саблей в руке Стакьянов, Бутрымов, Домашевичей или Гаштовтов в то время не отважился пренебречь еще никто на свете. Все переменилось со временем, особенно после кончины пана Гераклиуша Биллевича.

А не стало отца и благодетеля лауданской шляхты в тысяча шестьсот пятьдесят четвертом году. Страшная война разгорелась в ту пору по всей восточной границе Речи Посполитой. Пан Биллевич не пошел уже на эту войну, годы не позволили и глухота; но лауданцы пошли. И вот когда пришла весть, что Радзивилл потерпел поражение под Шкловом, а лауданская хоругвь чуть не вся порублена в бою с наемной французской пехотой, удар разбил старого полковника, и он отдал Богу душу.

Весть о поражении привез некий пан Михал Володыёвский, молодой, но прославленный воитель, который по приказу Радзивилла командовал вместо пана Гераклиуша лауданской хоругвью. Уцелевшие лауданцы тоже возвратились в родные дома; измученные, подавленные, изголодавшиеся, они, как и все войско, роптали на великого гетмана, который уверовал в свою непобедимость и, решив, что одно его имя внушит страх врагу, с малыми силами бросился на вдесятеро сильнейшего противника и тем нанес много урону войску и всей отчизне.

Но ни один голос не поднялся при этом против молодого полковника, пана Ежи Михала Володыёвского. Напротив, те, кто ушел от погрома, превозносили полковника до небес и рассказывали чудеса о воинском его опыте и доблестях. Единственным утешением для уцелевших лауданцев были воспоминания о том, какие подвиги они совершили под предводительством пана Володыёвского: как одним ударом пробились в атаке сквозь первые ряды свежих войск, как потом, наткнувшись на французских наемников, в прах разнесли саблями лучший полк, причем пан Володыёвский собственноручно зарубил полковника, как, наконец, окруженные со всех сторон, отчаянно прорывались из огненного кольца, и падали, сраженные насмерть, и крушили врага...

С сожалением, но и с гордостью внимали этим рассказам лауданцы, не служившие в регулярном литовском войске, обязанные выступать только с шляхетским ополчением. Всюду ждали, что ополчение, эта последняя защита отчизны, в скором времени будет созвано. Наперед уговорились, что лауданским ротмистром выберут пана Володыёвского, который, хоть и был нездешний, но такой покрыл себя славой, что среди местной шляхты не было ему равного. Уцелевшие лауданцы рассказывали, что он спас от гибели самого гетмана. Поэтому вся Лауда на руках его носила, а застяжки наперехват зазывали в гости. Особенно спорили при этом Бутрымы, Домашевичи и Гаштовты: все хотели, чтобы пан Володыёвский погостил у них подольше. Сам же он так полюбил эту храбрую шляхту, что, когда остатки радзивилловского войска потянулись в Биржи, чтобы там оправиться после поражения, он не поехал с ними, а разъезжал себе по застямкам, пока не осел, наконец, прочно у Пакоша Гаштовта, который был старейшиной в Пацунелях.

По правде сказать, пан Володыёвский и не мог бы уехать в Биржи, он тяжело хворал: сперва томила его злая горячка, потом от контузии, которую он получил еще под Цибиховом, отнялась правая рука. Три дочери Пакоша, знаменитые красавицы, стали заботливо за ним ухаживать и дали клятву вернуть столь славному кавалеру прежнее здоровье, а шляхта, кто только остался жив, занялась похоронами старого своего полковника, пана Гераклиуша Биллевича.

После похорон было вскрыто духовное завещание покойного, из которого обнаружилось, что наследницей всех владений, за исключением деревни Любич, старый полковник назначил внучку свою – Александру Биллевич, упитскую ловчанку, опеку же до ее замужества вверил всей лауданской шляхте.

«...Пусть те, кто ко мне был приязнен, – гласило духовное завещание, – и любовью платил за любовь, таковыми же будут и для сироты и в нынешние времена злонравия и злокозненности, когда никто не огражден от людского своеволия и злобы и не может не ведать страха, в память обо мне примут сироту под кров свой и защиту.

Надлежит блюсти им также, дабы она без препон пользовалась владениями, за исключением деревни Любич, каковую я в дар приношу, завещаю и отписываю пану Кмицицу, хорунжему оршанскому, дабы в том оному никто не чинил препятствий. Да ведают те, кто будет дивиться моему к вельможному пану Анджею Кмицицу благорасположению или усмотрит в том обиду для внушки моей родной, Александры, что с молодых лет и до смертного часа я знал от родителя оного Анджея Кмицица лишь приязнь и братскую любовь. С ним вместе мы в походы ходили, и он мне не однажды жизнь спасал, а когда злоба и *invidia*<sup>1</sup> панов Сицинских замыслили отнять у меня имение, он и в той беде мне помог. Тогда я, Гераклиуш Биллевич, подкоморий упитский, недостойный грешник, ныне предстоящий судилищу Христову, четыре года тому назад (еще живой и земную юдоль попиравший) отправился к пану Кмицицу-отцу, мечнику оршанскому, дабы благодарность ему принести и дать залог верной дружбы. Там же по старому обычаю, шляхетскому и христианскому, постановили мы с общего согласия, чтобы дети наши, сиречь сын его Анджей и внушка моя Александра, ловчанка, сочетались браком, дабы потомство произвести во славу Божию и на благо Речи Посполитой. Чего я всем сердцем желаю и внучку мою Александру к исполнению означенной моей воли обязываю, разве только пан хорунжий оршанский, упаси Бог, зазорными делами себя опорочит и чести будет лишен. Буде вотчины лишится, что на той границе, под Оршей, легко может случиться, и тогда надлежит ей с благословения моего поять его в супруги, и буде Любича лишится, на то не взирать.

Буде же, по особому соизволению Божию, внушка моя пожелает во славу Господа Бога принести на алтарь его свое девство и принять монашеский чин, тогда может она совершить сие, ибо слава Божия превыше славы человеческой...»

Так распорядился пан Гераклиуш Биллевич своими владениями и внушкой, чему никто особенно не удивился. Панна Александра давно уже знала, что ее ждет, и шляхта давно слыхала о дружбе между Биллевичем и Кмицицами, да и умы в ту смутную пору другим были заняты, так что в скором времени о духовном завещании и думать забыли.

Но в усадьбе в Водоктах только и разговору было что о Кмицицах, верней, о пане Анджее, потому что старого мечника тоже не было уже в живых. Кмициц со своей небольшой хоругвью и оршанскими охотниками был под Шкловом. Потом пропал из виду; однако никто не думал, что он погиб, ибо смерть столь знатного кавалера, наверно, не прошла бы незамеченной. В Оршанской земле Кмицицы принадлежали к знати и владели большими поместьями: но в том краю все погибло в огне войны. Целые поветы и земли были обращены в пустыню, имения разорены, люди перебиты. После поражения Радзивилла никто уже больше не давал отпора врагу. Госевский, гетман польный, не располагал силами; коронные гетманы с остатками войск сражались на Украине и не могли прийти ему на помощь, так же как и сама Речь Посполитая,

<sup>1</sup> зависть, ненависть (лат.).

истощенная войнами с казачеством. Вражеская волна все глубже заливала край, лишь кое-где разбиваясь о крепостные стены; но и крепости пали одна за другой, как пал Смоленск. Смоленское воеводство, где лежали владения Кмицицев, почитали потерянным. Во всеобщем смятении и всеобщем страхе люди рассеялись, как листья, гонимые ветром, и никто не знал, что случилось с молодым оршанским хорунжим.

Но до Жмудского староства война еще не докатилась, и лауданская шляхта начала понемногу оправляться после шкловского поражения. Застянки съехались на совет о делах державных и частных. Бутрымы, самые воинственные, ворчали, что надо ехать в Россиены на congressus<sup>2</sup> шляхетского ополчения, а там и к Госевскому, чтобы отомстить за шкловское поражение. Домашевичи Ловецкие углублялись в леса, в Роговскую пушу, и, доходя до самых вражеских отрядов, привозили оттуда вести; Гостевичи Дымные вялили мясо в дыму для будущих походов. Из дел частных решено было послать людей бывалых и опытных на розыски пана Анджея Кмицица.

Совет держали лауданские старики под предводительством Пакоша Гаштовта и Касьяна Бутрыма, двоих здешних патриархов; вся шляхта, чрезвычайно польщенная доверием, оказанным ей покойным паном Биллевичем, поклялась неукоснительно выполнить его волю и окружить панну Александру родительской заботой. Потому-то и было спокойно на берегах Лауды, хотя даже в тех краях, куда война еще не дошла, вспыхивали раздоры и смуты. Никто не оспаривал прав молодой помещицы, не запахивал ее меж, не срывал межевых холмиков, не вырубал меченых сосен на лесных рубежах, не захватывал пастбищ. Напротив, все помогали богатой помещице, чем только могли. Стакьяны, которые жили на берегу реки, присылали соленую рыбу; из Волмонтовичей, от ворчливых Бутрымов, поступало зерно, от Гаштовтов – сено, от Домашевичей Ловецких – дичь, от Гостевичей Дымных – смола и деготь. Панну Александру иначе не называли, как «наша панна», а красавицы шляхтянки поджидали пана Кмицица с таким же нетерпением, как и она.

Тем временем пришли вицы о созыве шляхетского ополчения, и зашевелилась шляхта на Лауде. Юноша возмужалый и муж, еще не согбенный годами, – всяк должен был садиться на коня. Ян Казимир прибыл в Гродно и назначил там общий сбор. Туда все и направились. Первыми двинулись в молчании Бутрымы, за ними прочая шляхта, а Гаштовты, как всегда, поехали последними, потому что жаль им было покидать своих красоток. Из других земель явилось мало шляхты, и отчизна осталась без обороны; но верная Лауда явилась вся.

Пан Володыевский не поехал, он не владел еще рукою и остался с красавицами как бы за войского. Опустили застянки, одни только старики да женщины сживали вечерами у очагов. Тихо было в Поневеже и Упите, всюду ждали новостей.

Панна Александра тоже заперлась в Водоктах и никого не видела, кроме слуг да своих лауданских опекунов.

---

<sup>2</sup> сбор, встреча (лат.).



## Глава I

Наступил новый, тысяча шестьсот пятьдесят пятый, год. Январь стоял морозный, но сухой; белым покровом толщиной в локоть одела святую Жмудь суровая зима; под тяжестью инея гнулись и ломались деревья, днем на солнце снег слепил глаза, а ночью при свете луны словно искры пробегали по насту; зверь подходил к людскому жилью, а бедные птицы стучали клювами в запущенные инеем, украшенные морозным узором оконца.

Однажды вечером панна Александра сидела в людской с сенными девушками. Старый это был обычай в роду Биллевичей – проводить вечера с челядью, когда не было гостей, и петь божественные песни, на собственном примере воспитывая простолюдинов. Так поступала и панна Александра, тем охотней, что ее сенные девушки были все больше шляхтянки, убогие сироты. Они делали всякую, даже самую черную, работу, были у госпожи служанками, зато их учили добронравию и обходились с ними лучше, нежели с простыми девками. Впрочем, были среди них и холопки, которых можно было отличить по языку: многие из них не умели говорить по-польски.

Панна Александра со своей родичкой панной Кульвец сидела посредине людской, а девушки по бокам на лавках, все за прялками. В большом очаге с нависшим шатром горели сосновые корневища и бревна, то притухая, то снова вспыхивая ярким огнем или рассыпаясь искрами, когда паренек, стоявший у очага, подкидывал березовых поленьев и щепок. При вспышках пламени были видны темные бревенчатые стены огромной избы с очень низким, перекрытым балками потолком. На балках, покачиваясь от тепла, висели на нитках разноцветные звездочки, вырезанные из облаток, а с балок глядели мотки чесаного льна, свисавшие по обе стороны, словно добытые в бою турецкие бунчуки. Балки были сплошь завалены ими. Оловянная посуда всяких размеров, поставленная на длинные дубовые полки или прислоненная к темным стенам, блестела, как звезды.

В глубине людской, у двери, косматый жмудин, мурлыча под нос заунывную песенку, крутил оглушительно гудевшие жернова; панна Александра в молчании перебирала четки; девушки пряли, тоже ни слова не говоря друг другу.

Отблески огня падали на их молодые румяные лица, а они под суровым оком панны Кульвец усердно, словно наперегонки, пряли свою пряжу, левой рукою щипля мягкий лен, а правой крутя веретена. Они то переглядывались, то вскидывали быстрые глаза на панну Александру, словно в ожидании, скоро ли она велит жмудину перестать молотить и запоем божественную песню, но работать не переставали, все пряли да пряли; вились нити, жужжали веретена, мелькали спицы в руках панны Кульвец, а косматый жмудин гудел на своих жерновах.

Однако порой он прерывал работу, видно, что-то портилось у него в жерновах, потому что тут же раздавался его сердитый голос:

– Padlas!<sup>3</sup>

Панна Александра поднимала голову, словно пробужденная тишиной, которая воцарялась после возгласа жмудина; огонь освещал тогда ее белое лицо и спокойные голубые глаза, глядевшие из-под черных бровей.

Она была хороша собою, с льняными косами, тонким лилейным личиком. Белого цветка была у нее красота. В черном смирном платье девушка с виду казалась строгой. Сидя у очага, она предавалась своим мыслям, как снам, верно, думала о своей судьбе, о будущем, которое было темно.

По духовному завещанию в супруги ей был предназначен человек, которого она не видала с десяти лет; ей шел теперь двадцатый год, и у нее осталось лишь смутное воспоминание о

---

<sup>3</sup> Подлый! (литов.)

шумном подростке, который в бытность свою с отцом в Водоктах больше носился с ружьем по болотам, чем глядел на нее.

«Где-то он и каким стал теперь?» – вот вопросы, которые теснились в уме сумрачной девушки.

Правда, она знала его по рассказам покойного подкомория, который за четыре года до своей кончины совершил далекое и трудное путешествие в Оршу. По этим рассказам это был «кавалер беззаветной храбрости, но горячая голова». После того как старый Биллевич и Кмициц-отец сговорили детей, кавалер должен был сразу же приехать в Водокты на смотрины; но тут разгорелась великая война, и вместо того, чтобы ехать к невесте, кавалер отправился на поля Берестечка. Там его подстрелили, он лечился дома, потом ухаживал за умирающим отцом, а там снова вспыхнула война – и так прошли четыре года. Немало воды утекло и со времени кончины полковника, а меж тем о Кмицице и слух пропал.

Было о чем подумать панне Александре, а может, тосковала она о суженом своем незнакомом. Чистое сердце ее, еще не знавшее любви, было исполнено великой готовности любить. Достаточно было искры, чтобы в нем зажегся огонь, спокойный, но яркий, ровный, сильный и неугасимый, как священный языческий огонь у литвинов.

Тревога охватывала ее, порою сладкая, порой томительная, и в душе она все задавала себе вопросы, на которые не было ответа, и прийти он мог только с далеких полей. И первый вопрос был: по доброй ли воле женится он на ней и ответит ли на зов ее сердца, готового любить? В те времена было обычным делом сговаривать детей, и даже после смерти родителей связанные благословением дети чаще всего не нарушали родительской воли. Так что панна Александра ничего особенного не видела в том, что ее просватали; но одно дело добрая воля, а другое дело долг – не всегда они ходят в паре. Вот и эта дума томила белокурую ее головушку: «А полюбит ли он меня?» И нахлынули мысли, словно стая птиц слетелась на одинокое дерево в широком поле: «Кто ты? Каков ты? Живой ли бродишь по свету иль сложил уже свою голову? Далёко ль ты, близко ли?» Открытое сердце девушки, будто дверь, открытая навстречу милому гостю, невольно зывало к далекой стороне, к заснеженным лесам и полям, окутанным ночью: «Отзовись же, добрый молодец! Нет ведь ничего горше на свете, чем ждать!»

И вдруг, точно в ответ на ее зов, снаружи, из этих заснеженных, окутанных ночью далее до слуха ее долетел звон колокольчика.

Девушка вздрогнула, но тут же вспомнила, что из Пацунелей почти каждый вечер присылают за лекарствами для молодого полковника; то же подумала и панна Кульвец.

– От Гаштовтов за териакон, – сказала она.

Частый звон колокольчика, подвязанного к дышлу, звучал все явственней и вдруг смолк; видно, санки остановились у крыльца.

– Погляди, кто там приехал, – велела панна Кульвец жмудину, крутившему жернова.

Жмудин вышел из людской, но через минуту вернулся и снова взялся за ручку жерновов.

– Панас Кмитас, – сказал он невозмутимо.

– И слово стало плотью! – воскликнула панна Кульвец.

Пряхи повскакали с мест; прялки и веретена попадали наземь.

Панна Александра тоже встала; сердце колотилось у нее в груди, лицо то краснело, то бледнело; она нарочно отвернулась от очага, чтобы не показать своего волнения.

Но тут в дверях появилась чья-то высокая фигура в шубе и меховой шапке. Молодой мужчина шагнул на середину избы и, поняв, что находится в людской, звучным голосом, не снимая шапки, спросил:

– Эй, а где же ваша панна?

– Я здесь, – довольно твердым голосом ответила панна Александра.

Услышав эти слова, приезжий снял шапку, бросил ее наземь и сказал с поклоном:

– Я – Анджей Кмициц.

На одно короткое мгновение глаза панны Александры остановились на лице Кмицица, девушка тотчас потупила взор; но за это короткое мгновение она успела заметить светло-русую, как рожь, высоко подбритую чуприну, быстрый взгляд серых глаз, темный ус, орлиный нос и лицо, смуглое, молодое, веселое и смелое.

Он же левой рукой в бок уперся, правую к усу поднес и вот что сказал:

– Не был я еще в Любиче, птицей летел сюда, чтобы панне ловчанке в ноги поклониться. Прямо из ратного стана принес меня сюда ветер, дай-то Бог, чтобы счастливый.

– Знал ли ты, пан, про смерть дедушки моего, подкомория? – спросила девушка.

– Не знал, но, как сказали мне об его кончине твои сермяжнички, что отсюда приезжали ко мне, горькими слезами оплакал я моего благодетеля. Истинным другом, можно сказать, братом был он покойному моему родителю. Верно и ты, панна, хорошо знаешь, что четыре года назад приезжал он к нам, под Оршу. Тогда и обещал мне покойный тебя и портретец твой показал, с той поры и вздыхал я по тебе по ночам. Я бы и раньше приехал, да война не родимая матушка, людей сватает только со смертью.

Смутили немного девушку эти смелые речи, и, желая переменить разговор, она спросила:

– Так ты, пан, еще не видал своего Любича?

– Успеется. Тут у меня дела поважней и наследство подороже, хочу его вперед получить. Только что же это ты, панна, все отвертываешься от огня, я и в глаза заглянуть тебе не могу. Вот так, сюда повернись, а я со стороны печи зайду! Вот так!

С этими словами смелый солдат схватил не ожидавшую этого Оленьку, крутнул ее, как волчок, и повернул к огню.

Она еще больше смутилась и, прикрыв глаза длинными ресницами, стояла так, устыдившись и света, и собственной своей красоты. Кмициц отпустил ее наконец и хлопнул себя по кунтушу.

– Ей-же-ей, чудо как хороша! На сто служб дам за упокой души моего благодетеля, что мне тебя отписал. Когда свадьба?

– Не скоро, я еще не твоя, – ответила Оленька.

– Но будешь моей, хоть бы мне дом пришлось поджечь! Боже мой! Я думал, живописец польстил тебе, а вижу, он далеко метил, да промашку дал. Сто плетей такому мастеру, печи ему малевать, а не такую красу писать, что гляжу вот – и не нагляжусь. Милое дело – получить такое наследство, разрази меня гром!

– Верно мне покойный дедушка говорил, что ты, пан, горячая голова.

– Мы, смоленские, все такие, не то что ваши жмудины. Раз, два – и быть по-нашему, а нет, так смерть!

Оленька улыбнулась и сказала уже совсем твердым голосом, поднимая на кавалера взор:

– Э, да у вас, верно, татары живут?

– Все едино, ты, панна, моя и по родительской воле, и по сердцу.

– Вот по сердцу ли, я того еще не знаю.

– Коли нет, я ножом себя пырну!

– Ты, пан, все с шуточками!.. Что же это, однако, мы в людской стоим! Прошу в покои. После дальней дороги и поужинать не мешает – прошу!

Тут Оленька обратилась к панне Кульвец:

– Вы, тетушка, с нами?

Молодой хорунжий бросил быстрый взгляд.

– Тетушка? – спросил он. – Чья тетушка?

– Моя, панна Кульвец.

– Стало быть, и моя! – подхватил он и стал целовать панне Кульвец руки. – Боже ты мой, да ведь у меня в хоругви есть товарищ по прозванию Кульвец-Гиппоцентаврус. Скажи, пожалуйста, не родня ли он тебе, тетушка?

– Сродни! – приседая, ответила старая дева.

– Хороший парень, но ветрогон, как и я! – прибавил Кмициц.

Тем временем появился слуга с огнем, и все прошли сперва в сени, где пан Анджей снял шубу, а потом на другую половину, в покои для гостей.

После их ухода пряхи тотчас сбились тесной кучкой и все разом заговорили о приезде, слова не давая сказать друг дружке. Статный молодец очень им понравился, и девушки наперебой расхваливали его.

– Так весь и сияет! – говорила одна. – Как взошел, думала, королевич.

– А глаза-то как у рыси, так и сверлят, – подхватила другая. – Попробуй такому слово поперек скажи!

– И думать не смей! – поддержала третья.

– Панну, как веретено, завертел! Видно, очень она ему по сердцу пришлась, да и кому бы не пришлась она по сердцу?

– Ну, он тоже не хуже ее! Случись тебе такой, небось и в Оршу пошла бы за ним, хоть она на краю света.

– Счастливица панночка.

– Богатым на свете всегда лучше живется. Эх, не рыцарь – загляденье.

– Девушки из Пацунелей говорили, будто ротмистр, что живет у них, у старого Пакоша, тоже красавец.

– Не видала я его, но куда ему до пана Кмицица! Такого, верно, на всем свете не сыщешь.

– *Radlas!* – крикнул внезапно жмудин, у которого снова разладились жернова.

– Эй, косматый, шел бы ты отсюда со своею бранью! Помолчи, а то ничего не слышно! Да, да! Лучше пана Кмицица на всем свете не сыщешь! Пожалуй, и в Кейданах нету такого!

– Смотри, еще во сне приснится!

– Да хоть бы приснился...

Такой разговор шел у шляхтянок в людской. Тем временем в столовом покое поспешно накрывали на стол, а в зале панна Александра осталась одна с Кмицицем, потому что тетушка ушла готовить ужин.

Пан Анджей глаз не сводил с Оленьки, и они все больше у него разгорались.

– Есть люди, которым богатство всего дороже, – сказал он наконец, – другие на войне за добычей охотятся, иные лошадей любят, а я, моя панна, тебя вот не променял бы ни на какие сокровища. Ей-ей, чем больше гляжу на тебя, тем больше охота берет жениться, право же, хоть завтра под венец! Брови-то, верно, жженой пробкой чернишь?

– Слыхала я, есть такие ветреницы, только я не из их числа.

– А глазки-то лазоревые! Слов у меня от смущения не хватает.

– Не очень-то ты смутился, пан, коли так ко мне приступаешь, даже мне удивительно.

– Это тоже наш смоленский обычай: на бабу и в огонь смело идти. Ты, моя королева, к этому привыкай, так всегда будет.

– Ты, пан Анджей, от этого отвыкай, так не должно быть.

– Может, я тебя и послушаюсь, чтоб мне головы не сносить! Хочешь – верь, моя панна, хочешь – не верь, а я бы тебе под ноженьки небо подостлал! Я для тебя, моя королева, и другим обычаям готов научиться. Знаю ведь, простой солдат я, больше в ратном стане доводилось бывать, нежели в панских покоях.

– Одно другому не мешает, мой дедушка тоже был солдатом, а за добрые намерения спасибо тебе! – ответила Оленька и так сладко поглядела на пана Анджее, что сердце у него растаяло тотчас, как воск.

– Ты, моя панна, на веревочке будешь меня водить!

– Что-то не похож ты на тех, кого на веревочке водят! Хуже нет, чем с такими строптивцами.

Кмициц в улыбке открыл белые, точно волчьи, зубы.

– Как! – воскликнул он. – Неужто мало розог обломали в школе об мою спину святые отцы, чтобы выбить из меня эту строптивость и вбить в голову всякие честные правила?

– А какие же вбили лучше всего?

– Коли любишь, падай в ноги – вот так!

При этих словах пан Кмициц уже был на коленях, а панна Александра, пряча ноги под стул, кричала:

– Ради Бога! Этого тебе в школе в голову не вбивали! Ах, оставь, оставь, не то я рассержусь... да и тетка сейчас войдет!

Не вставая с колен, он поднял голову и заглядывал ей в глаза.

– Да и пусть целая хоругвь теток придет, я не откажусь, что охота мне любить тебя!

– Вставай же, пан Анджей!

– Встаю.

– Садись, пан Анджей!

– Сажу!

– Злодей ты, Иудушка!

– Вот и неправда, я когда целую, так от всей души! Хочешь, докажу?

– И думать не смей!

Однако панна Александра смеялась, а он весь сиял от радости и молодости. Ноздри у него раздувались, как у молодого жеребца благородных кровей.

– Ай-ай! – говорил он. – Что за глазки, что за личико! Спасите, святые угодники, а то не усажу!

– Нечего угодников звать. Четыре года сидел, покуда сюда собрался, так сиди и теперь!

– Ба! Да я ведь знал только портрет. Я этого живописца велю в смоле вымазать да в перьях вывалить и в Упите кнутом прогнать по рынку. Я тебе все скажу, как на духу: хочешь, прости, нет – так голову руби! Думал это я себе, глядя на портретец: красивая девка, ничего не скажешь, да ведь красивых девок хоть пруд пруди – успею! Покойный отец все торопил ехать, а я ему одно твердил: успею, не уйдет женитьба, девушки на войну не ходят и не погибают! Бог свидетель, не противился я отцовской воле, только хотел сперва повоевать, все испытать на собственной шкуре. Теперь только вижу, глуп был, ведь на войну и женатым мог бы пойти, а тут бы меня утеха ждала. Слава Богу, что насмерть меня не зарубили. Позволь же, моя панна, ручки тебе поцеловать.

– Нет уж, не позволю.

– А я и спрашивать не стану. У нас, оршанских, так говорят: «Проси, а не дают – сам бери!»

Тут пан Анджей схватил ручки девушки и стал осыпать их поцелуями, а она не очень противилась, боялась показаться неучливой.

Но тут вошла панна Кульвец и, видя, что творится, подняла очи к небу. Не понравилась ей эта близость, но не посмела она сказать что-нибудь детям, только к ужину позвала.

Взявшись под руки, как брат с сестрою, направились они оба в столовый покой, где стол ломился под множеством всяких блюд; особенно много было отменных колбас, стояла там и обомшелая сулейка вина, дающего крепость. Хорошо было молодым вдвоем, легко и весело. Панна Александра уже успела отужинать, так что за стол уселся только пан Кмициц и принялся за еду с той же живостью, с какой перед тем разговаривал.

Оленька поглядывала на него сбоку, радуясь, что он ест и пьет, но, когда он утолил первый голод, снова стала выспрашивать:

– Так ты, пан Анджей, не из Орши едешь?

– Да разве я знаю, откуда еду? Сегодня тут, а завтра там. Как волк к овце, подкрадывался я к врагу, – где можно было куснуть, там и кусал.

– Как же ты отважился пойти против такой силы, перед которой отступил сам великий гетман?

– Как отважился? А я на все готов, такая уж у меня натура!

– Говорил мне про то покойный дедушка. Счастье, что голову ты не сложил.

– Э, прихлопывали они меня там, как птицу в западне, но только прихлопнут, а я уж ускользнул и в другом месте укусил. Так я им насолил, что они цену назначили за мою голову... Отменный, однако, полоток!

– Во имя Отца и Сына! – воскликнула Оленька, с непритворным ужасом и в то же время восторгом глядя на этого молодца, который мог говорить зараз и о цене за свою голову, и о полотке.

– Верно, были у тебя, пан Анджей, большие силы?

– Две сотни своих драгун было, молодцов как на подбор, да за месяц их всех перебили. Потом ходил я с охотниками, набирал их, где ни попадя, без разбору. Завзятые вояки, но – разбойники над разбойниками! Кто еще не погиб, рано или поздно пойдет воронью на закуску...

При этих словах пан Анджей опять рассмеялся, опрокинул чару вина и прибавил:

– Таких сорвиголов ты, моя панна, отродясь не видывала. Чтоб их черт побрал! Офицеры все – шляхтичи из наших краев, родовитые, достойные и чуть не все уже под судом. Сидят теперь у меня в Любиче, что же мне с ними делать?

– Так ты, пан Анджей, прибыл к нам с целой хоругвью?

– Да. Неприятель заперся в городах, зима ведь лютая! Мой народишко тоже обтрепался, как обитый веник, вот князь воевода и назначил меня на постой в Поневеж. Ей-ей, заслуженный это отдых!

– Кушай, пан Анджей, пожалуйста.

– Я бы для тебя, моя панна, и отравы скушал!.. Оставил я тогда часть моей голытьбы в Поневеже, часть в Упите, ну а самых достойных товарищей к себе в Любич в гости зазвал... Приедут они к тебе на поклон.

– А где же тебя, пан Анджей, лауданцы нашли?

– Они меня встретили, когда я шел уже на постой в Поневеж. Я бы и без них сюда приехал.

– Пей же, пан Анджей!

– Я бы для тебя, моя панна, и отравы выпил!..

– А про смерть дедушки и духовную ты только от лауданцев узнал?

– Про смерть – от них, помяни, Господи, душу моего благодетеля! Не ты ли это, панна Александра, послала ко мне этих людей?

– Ты, пан Анджей, такого не думай! У меня на мысли одна печаль да молитва была!

– Они то же мне толковали... Ох, и гордые сермяжнички! Хотел я их за труды наградить, так они как напустятся на меня: это, может, говорят, оршанская шляхта в руки глядит, а мы, лауданцы, не таковские! Крепко меня изругали! Послушал я их, да и думаю себе: не хотите денег, дам-ка я вам по сотне плетей.

Панна Александра за голову схватилась.

– Иисусе Христе, и ты это сделал?

Кмициц посмотрел на нее с удивлением.

– Не пугайся, панна Александра. Не сделал, хоть как гляну на такую вот шляхетскую голытьбу, что за ровню хочет нас почитать, так с души у меня воротит. Думал только, ославят они меня безо всякой вины насильником да перед тобой еще оговорят.

– Какое счастье! – со вздохом облегчения сказала Оленька. – А то бы я и на глаза тебя не пустила!

– Это почему же?

– Убогая это шляхта, но старинная и славная. Покойный дедушка всегда любил их и на войну с ними ходил. Весь век они вместе прослужили, а в мирное время он их дома у себя



принимал. Старая у нас дружба с ними, и ты уважать ее должен. Есть ведь у тебя сердце, и не нарушишь ты святого согласия, в каком мы до сих пор жили!

– Да ведь я ничего не знал, разрази меня Господь, не знал! И признаюсь, не лежит у меня душа к этой нищей шляхте. У нас так: коль ты мужик, так мужик, а шляхта все родовитая, на одну кобылу вдвоем не садятся. Право же, такой голи равняться с Кмицицами или Биллевицами все едино, что व्यюнам со щуками, хоть и व्यюн и щука одинаково рыбы.

– Дедушка говорил, что богатство ничего не стоит, кровь и честь – вот что важно, а они люди честные, иначе дедушка не назначил бы их моими опекунами.

Пан Анджей от удивления глаза раскрыл.

– Опекунами? Дедушка назначил их твоими опекунами? Всю лауданскую шляхту?

– Да. И не хмурься, пан Анджей, воля покойного свята. Странно мне, что посланцы не сказали тебе об этом.

– Да я бы их!.. Нет, не может быть! Ведь тут добрых два десятка застанков... И все эти сермяжники тут судят и рядят? Неужто и со мной будут судить и рядить, раздумывать, по душе ли я им или нет? Эй, не шути, панна Александра, а то у меня кровь кипит!

– Я не шучу, пан Анджей, истинную правду говорю тебе. Не будут они судить и рядить; и коль ты, по примеру дедушки, станешь им за отца, не оттолкнешь их, не будешь чваниться, то не только их, но и мое сердце покоришь. Буду я с ними помнить это до гроба, до гроба, пан Анджей!..

В голосе ее звучала нежная мольба; но морщины у него на лбу не разгладились, он по-прежнему хмурился. Правда, подавил вспышку гнева, только порой словно молнии пробежали у него по лицу, – но ответил девушке заносчиво и надменно:

– Вот уж не ждал! Волю покойного я уважаю и вот что думаю, – до моего приезда пан подкоморий мог назначить эту серую шляхту твоими опекунами, но коли нога моя ступила сюда, никто, кроме меня, опекуном больше не будет. Не только этой серой шляхте, самим биржанским Радзивиллам опекать тут нечего!

Панна Александра нахмурилась и ответила, помолчав минуту времени:

– Нехорошо ты, пан Анджей, делаешь, что так кичишься. Волю покойного деда либо целиком надо принять бы, либо отвергнуть, я не вижу иного выхода. Лауданцы не станут надоедать тебе или навязываться, люди они мирные и достойные. Не думай, пан Анджей, что они могут быть тебе в тягость. Когда бы начались распри, они могли бы сказать свое слово, а так я думаю, все будет тихо и мирно и такая это будет опека, словно бы ее и нет совсем.

Он помолчал еще минуту, потом махнул рукой и сказал:

– И то сказать, со свадьбой все кончится. Не из-за чего спорить, пусть только сидят смирно и не мешают мне, а то я, ей-богу, не дам себе в кашу наплевать! Впрочем, довольно о них! Дай согласие, панна Александра, обвенчаться поскорей, и все будет хорошо!

– Не пристало сейчас, в дни печали, говорить об этом.

– Эх! А долго ли придется мне ждать?

– Дедушка сам написал, что не долее полугода.

– Иссохну я до той поры, как щепка. Ну давай не будем больше ссориться. Ты уж так сурово стала на меня поглядывать, будто я всему виною. Ну что это ты, королева моя золотая! Чем я виноват, что такая у меня натура: рассержусь на кого, так, сдается, на куски бы его разорвал, а отойдет сердце, и вроде наново сшил бы.

– Страшно жить с таким, – повеселев, ответила Оленька.

– За твое здоровье! Хорошее вино, а для меня сабля да вино – первое дело! Ну чего там – страшно жить со мною! Да ты меня в сети уловишь своими очами, рабом сделаешь, хоть я ничьей власти над собою не терпел. Вот и теперь, чем панам гетманам кланяться, предпочел с хоругвью один на свой страх воевать. Королева ты моя золотая, коли что не так, прости меня, я ведь обхождению не в покоях у придворных дам, а около пушек учился, не за лютней,

а в солдатском гаме. Сторона у нас беспокойная, сабли из руки не выпустишь. Засудили тебя, приговорили, головы твоей ищут – все это пустое! Будь только смел да удал, и люди тебя уважают. *Exemplum*<sup>4</sup> мои товарищи, в другом месте они бы давно по тюрьмам сидели... а ведь тоже достойные кавалеры! Даже бабы у нас ходят в сапогах, с саблями на боку, отряды в бой водят, как пани Кокосинская, тетка моего поручика, которая пала на поле битвы, а племянник ее под моей командой мстил за нее, хоть при жизни ее не любил. Где уж нам, хоть и самым родовитым, учиться придворному обхождению? Одно мы знаем: война – так в поход иди, сеймик – так горло дери, а языка мало – за саблю хватайся! Вот какое дело! Таким меня покойный подкоморий знавал и такого для тебя выбрал!

– Я всегда с радостью исполняла волю деда, – ответила девушка, потупя взор.

– Дай же мне еще твои рученьки поцеловать, солнышко мое ненаглядное! Право, очень ты мне по сердцу пришлась. Так я разомлел, что не знаю, как и попаду в этот самый Любич, которого еще не видал.

– Я тебе дам провожатого.

– Э, обойдется. Я уже привык ездить по ночам. Есть у меня солдат родом из Поневежа, он должен знать дорогу. А там меня Кокосинский ждет с товарищами... У нас Кокосинские, Пыпки по прозванию, большая знать. Этого безвинно чести лишили за то, что он пану Орпишевскому дом спалил и дочку увез, а людей вырезал. Достойный товарищ! Дай же мне еще рученьки. Время, вижу, ехать!

Тут большие гданьские часы, стоявшие в столовом покое, стали медленно бить полночь.

– Ах ты, Господи! – вскричал Кмициц. – Время, время! Ничего я уж больше сделать тут не успею! Любишь ли ты меня хоть крошечку?

– В другой раз скажу. В гости-то будешь ко мне ездить?

– Каждый день, разве земля подо мною расступится! Ей-ей, хоть голову на плаху!

С этими словами Кмициц поднялся, и они вдвоем вышли в сени. Санки ждали уже у крыльца; Кмициц надел шубу и стал прощаться с панной Александрой, упрашивая ее вернуться в покои, потому что с крыльца тянет холодом.

– Спокойной ночи, милая моя королева, – говорил он, – спи сладко, я-то уж, верно, глаз не сомкну, все буду думать про твою красоту!

– Только бы чего плохого не углядел. А все-таки дам-ка я тебе лучше человека с плоской, а то под Волмонтовичами и волки не редкость.

– Да что же я, коза, что ли, чтоб волков бояться? Волк солдату друг-приятель, он из его рук часто поживу имеет. Да и мушкетон есть в санках. Спокойной ночи, голубка моя, спокойной ночи!

– С Богом!

С этими словами Оленька ушла в покои, а Кмициц шагнул на крыльцо. Но по дороге в щель неплотно притворенной двери людской он увидел несколько пар девичьих глаз, – это девушки не ложились спать, чтобы еще раз на него посмотреть. По солдатскому обычаю, пан Анджей послал им воздушный поцелуй и вышел. Через минуту зазвенел колокольчик, сперва громко, потом все тише и тише, пока, наконец, не умолк совсем.

И сразу так тихо стало в Водоктах, что эта тишина испугала панну Александру; в ушах ее все еще звучал голос пана Анджея, она все еще слышала его веселый и непринужденный смех, перед ее глазами все еще стояла его сильная фигура, а тут, после потока слов, смеха и веселья, такое странное вдруг воцарилось безмолвие. Девушка напрягла слух, не донесется ли еще звон колокольчика. Но нет, он гремел уже где-то в лесах, под Волмонтовичами. Тяжелая тоска напала на нее, никогда еще она не чувствовала себя такой одинокой.

---

<sup>4</sup> Пример (лат.).

Медленно взяв свечу, она прошла в опочивальню и опустилась на колени, чтобы помолиться. Пять раз начинала она молиться, пока с надлежащим усердием прочла все молитвы. Но потом мысли ее как на крыльях полетели за санками, за седоком. По одну сторону бор, по другую бор, посреди дорога, а он мчится себе, пан Анджей! Как наяву, увидела Оленька вдруг светло-русый чуб, серые глаза и смеющиеся губы со сверкающими, белыми, как у молодого щенка, зубами. Трудно было строгой девушке признаться себе, что очень ей по сердцу пришелся неукротимый этот молодец. Растревожил ее, напугал, но и прельстил своей удалью, непринужденным своим весельем и искренностью. Стыдно было ей сознаться, что и гордостью своей он ей понравился, когда в разговоре об опекунах поднял голову, как турецкий скакун, и сказал: «Самим биржанским Радзивиллам опекать тут нечего». «Нет, не баба он, истинный муж! – говорила себе девушка. – Солдат, каких дедушка больше всего любил... Да они того и стоят!»

Так предавалась девушка раздумью, и ее то обнимало блаженство, ничем не смущенное, то тревога, но и тревога эта была какой-то сладкой. Панна Александра уже разделась, когда дверь скрипнула и вошла тетка Кульвец со свечой в руке.

– Страх как вы засиделись! – сказала она. – Не хотела я мешать вам, молодым, чтобы вы одни в первый раз наговорились. Кавалер, сдается, учтивый. А как он тебе понравился?

Панна Александра сперва ничего не ответила, только подбежала к тетке босыми ножками, закинула ей руки на шею и, склонив свою светлую голову ей на грудь, сказала нежным голосом:

– Тетушка, ах, тетушка!

– Ого! – пробормотала старая дева, поднимая вверх и глаза и свечу.

## Глава II

Когда пан Анджей подъехал к усадьбе в Любиче, окна пылали и шум голосов долетал даже во двор. Услышав звон колокольчика, из сеней выбежали слуги, чтобы приветствовать нового хозяина; о том, что он должен приехать, они узнали от его товарищей. Встречали они хозяина, униженно целуя ему руки и обнимая ноги. Старый управитель Зникис стоял в сенях с хлебом-солью и низко кланялся; все с тревогой и любопытством смотрели, каков из себя новый их господин. Он бросил на блюдо кошелек с талерами и стал спрашивать о товарищах, удивленный тем, что никто из них не вышел навстречу его милости, хозяину дома.

Но они не могли выйти ему навстречу, потому что часа три уже пировали за столом, то и дело наливая чары, и, верно, совсем не слышали колокольчика за окном. Однако, когда пан Анджей вошел в комнату, из всех грудей вырвался громкий крик: «*Haeres! Haeres*<sup>5</sup> приехал!» – и все товарищи повскакали с мест и с чарами в руках пошли ему навстречу. Увидев, что они уже распорядились в его доме и до его приезда успели даже подвыпить, он уперся руками в бока и засмеялся. Он смеялся все громче, видя, как они опрокидывают стульцы, как, покачиваясь, выступают с пьяною важностью. Впереди всех шел великан Яромир Кокосинский, по прозвищу Пыпка, славный солдат, забияка со страшным шрамом через весь лоб, глаз и щеку, с одним усом короче, а другим длинней, поручик и друг Кмицица, его «достойный товарищ», приговоренный в Смоленске к лишению чести и смертной казни за увоз шляхтянки, убийство и поджог. Его-то теперь и хранили от казни война да покровительство Кмицица, который был ему ровесником и соседом, – поместья их в Оршанской земле, до того как пан Яромир прогулял свое, лежали межа к меже. Шел пан Яромир, держа в руках ковш, наполненный медом. За ним выступал Раницкий герба Сухие Покои, родом из Мстиславского воеводства, откуда был изгнан за убийство двух помещиков. Одного он зарубил в поединке, а другого так, без боя, пристрелил из ружья. Имущества у него теперь не было никакого, хотя после смерти родителей он получил в наследство много земли. Война и его хранила от рук заплечного мастера. Буян это был, и не было равных ему в поединке на саблях. Третьим шел Рекуц-Лелива, руки которого если и были обагрены кровью, то только вражеской. Зато имение он пропил и проиграл в кости – и вот уже три года таскался за Кмицицем. С ним вместе шел четвертый, Углик, тоже смоленский шляхтич, который за разгон трибунала лишен был чести и приговорен к смертной казни. Кмициц оказывал ему покровительство за то, что он хорошо играл на чакане. Кроме них, были тут и Кульвец-Гиппоцентаврус, такой же великан, как и Кокосинский, но превосходивший его силой, и Зенд, объездчик, который умел подражать птицам и зверям, человек темного происхождения, хоть и выдававший себя за курляндского дворянина; имения у него не было, и он выезжал Кмицицу лошадей, за что получал жалованье.

Все они окружили смеющегося пана Анджее: Кокосинский поднял ковш и запел:

Выпей-ка с нами, хозяин милый,  
хозяин милый!  
Чтобы пить вместе нам до могилы,  
нам до могилы!

Остальные подхватили хором, после чего Кокосинский протянул Кмицицу ковш, а ему Зенд тотчас подал другую чару.

Кмициц поднял свой ковш и крикнул:

– За здоровье моей любушки!

---

<sup>5</sup> Наследник (лат.).

– Vivat! Vivat!<sup>6</sup> – крикнули все в один голос, так что стекла задребезжали в оловянных переплетах.

– Vivat! Траур кончится, свадьбу сыграем!

Посыпались вопросы:

– А какая она из себя? Что, Ендрусь, очень хороша? Такая, как ты думал? Среди наших оршанских найдется такая?

– Среди оршанских? – воскликнул Кмициц. – Да против нее нашими паннами только трубы затыкать! Сто чертей! Нет такой другой на свете!

– Мы тебе этого желали! – сказал Раницкий. – Так когда же свадьба?

– Как кончится траур.

– Плевать на траур! Дети черными не родятся, только белыми!

– Будет свадьба, так и траура не будет. Не жди, Ендрусь!

– Не жди, Ендрусь! – начали кричать все хором.

– Оршанским хорунжатам уже хочется с неба на землю! – крикнул Кокосинский.

– Не заставляй ждать бедняжек!

– Ясновельможные! – тонким голосом сказал Рекуц-Лелива. – Напьемся на свадьбе вдрызг!

– Милые мои барашки, – взмолился Кмициц, – пустите же меня, а проще сказать, идите к черту, дайте же мне дом посмотреть!

– Незачем! – возразил Углик. – Завтра посмотришь, а теперь пойдем к столу: там еще стоит парочка сулеек, да с полными брюшками.

– Мы уж за тебя тут все посмотрели. Любич – золотое дно, – сказал Раницкий.

– Конюшня хороша! – крикнул Зенд. – Два бахмата отменных гусарских, парочка жмудских да калмыцких пара, и всех по паре, как глаз в голове. Табун завтра поглядим.

Тут Зенд заржал, как конь, и все удивлялись, что он так здорово ржет, и смеялись.

– Так вот какие тут порядки? – воскликнул обрадованный Кмициц.

– И погребок отменный, – пропищал Рекуц. – И смоленые бочки, и обомшелые сулеи стоят, как хоругви в строю.

– Вот и слава Богу! Давайте садиться за стол!

– За стол! За стол!

Не успели рассестись и налить по чаре, как Раницкий снова вскочил.

– За здоровье подкомория Биллевича!

– Дурак! – оборвал его Кмициц. – Что это ты? За здоровье покойника пьешь?

– Дурак! – подхватили остальные. – За здоровье хозяина!

– Ваше здоровье!

– Дай Бог в этом доме нам во всем удачи!

Кмициц невольно повел глазами по столовому покою и на почерневшей от старости лиственничной стене увидел ряд суровых глаз, устремленных на него. Это глаза Биллевичей глядели с портретов, висевших низко, в двух локтях от земли, потому что потолки в доме были низкие. Над портретами ровным рядом висели черепа зубров, оленей, лосей, увенчанные рогами; некоторые из них, видно, очень старые, уже почернели, другие сверкали белизной. Все четыре стены были украшены ими.

– Охота тут, верно, хороша, вижу, зверя много! – заметил Кмициц.

– Завтра и отправимся, а нет, так послезавтра. Надо и со здешними местами познакомиться, – подхватил Кокосинский. – Счастливцев ты, Ендрусь, есть тебе где голову приклонить!

– Не то что мы! – вздохнул Раницкий.

– Выпьем в утешение! – сказал Рекуц.

---

<sup>6</sup> Да здравствует! Ура! (лат.)

– Нет, не в утешение! – возразил Кульвец-Гиппоцентаврус, – а еще раз за здоровье Ендруся, нашего дорогого ротмистра! Это ведь он, ясновельможные, приютил в своем Любиче нас, бедных изгнанников, без крова над головой.

– Правильно говорит! – раздалось несколько голосов. – Не такой дурак Кульвец, как кажется.

– Тяжела наша доля! – пищал Рекуц. – Одна надежда, что ты нас, бедных сирот, за ворота не выгонишь.

– Полноте! – говорил Кмициц. – Что мое, то ваше!

При этих словах все повставали с мест и кинулись его обнимать. Слезы текли по суровым и пьяным лицам растроганных товарищей Кмицица.

– На тебя только надежда, Ендрусь! – кричал Кокосинский. – Дай хоть на гороховой соломе поспать, не гони!

– Полноте! – повторял Кмициц.

– Не гони! И без того нас выгнали, нас, родовитых шляхтичей! – жалобно кричал Углик.

– Сто чертей! Кто вас гонит? Ешьте, пейте, спите, какого пса вам еще надо?

– Ты, Ендрусь, не говори так, – ныл Раницкий, на лице которого выступили пятна, как на шкуре у рыси, – не говори так, Ендрусь, пропали мы ни за денежку...

Тут он оборвал речь, приставил палец ко лбу, словно напрягая мысль, и, оглядев бараными глазами присутствующих, сказал вдруг:

– Разве только фортуна переменится!

И все закричали хором:

– А почему бы ей не перемениться!

– Мы еще за обиды заплатим!

– Добудем богатство!

– И почести!

– Бог благословляет невинных. За наше благополучие, ясновельможные!

– За ваше здоровье! – закричал Кмициц.

– Святые слова, Ендрусь! – произнес Кокосинский, подставляя ему свои пухлые щеки. – За наше счастье!

Чаши пошли вкруговую, вино в голову ударило. Все говорили разом, и никто никого не слушал; один только Рекуц свесил голову на грудь и дремал. Через минуту Кокосинский запел: «Лен я мялкою мяла!» Услышав песню, Углик достал из-за пазухи чакан и давай вторить, а Раницкий, великий фехтовальщик, голой рукой фехтовал с невидимым противником, повторяя вполголоса:

– Ты так, я так! Ты колешь, я мах! раз, два, три! шах!

Великан Кульвец-Гиппоцентаврус уставился на Раницкого и некоторое время следил за ним глазами, наконец махнул рукой и сказал:

– Дурак ты! Маши, маши, а против Кмицица на саблях тебе не устоять.

– Против него никто не устоит; ты вот попробуй!

– И со мной на пистолетах не выиграешь.

– Дукат за выстрел!

– Дукат! А цель?

Раницкий окинул глазами комнату, наконец крикнул, показывая на черепа:

– А вон между рогов! Дукат за выстрел!

– Куда? – спросил Кмициц.

– Между рогов! Два дуката! Три! Давайте пистолеты!

– Согласен! – крикнул пан Анджей. – Три так три! Зенд, носи пистолеты!

Все загалдели, стали препираться; Зенд тем временем вышел в сени и через минуту вернулся с пистолетами, мешком пуль и рогом пороха.



Раницкий схватил пистолет.

– Заряжен? – спросил он.

– Заряжен!

– Три! Четыре! Пять дукатов! – орал пьяный Кмициц.

– Тише! Промажешь! Промажешь!

– Попаду! Смотрите, вон в тот череп, между рогов... Раз, два!

Все обратили внимание на могучий череп лося, висевший напротив Раницкого; тот вытянул руку. Пистолет дрожал у него в руке.

– Три! – крикнул Кмициц.

Раздался выстрел, комнату наполнил пороховой дым.

– Промазал? Промазал! Вон где дыра! – кричал Кмициц, показывая рукой на темную стену, от которой пуля отколола щепку посветлей.

– До двух раз!

– Нет! Давай мне! – кричал Кульвец.

На звуки выстрелов сбежались испуганные слуги.

– Вон! Вон! – крикнул Кмициц. – Раз! Два! Три!

Снова раздался выстрел, на этот раз посыпались обломки костей.

– Давайте же и нам пистолеты! – закричали все вдруг.

Повскакав с мест, друзья стали бить кулаками слуг по загривкам, чтобы те поторопились. Не прошло и четверти часа, как вся комната наполнилась громом выстрелов. Дым заслонил свет свечей и фигуры стреляющих. Грому выстрелов вторил голос Зенда, который кричал вороном, клекотал соколом, выл волком и ревел туром. Его ежеминутно прерывал свист пуль, летели обломки черепов, щепки от стен и рам портретов; в суматохе шляхтичи стреляли и по Биллевичам, а Раницкий, разъярясь, рубил портреты саблей.

Измученные, перепуганные слуги стояли в оцепенении, тараща глаза на эту потеху, больше похожую на татарский набег. Завыли и залаяли собаки. Весь дом поднялся. Во дворе собрались кучки людей. Дворовые девки подбегали к окнам и, прижавшись лицами к стеклу, приплюснув носы, смотрели, что творится в покое.

Наконец их заметил Зенд; он свистнул так пронзительно, что у всех зазвенело в ушах, и крикнул:

– Ясновельможные! Девушки под окнами! Девушки!

– Девушки! Девушки!

– Давай плясать! – безобразно заорали шляхтичи.

Пьяная ватага через сени выбежала на крыльцо. Мороз не отрезвил разгоряченных голов. Девушки, истошно крича, разбежались по всему двору; шляхтичи ловили их и пойманных уводили в дом. Через минуту в дыму, среди обломков костей и щепок они пустились с девушками в пляс вокруг стола, на котором разлитое вино образовало целые озера.

Так потешались в Любиче Кмициц и дикая его ватага.

## Глава III

Следующие несколько дней пан Анджей был ежедневным гостем в Водоктах и каждый раз возвращался, все больше млея от любви и восторга. Он и товарищам превозносил свою Оленьку до небес, пока в один прекрасный день не сказал им:

– Милые мои барашки, сегодня поедете на поклон, а потом мы уговорились с панной Александрой съездить всем в Митруны, на санях в лесу покататься и посмотреть третье наше поместье. В Митрунах панна Александра будет нас радушно принимать, ну а вы тоже ведите себя пристойно, смотрите, искрошу, если кто оплошает...

Кавалеры с радостью бросились одеваться, и вскоре четверо саней везли удачных молодых в Водокты. Кмициц сидел в первых, очень красивых санях в виде серебристого медведя. Везла их калмыцкая тройка, захваченная в добычу, в пестрой упряжи с лентами и павлиньими перьями, по смоленской моде, которую смоляне переняли от восточных своих соседей. Кучер правил, сидя в медвежьей шее. Пан Анджей в бархатной зеленой бекеше на соболях, с золотыми застежками и в собольем колпачке с цапельными перьями, был весел, игрив. Вот что толковал он сидевшему рядом с ним Кокосинскому:

– Послушай, Кокошка! Покуролесили мы в эти вечера сверх всякой меры, особенно в первый вечер, когда досталось и черепам и портретам. А с девками и того хуже. Вечно этот черт Зенд подстрекнет, а потом кому все отзовется? Мне! Боюсь, как бы люди болтать не стали, ведь о моем добром имени речь идет.

– Можешь на нем повеситься, больше оно, как и наше, ни на что не годится.

– А кто в том повинен, как не вы? Помни, Кокошка, через вас и оршанцы считали меня мятежной душой и зубы точили об меня, как ножи об оселок.

– А кто пана Тумграта по морозу прогнал, привязавши к коню? Кто зарубил того поляка из Короны, который спрашивал, ходят ли оршанцы уже на двух ногах или все еще на четырех? Кто изувечил панов Вызинских, отца и сына? Кто разогнал последний сеймик?

– Сеймик я разогнал свой, оршанский, это дело домашнее. Пан Тумграт, умирая, отпустил мне вину, а что до прочего, то нечего мне глаза колоть, драться на поединке может и самый невинный.

– Я тебе тоже не про все сказал и про сыск по двум делам не напомнил, что ждет тебя в войске.

– Не меня, а вас, потому я только в том повинен, что позволил вам грабить обывателей. Но довольно об этом. Заткни глотку, Кокошка, и словом не обмолвись обо всем этом Оленьке: ни о поединках, ни особенно о стрельбе по портретам да о девушках. Откроется что, я вину на вас взвалю. Я уж челядь упредил, пикни только кто, ремни велю из спины кроить.

– Ты уж, Ендрусь, и обротать себя дай, коли так своей девушки боишься. Дома ты был другой. Вижу я, вижу, быть бычку на веревочке, а это ни к чему! Один древний философ говорит: «Не ты Кахну, так Кахна тебя!» Попался ты уже в сети.

– Дурак ты, Кокошка! А с Оленькой и ты с ноги на ногу станешь переминаться, как ее увидишь, другой такой разумницы не сыщешь. Что хорошо, она тут же похвалит, что худо, не замедлит осудить, она по совести судит, и на все у нее своя мера. Так ее покойный подкоморий воспитал. Захочешь перед ней удаль свою показать, похвастаешься, что закон пограл, так тебе же самому потом стыдно будет: она тотчас скажет тебе, что достойный гражданин не должен так поступать, что это против отчизны. Скажет, а тебе будто кто оплеуху дал и даже чудно станет, как ты раньше этого не понимал. Тьфу! Срам один! Набездобразничали мы, страшное дело, а теперь вот и хлопай глазами перед невинной и честной девушкой... Хуже всего эти девки!

– И вовсе не хуже. Я слышал, что в здешних околицах шляхтянки кровь с молоком, и похоже, совсем не кобелятся.

– Кто тебе это говорил? – живо спросил Кмициц.

– Кто говорил? Да кто же, как не Зенд! Вчера он объезжал пегого скакуна и заехал в Волмонтовичи; только по дороге проехал, но увидел много девушек, они от вечерни шли. «Думал, говорит, с коня упаду, такие чистенькие да пригожие». И на какую ни взгляни, так сейчас все зубы тебе и покажет. И не диво! Шляхтичи, кто покрепче, все в Россиены ушли, вот девкам одним и скучно.

Кмициц толкнул товарища кулаком в бок.

– Давай, Кокошка, как-нибудь вечером съездим, будто заблудились, а?

– А как же твое доброе имя?

– Ах, черт! Помолчал бы! Ладно, поезжайте одни, а лучше и вы не ездите! Шуму много будет, а я со здешней шляхтой хочу жить в мире, потому покойный подкоморий назначил их опекунами Оленьки.

– Ты говорил об этом, только я не хотел верить. Откуда у него такая дружба с сермяжниками?

– Он ходил с ними воевать, я еще в Орше слышал, как он говорил, что у этих лауданцев храбрость в крови. Сказать по правде, Кокошка, и мне поначалу было удивительно, – старик их прямо как стражу приставил ко мне.

– Придется тебе подлаживаться к ним, в ножки кланяться.

– Да прежде их чума передушит! Помолчи уж, не гневи меня! Они мне будут кланяться и служить. Кликну клич – и хоругвь готова.

– Только кто-то другой будет ротмистром в этой хоругви. Зенд говорил, будто есть тут у них какой-то полковник. Забыл, как его звать... Володыёвский, что ли? Он под Шкловом ими командовал. Здорово, говорят, они дрались, но их же там и посекли!

– Слышал я про какого-то Володыёвского, славного солдата... А вот и Водокты уж видно!

– Эх, и хорошо живет людям в этой Жмуди, – страх, какой тут всюду порядок. Старик, видно, был ретивый хозяин. И усадьба, я вижу, прекрасная. Неприятель их тут не так часто палит, вот и строиться можно.

– Думаю, вряд ли успела она узнать об этих безобразиях в Любиче, – уронил словно про себя Кмициц. Затем он обратился к товарищу: – Приказываю тебе, Кокошка, а ты еще раз повтори всем прочим, что вести себя здесь надо пристойно. Пусть только кто позволит себе невежество, ей-ей, искрошу!

– Ну, и оседлала же она тебя!

– Оседлала не оседлала, тебе до этого дела нет!

– Не гляди на невест, тебе дела до них нет! – невозмутимо сказал Кокосинский.

– Ну-ка щелкни бичом! – крикнул кучера Кмициц.

Кучер, стоявший в шее серебристого медведя, размахнулся бичом и щелкнул весьма искусно, другие кучера последовали его примеру, и под щелканье бичей санки весело и лихо подкатили к усадьбе, словно поезд на масленой.

Сойдя с саней, все вошли сперва в небеленые сени, огромные, как амбар, откуда Кмициц проводил свою ватагу в столовый покой, убранный, как и в Любиче, звериными черепами. Тут все остановились, пристально и любопытно поглядывая на дверь в соседний покой, откуда должна была появиться панна Александра. А тем временем, памятуя, видно, предостережение Кмицица, беседовали друг с другом шепотом, как в костеле.

– Ты парень речистый, – шептал Кокосинскому Углик, – приветствуй ее от всех нас.

– Да я уж обдумывал по дороге речь, – сказал Кокосинский, – вот только не знаю, получится ли гладко, мне Ендрусь мешал думать.

– Лишь бы побойчей! Чему быть, того не миновать! Вот уже идет!..

Панна Александра в самом деле вошла в покой и на мгновение остановилась на пороге, точно удивленная такой многочисленной ватагой, да и Кмициц замер на мгновение, так пора-

зила его красота девушки: до сих пор он видел ее только по вечерам, а днем она показалась ему еще краше. Глаза у нее были лазоревые, черные как смоль брови оттеняли белоснежное чело, льняные волосы блестели, как венец на голове королевы. И смотрела она смело, не потупляя взора, как хозяйка, принимающая гостей в своем доме, с ясным лицом, которое казалось еще ясней от черной шубки, опушенной горностаем. Эти забияки отродясь не видывали такой важной и гордой панны, они привыкли к женщинам иного склада, поэтому встали в шеренгу, как хоругвь на смотре, и, шаркая ногами, кланялись тоже всей шеренгой, а Кмициц шагнул вперед и, поцеловав девушке руку, сказал:

– Вот и привез я к тебе, сокровище мое, моих соратников, с которыми воевал на последней войне.

– Большая честь для меня, – ответила панна Биллевич, – принимать в своем доме столь достойных кавалеров, о храбрости которых и отменной учтивости я уже наслышана от пана хорунжего.

С этими словами она взялась кончиками пальцев за платье и, приподняв его, присела с необычайным достоинством, а Кмициц губу прикусил и даже покраснел оттого, что его любушка говорит так смело.

Достойные кавалеры шаркали ногами и в то же время подталкивали вперед Кокосинского.

– Ну же, выходи!

Кокосинский сделал шаг вперед, прокашлялся и начал так:

– Ясновельможная панна подкоморанка...

– Ловчанка, – поправил Кмициц.

– Ясновельможная панна ловчанка, милостивая наша благотельница! – повторил в замешательстве пан Яромир. – Прости, вельможная панна, что в титуле ошибся...

– Пустая это ошибка, – возразила панна Александра, – и такому красноречивому кавалеру она ничуть не вредит...

– Ясновельможная панна ловчанка, милостивая наша благотельница! Не знаю, что мне славить приличествует от всей Оршанской земли, то ли красоту твоей милости и твои добродетели, то ли несказанное счастье ротмистра и соратника нашего, пана Кмицица, ибо если бы даже воспарил я до облаков, вознесся до облаков... до самых, говорю, облаков...

– Да слезай уж с этих облаков! – крикнул Кмициц.

Все кавалеры при этом так и прыснули со смеху, но тут же, вспомнив наказ Кмицица, поднесли руки к усам.

Кокосинский вконец смешался, покраснел и сказал:

– Приветствуйте сами, идола, коль меня смущаете!

Но панна Александра снова взялась кончиками пальцев за платье.

– Не сравняться мне с вами в красноречии, – сказала она, – одно только знаю, что недостойна я тех почестей, которые воздаете вы мне от имени всех оршанцев.

И она снова присела с необычайным достоинством, а оршанским забиякам не по себе стало в присутствии этой благовоспитанной панны. Они силились показать свою учтивость, но все у них как-то не получалось. Тогда они усы стали щипать, нести какую-то околесицу, руки класть на сабли, пока Кмициц не сказал наконец:

– Мы сюда целым поездом приехали, как на масленой, хотим взять тебя, панна Александра, с собой и прокатить лесом в Митруны, как вчера уговорились. Санний путь чудесный, да и морозец Бог послал знатный.

– Я уже тетю послала в Митруны, чтобы она приготовила нам покушать. А сейчас подождите немного, я потеплей оденусь.

С этими словами она повернулась и вышла, а Кмициц подскочил к своим друзьям:

– А что, милые барашки, не княгиня?... Что, Кокошка? Мне говорил: оседлала, а почему же сам как мальчишка стоял перед нею? Где ты видал такую?

– Нечего было надсмехаться; хоть и то надо сказать, не думал я, что придется держать речь перед такой особой.

– Покойный подкоморий, – сказал Кмициц, – больше с нею не дома, а в Кейданах живал, при дворе князя воеводы или у Глебовичей, там она и набралась придворных манер. А хороша-то как, а? Да вы всё еще рот раскрыть не можете!

– Показали себя дураками! – со злостью воскликнул Раницкий. – Но самый большой дурак Кокосинский!

– Ах ты предатель! Меня небось локтем подталкивал, а надо было самому с твоей рябой рожей попробовать!

– Мир, барашки, мир! – сказал Кмициц. – В восторг приходите можете, а браниться – нельзя.

– Я бы за нее в огонь и воду! – воскликнул Рекуц. – Руби голову, Ендрусь, с плеч, я от своих слов не откажусь!

Однако Кмициц и не думал рубить ему голову с плеч, напротив, он был доволен, крутил ус и победоносно поглядывал на друзей. Тем временем вошла панна Александра в куньей шапочке, под которой ее белое личико казалось еще белей. Все вышли на крыльцо.

– Мы в этих санях поедem? – спросила панна Александра, показывая на серебристого медведя. – Отроду таких красивых саней не видывала.

– Не знаю, кто на них раньше ездил, это добыча. Теперь мы вдвоем с тобой будем ездить, и они очень нам пригодятся, – ведь у меня в гербе нарисована панна на медведе. Есть еще другие Кмицицы, по прозванию Хоругви, те, что ведут свой род от Филона Кмиты Чернобыльского, но он не из того дома, от которого пошли Великие Кмиты.

– Когда же ты, пан Анджей, добыл этого медведя?

– А теперь вот, в этой войне. Мы, бедные *exules*<sup>7</sup>, потеряли все богатства, наше только то, что даст в добычу война. Ну, а я верой и правдой служил этой владычице, вот она меня и наградила.

– Дай-то Бог тебе владычицу посчастливей, а то эта одного наградит, а у всей дорогой отчизны от нее слезы льются.

– Один Бог переменит это да гетманы.

С этими словами Кмициц закутал панне Александре ноги белой волчьей полостью, крытой белым же сукном, затем уселся сам, крикнул кучеру: «Трогай!» – и тройка рванула и понесла.

От скачки морозный воздух захватил дыхание, и они смолкли; слышен был только свист мерзлого снега под полозьями, фыркание лошадей, топот копыт и крик кучера.

Наконец пан Анджей склонился к Оленьке:

– Хорошо ли тебе, панна Александра?

– Хорошо, – ответила она, подняв муфту и прижав ее к губам, чтобы ветер не захватывал дух.

Сани летели стрелой. День был ясный, морозный. Снег сверкал так, словно кто искрами сыпал, над белыми кровлями хат, похожих на снежные сугробы, высокими столбами поднимался, алея, дым. Стаи воронья с громким карканьем носились впереди саней, между безлистных придорожных деревьев.

Отъехав с версту от Водоктов, свернули на широкую дорогу, в темный бор, который стоял безмолвный, седой и тихий, словно спал под шапками инея. Деревья, мелькая перед глазами, казалось, убегали куда-то назад, а сани неслись все быстрее и быстрее, точно у коней выросли

---

<sup>7</sup> изгнанники (лат.).

крылья. Есть упоение в такой езде, кружится от нее голова, закружилась она и у панны Александры. Откинувшись назад, она закрыла глаза, вся отдавшись стремительному бегу. Грудь стеснило сладкое томление, и почудилось ей, что этот оршанский боярин похитил ее и мчится вихрем, а она млеет, и нет у нее сил ни противиться, ни кричать... А кони летят все быстрее и быстрее... И слышит Оленька, обнимают ее чьи-то руки... слышит, наконец, жаркий, как пламя, поцелуй на губах. И невмочь девушке открыть глаза, она как во сне. А кони летят, летят! Сонную девушку разбудил только голос, спрашивавший:

– Любишь ли ты меня?

Она открыла глаза:

– Как свою душу!

– А я не на жизнь, а на смерть!

Снова соболий колпак Кмицица склонился над куньей шапочкой Оленьки. Она сама не знала теперь, что же слаще: поцелуй или эта волшебная скачка?

И они летели дальше все бором и бором! Деревья убегали назад целыми полками. Снег скрипел, фыркали кони, а они были счастливы.

– Я бы до конца света хотел так скакать! – воскликнул Кмициц.

– Что мы делаем? Это грех! – шепнула Оленька.

– Ну какой там грех. Дай еще погрешить.

– Больше нельзя. Митруны уже недалеко.

– Близо ли, далёко ли – все едино!

И Кмициц встал на санях, поднял руки вверх и закричал так, словно грудь его не могла вместить всей радости:

– Эй-эй! Эй-эй!

– Эй-эй! Ого-го! – откликнулись друзья с задних саней.

– Что это вы так кричите? – спросила девушка.

– Просто так! От радости! Крикни же и ты, Оленька!

– Эй-эй! – раздался звонкий и тоненький голосок.

– Моя ты королева! В ноги тебе упаду!

– Товарищи будут смеяться.

После упоения их охватило веселье, шумное, сумасшедшее, как сумасшедшей была и скачка. Кмициц запел:

Девуца красная в поле глядит,

В чистое поле!

– Конница, мама, из лесу летит.

О, моя доля!

– Дочка, на рыцарей ты не гляди,

Пусть едут мимо!

Рвется сердечко твое из груди

Следом за ними!

– Пан Анджей, кто научил тебя такой красивой песне? – спрашивала панна Александра.

– Война, Оленька. Мы ее в стане от тоски певали.

Но тут разговор прервал отчаянный крик с задних саней:

– Стой! Стой! Эй, стой!

Пан Анджей повернулся, рассерженный и удивленный тем, что друзья вздумали вдруг звать и останавливать их, и в нескольких десятках шагов от саней увидел всадника, который мчался к ним во весь опор.



– Иисусе Христе! Да это мой вахмистр Сорока: должно быть, что-то стряслось! – сказал пан Анджей.

Вахмистр тем временем подскакал к ним и, осадив коня так, что тот присел на задние ноги, крикнул, задыхаясь:

– Пан ротмистр!..

– Что случилось, Сорока?

– Упиту жгут, дерутся!

– Господи Иисусе! – вскрикнула панна Александра.

– Не бойся, Оленька!.. Кто дерется?

– Солдаты с мещанами. В рынке пожар! Мещане заперлись там и послали в Поневеж за гарнизоном, а я сюда прискакал, к твоей милости. Прямо дух захватило...

Пока они разговаривали, подъехали сани, которые шли позади; Кокосинский, Раницкий, Кульвец-Гиппоцентаврус, Углик, Рекуц и Зенд соскочили в снег и окружили Кмицица и Сороку.

– Откуда сыр-бор загорелся? – спрашивал Кмициц.

– Мещане не хотели давать ни припасу людям, ни корма лошадям, ассигновок будто бы не было; ну солдаты и стали брать силой. Мы в рынке осадил бурмистра да тех мещан, что заперлись с ним. Стрельба началась, ну мы два дома и подожгли; гвалт теперь страшный, и в набат бьют...

Глаза Кмицица загорелись гневом.

– Надо и нам идти на помощь! – крикнул Кокосинский.

– Потопчем сиволапое войско! – кричал Раницкий, у которого все лицо пошло красными, белыми и темными пятнами. – Шах, шах, ясновельможные!

Зенд захохотал совершенно так, как хохочет филин, даже лошади испугались, а Рекуц поднял глаза и пропищал:

– Бей, кто в Бога верует! Петуха пустить сиволапым!

– Молчать! – взревел Кмициц, так что эхо отдалось в лесу, а стоявший ближе всех Зенд покачнулся, как пьяный. – Вам там нечего делать! Никакой резни! Всем сесть в двое саней, мне оставить одни и ехать в Любич. Ждать там, может, пришлю за подмогой.

– Как же так? – стал было возражать Раницкий.

Но пан Анджей ткнул его кулаком в зубы и только глазами сверкнул еще страшней.

– Не пикни у меня! – грозно сказал он.

Все примолкли; видно, боялись его, хотя обычно держались с ним запанибрата.

– Возвращайся, Оленька, в Водокты, – сказал Кмициц, – или поезжай за теткой в Митруны. Вот и не удалось нам покататься. Я знал, что они не усидят там спокойно. Но сейчас ничего, поуспокоятся, только несколько голов слетит с плеч. Будь здорова, Оленька, и не тревожься, я буду к тебе поспешать...

С этими словами он поцеловал ей руки и закутал ее волчьей полостью, потом сел в другие сани и крикнул кучеру:

– В Упиту!

## Глава IV

Прошло несколько дней, а Кмициц все не возвращался, зато в Водокты к панне Александре приехали на разведку трое лауданцев. Явился Пакош Гаштовт из Пацунелей, тот самый, у которого гостил пан Володыёвский, патриарх застянка, он знаменит был своим достатком и шестью дочерьми, из которых три были за Бутрымами и в приданое, кроме всего прочего, получили по сотне серебряных талеров. Приехал и Касьян Бутрым, самый старый старик на Лауде, хорошо помнивший Батория, а с ним зять Пакоша, Юзва Бутрым. Хоть Юзва и был в цвете сил – ему едва ли минуло пятьдесят, – однако в Россиены с ополчением он не пошел, так как на войне с казаками у него пушечным ядром оторвало ступню. По этой причине его прозвали Хромцом, или Юзвой Безногим. Страшный это был шляхтич, медвежьей силы и большого ума, ворчун и судья решительный и строгий. За это шляхта в округе побаивалась его, не умел он прощать ни себе, ни другим. Когда ему случалось подвыпить, он становился опасен, но бывало это редко.

Эти-то лауданцы и приехали к панне Александре, которая приняла их ласково, хотя сразу догадалась, что явились они на разведку и хотят что-то выведать у нее о пане Кмицице.

– Мы хотим ехать к нему на поклон, а он, сдается, еще из Упиты не воротился, – говорил Пакош. – Вот мы и приехали к тебе, голубка, поспрошать, когда можно съездить к нему.

– Думаю, пан Анджей вот-вот приедет, – ответила им панна Александра. – Рад он вам будет, опекуны мои, всей душой, много слышал он про вас и когда-то от дедушки, и теперь от меня.

– Только бы не принял он нас так, как Домашевичей, когда те приехали к нему с вестью про смерть полковника! – угрюмо проворчал Юзва.

Но панна Александра услышала и тотчас ответила с живостью:

– Вы за это сердца на него не держите. Может, он и не совсем учтив был с ними, но вину свою признал. И то надо помнить, что он с войны шел, где столько принял трудов! Не диво, коль солдат и погорячится, нрав-то у них, что сабля острая.

Пакош Гаштовт, который хотел жить в мире со всем светом, махнул рукой и сказал:

– Да мы и не дивились! Кабан на кабана и то рыкнет, когда вдруг повстречает, отчего же человеку на человека не рыкнуть! Мы, по старому обычаю, поедем в Любич на поклон к пану Кмицицу, чтобы жил он тут с нами, в походы с нами ходил да в пушу на охоту, как хаживал покойный пан подкоморий.

– Ты уж скажи нам, дитятко, пришелся ли он тебе по сердцу? – спросил Касьян Бутрым. – Наш это долг тебя спрашивать!

– Бог вознаградит вас за доброту. Достойный кавалер пан Кмициц, а когда б и не пришелся мне по сердцу, не пристало мне говорить об этом.

– А ты ничего за ним не заприметила, душенька?

– Ничего! Да и никто тут не имеет права судить его или, упаси Бог, не верить ему! Возблагодарим лучше Господа Бога!

– Что тут до времени Господа Бога благодарить?! Будет за что, так поблагодарим, а не за что будет, так и благодарить не станем, – возразил мрачный Юзва, который, как истый жмудин, был очень осторожен и предусмотрителен.

– А про свадьбу был у вас разговор? – снова спросил Касьян.

Оленька потупилась.

– Пан Кмициц хочет поскорее...

– Ну, еще бы ему не хотеть, – проворчал Юзва, – дурак он, что ли! Где тот медведь, которому не хочется меду из борти? Только к чему спешить? Не лучше ли поглядеть, что он за

человек? Отец Касьян, вы уж скажите, что держите на уме, не дремлите, будто заяц в полдень в борозде!

– Не дремлю я, только думаю думаю, как бы сказать об этом, – ответил старичок. – Господь Иисус Христос так сказал: как Куба Богу, так Бог Кубе! Мы тоже пану Кмицицу зла не желаем, пусть же и он нам не желает. Дай нам того, Боже, аминь!

– Был бы он только нам по душе! – прибавил Юзва.

Панна Биллевич нахмурила свои соболиные брови и сказала с некоторой надменностью:

– Помните, почтенные, нам не слугу принимать. Он тут будет господином, не наша, его воля тут будет. Он и в опеке вас сменит.

– Стало быть, чтобы нам больше не мешаться? – спросил Юзва.

– Стало быть, чтобы вам быть ему друзьями, как и он хочет быть вам другом. Он ведь тут об своем добре печется, а своим добром всяк волен распорядиться, как ему вздумается. Разве не правду я говорю, отец Пакош?

– Святую правду, – ответил пацунельский старичок.

А Юзва снова обратился к старому Бутрымю:

– Не дремлите, отец Касьян!

– Я не дремлю, только думаю думаю.

– Так говорите, что думаете.

– Что я думаю? Вот что я думаю: знатен пан Кмициц, благородной крови, а мы люди худородные! К тому же солдат он славный: сам один пошел против врага, когда у всех руки опустились. Дай-то Бог нам таких побольше. Но товарищи у него отпетый народ! Пан сосед Пакош, вы от Домашевичей это слышали? Подлые это люди, суд их чести лишил, в войске сыск их ждет и кара. Изверги они! Доставалось от них недругу, но не легче было и обывателю. Жгли, грабили, насильничали, вот что! Добро бы, они зарубили кого, наезд учинили, это и с достойными людьми бывает, а ведь они, как татары, промышляли разбоем, и давно бы уж им по тюрьмам гнить, когда бы пан Кмициц им не покровительствовал, а он – сила! Он любит их и покрывает, а они вьются около него, как слепни летом около лошади. А теперь вот сюда приехали, и все уже знают, что это за люди. Ведь они в первый же день из пистолетов палили, и по кому же? По портретам покойных Биллевичей, чего пан Кмициц не должен был позволять, потому что они его благодетели.

Оленька заткнула уши руками.

– Не может быть! Не может быть!

– Как не может быть, коли так оно и было! Благодетелей своих позволил им перестрелять, с которыми породниться хотел! А потом затащили в дом дворовых девок для разврата! Тьфу! Грех один! Такого у нас не бывало! Первый же день со стрельбы начали и разврата! Первый же день!

Тут старый Касьян разгневался и стал стучать палкой об пол; лицо Оленьки залилось темным румянцем.

– А войско пана Кмицица, – вмешался в разговор Юзва, – которое осталось в Упите, оно что, лучше? Каковы офицеры, таково и войско! У пана Соллогуба скотину свели, – говорят, люди пана Кмицица; мейшагольских мужиков, которые везли смолу, на дороге избили. Кто? Они же. Пан Соллогуб поехал к пану Глебовичу бить челом об управе на них, а теперь вот в Упите шум! Богопротивное дело! Спокойно тут было, как нигде в другом месте, а теперь хоть ружье на ночь заряжай и дом стереги, а все почему? Потому что приехал пан Кмициц со своею ватагой!

– Отец Юзва, не говорите этого, не говорите! – воскликнула Оленька.

– А что же мне говорить! Ежели пан Кмициц ни в чем не повинен, тогда зачем он держит таких людей, зачем живет с такими? Скажи ему, вельможная панна, чтобы он прогнал их или

отдал в руки заплочному мастеру, не то не знать нам покоя. А слуханное ли это дело стрелять по портретам и открыто распутничать с девками? Ведь вся округа только о том и говорит!

– Что же мне делать? – спрашивала Оленька. – Может, они и злые люди, но ведь он с ними на войну ходил. Разве он выгонит их, коли я его попрошу!

– А не выгонит, – проворчал про себя Юзва, – то и сам таковский!

Но тут гнев забурился в крови девушки, зло взяло на этих друзей пана Кмицица, мошенников и забияк.

– Коли так, быть по-вашему! Он должен их выгнать! Пусть выбирает: я или они! Коли правда все, что вы говорите, а об том я еще сегодня узнаю, я им этого не прощу, ни стрельбы, ни распутства. Я одинокая девушка, слабая сирота, а их целая ватага с оружием, но я не побоюсь...

– Мы тебе поможем! – сказал Юзва.

– Боже мой! – говорила Оленька со все возрастающим негодованием. – Пусть себе делают, что хотят, только не здесь, в Любиче. Пусть себе остаются, какими хотят, это их дело, они головой за это ответят, но пусть не толкают пана Кмицица на разврат! Стыд и срам! Я думала, они грубые солдаты, а они, вижу, подлые предатели, которые позорят и себя и его. Да, зло читалось в их глазах, а я, глупая, не увидела. Что ж! Спасибо вам, отцы, за то, что вы мне глаза открыли на этих иуд. Я знаю, что мне теперь делать.

– Да, да! – сказал старый Касьян. – Добродетель говорит твоими устами, и мы тебе поможем.

– Вы пана Кмицица не вините! Ежели он и поступает противу правил, так ведь он молод, а они его искушают, они его подстрекают, своим примером они толкают его на распутство и навлекают позор на его имя! Да, покуда я жива, этому больше не бывать!

Гнев все больше бурлил в крови Оленьки, и ненависть росла в ее сердце к друзьям пана Анджея, как боль растет в свежей ране. Тяжкая рана была нанесена и женской ее любви, и той вере, с какой она отдала пану Анджею свое чистое чувство. Стыдно ей было и за него и за себя, а гнев и стыд искали прежде всего виноватых.

Шляхта обрадовалась, увидев, как грозна их панна и какой решительный вызов бросила она оршанским разбойникам.

А она продолжала, сверкая взорами:

– Да, они во всем виноваты и должны убраться не только из Любича, но и из здешних мест.

– Мы, голубка, тоже не виним пана Кмицица, – говорил старый Касьян. – Мы знаем, что это они его искушают. Не таим мы в сердце ни яда, ни злобы против него и приехали сюда, сожалея, что он держит при себе разбойников. Дело известное, молод, глуп. И пан староста Глебович смолodu глуп был, а теперь всеми нами правит.

– А возьмите пса? – растрогавшись, говорил кроткий пацунельский старичок. – Пойдешь с молодым в поле, а он, глупый, вместо того чтобы идти по следу зверя, у твоих ног, подлец, балует и за полы тебя тянет.

Оленька хотела что-то сказать и вдруг залилась слезами.

– Не плачь! – сказал Юзва Бутрым.

– Не плачь, не плачь! – повторяли оба старика.

Но как они ее ни утешали, а утешить не могли. После их отъезда остались печаль, тревога и обида и на них, и на пана Анджея. Больше всего гордую девушку уязвило то, что надо было вступаться за него, защищать его и оправдывать. А эта его ватага! Маленькие кулачки панны Александры сжались при мысли о них. Перед глазами ее встали лица Кокосинского, Углика, Зенда, Кульвец-Гиппоцентавруса и других, и она увидела то, чего раньше не замечала: что это были бесстыдные лица, на которых скоморошество, разврат и преступления оставили свою печать. Чуждое Оленьке чувство ненависти обожгло ей сердце.

Но в этом смятении духа с каждой минутой поднималась все горшая обида на пана Анджея.

– Стыд и срам! – шептала про себя девушка побелевшими губами. – Каждый вечер возвращался от меня к дворовым девкам!

Она чувствовала себя униженной. От невыносимой тяжести стеснялось дыхание в груди.

На дворе темнело. Панна Александра лихорадочным шагом ходила по покою, и все в ней кипело по-прежнему. Это не была натура, способная переносить удары судьбы и покоряться им. Рыцарская кровь текла в жилах девушки. Она хотела немедленно начать борьбу с этим легионом злых духов – немедленно! Но что она может сделать? Ничего! Ей остается только плакать и молить, чтобы пан Анджей разогнал на все четыре стороны этих своих друзей, которые позорят его. А если он не захочет?

– Если не захочет?

Она еще не решалась подумать об этом.

Мысли девушки прервал слуга, который внес охапку можжевельных дров и, бросив их у печи, стал выгребать угли из золы. Оленька внезапно приняла решение.

– Костек, – сказала она, – сейчас же садись на коня и скачи в Любич. Коли пан уже вернулся, попроси его приехать сюда, а нет его дома, пусть управитель, старый Зникис, сядет с тобой на коня и тотчас явится ко мне, – да поживее!

Парень кинул на угли смолистых щепок, присыпал их корневищами сухого можжевельника и бросился вон.

Яркое пламя вспыхнуло и загудело в печи. У Оленьки немного отлегло от сердца.

«Бог даст, все еще переменится, – подумала она про себя. – А может, все не так худо, как рассказывали опекуны. Посмотрим!»

Через минуту она вышла в людскую, чтобы, по дедовскому обычаю Биллевичей, посидеть со слугами, приглядеть за пряхами, спеть божественные песни.

Через два часа вошел продрогший Костек.

– Зникис в сенях, – сказал он, – пана в Любиче еще нет.

Панна Александра вскочила и стремительно вышла. Управитель в сенях поклонился ей в ноги.

– Каково поживаешь, ясновельможная панна? Дай тебе Бог здоровья!

Они прошли в столовый покой. Зникис остановился у двери.

– Что у вас слышно? – спросила панна Александра.

Мужик махнул рукой.

– Э, что там толковать! Пана дома нет.

– Я знаю, что он в Упите. Но что творится в доме?

– Э, что там толковать!

– Послушай, Зникис, говори смело, волос у тебя с головы не упадет. Говорят, пан хороший, только товарищи своевольники?

– Да, когда бы, ясновельможная панна, своевольники!

– Говори прямо.

– Да нельзя, панна... боюсь я. Мне не велено.

– Кто тебе не велел?

– Пан...

– Ах, вот как? – сказала девушка.

На минуту воцарилось молчание. Панна Александра, сжав губы и насупя брови, быстро ходила по покою, Зникис следил за нею глазами.

Вдруг она остановилась перед ним.

– Ты чей?

– Я Биллевичей. Не из Любича я, из Водоктов.

– В Любич больше не воротишься, тут останешься. А теперь приказываю тебе говорить все, что знаешь!

Мужик как стоял у порога, так и повалился ей в ноги.

– Ясновельможная панна, не хочу я туда ворочаться, там светопреставление! Разбойники они, грабители, там не то что за день, за час нельзя поручиться.

Панна Биллевич покачнулась, словно сраженная стрелой. Она страшно побледнела, однако спокойно спросила:

– Это правда, что они стреляли в доме по портретам?

– Как же не стреляли! И девок таскали в покои, что ни день – одно распутство. В деревне стон стоит, в усадьбе содом и гоморра! Волон режут к столу, баранов к столу! Людей давят. Конюха вчера безо всякой вины зарубили.

– И конюха зарубили?

– Да! А хуже всего девушек обижают. Дворовых им уже мало, ловят по деревне...

На минуту снова воцарилось молчание. Лицо у панны Александры пылало, и румянец уже больше не потухал.

– Когда ждут там пана?

– Не знаю, слыхал только я, как они между собой толковали, что завтра надо всем ехать в Упиту. Приказали, чтобы лошади были готовы. Должны сюда заехать, просить, чтобы дали им людей и порошу, будто там могут понадобиться.

– Должны сюда заехать? Это хорошо. Ступай теперь, Зникис, на кухню. В Любич ты больше не воротишься.

– Дай Бог тебе здоровья и счастья!

Панна Александра допыталась всего, что ей было нужно, и знала теперь, как ей поступить.

На следующий день было воскресенье. Утром, не успела еще панна Александра уехать с теткой в костел, явились Кокосинский, Углик, Кульвец-Гиппоцентаврус, Раницкий, Рекуц и Зенд, а вслед за ними мужики из Любича, все вооруженные и верхами, так как кавалеры решили идти на подмогу Кмицицу в Упиту.

Панна Александра вышла к ним спокойная и надменная, совсем не такая, как несколько дней назад, когда она приветствовала их; она едва головой кивнула в ответ на их униженные поклоны; но они подумали, что это она потому так осторожна, что с ними нет Кмицица, и ничего не заподозрили.

Ярош Кокосинский, который теперь стал смелее, выступил вперед и сказал:

– Ясновельможная панна ловчанка, благодетельница наша! Мы сюда заехали по дороге в Упиту, чтобы упасть к твоим ногам и просить об *auxilia*<sup>8</sup>: порошу надо нам и ружей, да вели своим людям седлать коней и ехать с нами. Мы Упиту возьмем штурмом и сделаем сиволапым маленькое кровопускание.

– Странно мне, – ответила им панна Биллевич, – что вы едете в Упиту, я сама слыхала, что пан Кмициц велел вам сидеть смирно в Любиче, а я думаю, что ему приличествует приказывать, а вам как подчиненным повиноваться.

Услышав эти слова, кавалеры с удивлением переглянулись. Зенд выпятил губы, точно хотел засвистеть по-птичьи, Кокосинский стал поглаживать широкой ладонью голову.

– Клянусь Богом, – сказал он, – кто-нибудь мог бы подумать, что ясновельможная панна говорит с обозниками пана Кмицица. Это верно, что мы должны были сидеть дома, но ведь уже идет четвертый день, а Ендруся все нет, вот мы и подумали: видно, там такая сумятица поднялась, что пригодились бы и наши сабли.

---

<sup>8</sup> помощи, подкреплении (лат.).



– Пан Кмициц не воевать поехал, а наказать смутьянов-солдат, что и с вами легко может стать, коли вы нарушите приказ. Да и сумятица и резня там скорее начнутся при вас.

– Трудно нам, ясновельможная панна, рассуждать об этом с тобой. Мы просим только пороку и людей.

– Людей и пороку я не дам, слышишь, пан, не дам!

– Не ослышался ли я? – воскликнул Кокосинский. – Как это не дашь? Пожалеешь для спасения Кмицица, Ендруся? Хочешь, чтобы с ним беда приключилась?

– Горше нет беды для него, как ваша компания!

Глаза девушки блеснули гневом, подняв голову, она сделала несколько шагов к забиякам; те в изумлении попятнулись от нее.

– Предатели! – воскликнула она. – Вы, как бесы, вводите его в грех, вы его искушаете! Но я уже все знаю про вас, про ваше распутство, про ваши бесчинства. Суд ищет вас, люди от вас отворачиваются, а на чью голову падает позор? На его! И все из-за вас, изгнанников, негодяев!

– Иисусе Христе! Вы слышите, друзья? – крикнул Кокосинский. – Что же это такое? Уж не сон ли это, друзья?

Панна Билевич сделала еще один шаг и показала рукой на дверь.

– Вон отсюда! – сказала она.

Мертвенная бледность покрыла лица забияк, ни один из них не смог слово выговорить в ответ. Они только зубами заскрежетали в ярости, и глаза их зловеще блеснули, а руки готовы были судорожно схватиться за сабли. Но через мгновение страх обнял их души. Ведь этот дом находился под покровительством могущественного Кмицица, эта дерзкая девушка была его невестой. Молча подавили они гнев, а она все еще стояла, сверкая взорами, и показывала пальцем на дверь.

Наконец Кокосинский процедил, захлебываясь от бешенства:

– Что ж, коли нас тут так мило встречают... нам не остается ничего другого, как поклониться учтивой хозяйке... поблагодарить за гостеприимство и уйти.

С этими словами он поклонился с нарочитой униженностью, метя шапкою пол, за ним стали кланяться остальные и выходить один за другим вон. Когда дверь закрылась за последним, Оленька, тяжело дыша, в изнеможении опустилась в кресло; силы оставили ее, их оказалось меньше, чем храбрости.

А забияки, сойдя с крыльца, сбились толпою около лошадей, чтобы посоветоваться, как же быть; но никто не хотел первым взять слово.

Наконец Кокосинский сказал:

– Ну, каково, милые барашки?

– А что?

– Хорошо ли вам?

– А тебе хорошо?

– Эх, когда бы не Кмициц! Эх, когда бы не Кмициц! – произнес Раницкий, судорожно потирая руки. – Мы бы тут с паненкой по-свойски погуляли!

– Поди тронь Кмицица! – пропищал Рекуц. – Сунься против него!

Лицо у Раницкого пошло пятнами, как шкура рыси.

– И сунусь, и против него, и против тебя, забияка, где хочешь!

– Вот и хорошо! – сказал Рекуц.

Оба схватились было за сабли, но великан Кульвец-Гиппоцентаврус встал между ними.

– Вот этим кулаком, – сказал он, потрясая кулачищем с каравай хлеба, – вот этим кулаком, – повторил он, – я первому, кто выхватит саблю, голову разможжу!

Тут он стал поглядывать то на Рекуца, то на Раницкого, как бы вопрошая, кто же первый хочет попробовать; но они после такого немого вопроса тотчас успокоились.

– Кульвец прав! – сказал Кокосинский. – Милые мои, мир сейчас нам нужен больше чем когда-либо. Мой совет: скакать к Кмицицу, да поскорее, чтобы она раньше нас его не увидела, не то распишет нас, как чертей. Хорошо, что никто не зарычал на нее, хоть у меня самого чесались и язык и руки. Едем же к Кмицицу. Она хочет вооружить его против нас, так уж лучше мы его сперва вооружим. Не приведи Бог, чтобы он нас покинул. Шляхта тотчас устроит на нас облаву, как на волков.

– Глупости! – отрезал Раницкий. – Ничего она нам не сделает. Теперь война, мало, что ли, людей шатается по белу свету без приюта и без куска хлеба? Соберем ватагу, милые друзья, и пусть гонятся за нами все трибуналы! Дай руку, Рекуц, я тебя прощаю!

– Я бы тебе уши обрубил! – пропищал Рекуц. – Ну да уж ладно, помиримся! Обоих нас одинаково осрамили!

– Выгнать вон таких кавалеров! – воскликнул Кокосинский.

– Меня, в чьих жилах течет сенаторская кровь! – подхватил Раницкий.

– Людей достойных! Родовитых шляхтичей!

– Заслуженных солдат!

– И изгнанников!

– Невинных сирот!

– Сапоги у меня на смушках-выпоротках, а ноги все равно уже мерзнут, – сказал Кульвец. – Что это мы, как нищие, стоим перед домом, гретого пива нам все равно не вынесут! Нечего нам тут делать. Давайте садиться на конь и ехать! Людей лучше отошлем, ни к чему они нам без оружия, а сами поедem.

– В Упиту!

– К Ендрусю, достойному другу! Ему пожалуемся!

– Только бы нам не разминуться с ним.

– По коням, друзья, по коням!

Они сели и медленно тронулись, кипя гневом и сгорая от стыда. За воротами Раницкий, у которого от злобы все еще сжималось горло, повернулся и погрозил дому кулаком.

– Крови жажду, крови!

– Пусть бы она только с Кмицицем поссорилась, – сказал Кокосинский, – мы бы сюда с трутом приехали.

– Все может статьeя.

– Дал бы Бог! – прибавил Углик.

– Чертова девка! Змея подколотная!

Так, браня и проклиная на все лады панну Биллевич, а порою ворча и друг на дружку, доехали они до леса. Едва вступили они в его недра, как огромная стая воронья закружилась над их головами. Зенд тотчас пронзительно закаркал; тысячи голосов ответили ему сверху. Стая спустилась так низко, что лошади стали шарахаться, пугаясь шума крыльев.

– Заткни глотку! – крикнул Зенду Раницкий. – Еще беду накаркаешь! Каркает над нами это воронье, как над падалью...

Но другие смеялись, и Зенд по-прежнему каркал. Воронье спускалось все ниже, и они ехали так словно средь бури. Глупцы! Не могли разгадать дурного предзнаменования.

За лесом уже показались Волмонтовичи, и кавалеры перешли на рысь, потому что мороз был сильный, и они очень озябли, а до Упиты было еще далеко. Но в самой деревне они вынуждены были убавить ходу. Как всегда по воскресеньям, на широкой дороге застанка было полно народу. Бутрымы с женами и дочками возвращались пешком или на санях из Митрун от обедни. Шляхта с любопытством глазела на незнакомых всадников, смутно догадываясь, кто это такие. Молодые шляхтянки уже слыхали про распутство в Любиче и про знаменитых грешников, привезенных паном Кмицицем, и потому смотрели на них с еще большим любопытством. А те, красуясь молодецкою выправкой, гордо ехали на своих скакунах, разодетые в

бархатные ферязи, захваченные в добычу, и рысьи колпаки. Видно было, что это заправские солдаты: важные да спесивые, правая рука в бок уперта, голова поднята вверх. Они никому не уступали дороги, ехали шеренгой, покрикивая время от времени: «Сторонись!» Кое-кто из Бутрымов бросал на них исподлобья угрюмый взгляд, но дорогу уступал; а кавалеры вели между собою разговор про застянок.

– Взгляни-ка, – говорил Кокосинский, – какие рослые парни: один к одному, как туры, а каждый волком смотрит.

– Когда бы не рост да не саблищи, их можно было бы принять за хамов, – сказал Углик.

– Нет, только поглядите на эти саблищи! – заметил Раницкий. – Сущие коромысла, клянусь Богом! Я бы не прочь с кем-нибудь из них побороться!

Тут пан Раницкий начал фехтовать голой рукой.

– Он вот так, а я так! Он вот так, а я так – и шах!

– Ты легко можешь доставить себе такое *gaudium*<sup>9</sup>, – заметил Рекуц. – С ними это просто.

– А по мне, лучше побороться с теми вон девушками! – сказал вдруг Зенд.

– Уж и статны, не девушки, свечи! – с восторгом воскликнул Рекуц.

– Ну что это ты говоришь: свечи? Сосенки! А мордашки у всех ну прямо как шафраном нарумянены.

– Картина – на коне не удержишь!

Беседуя таким образом, они выехали из застянка и снова надали ходу. Через полчаса подскакали к корчме под названием «Долы», которая лежала на полдороге между Волмонтовичами и Митрунами. В этой корчме на пути в костел и из костела Бутрымы в морозные дни останавливались обычно отдохнуть и погреться. Вот почему кавалеры увидели перед корчмой десятка два саней, застеленных гороховой соломой, и столько же лошадей под седлом.

– Давайте выпьем горелки, а то холодно! – сказал Кокосинский.

– Не мешало бы! – раздался в ответ дружный хор голосов.

Всадники спешили, привязали лошадей к коновязям, а сами вошли в огромную и темную избу. Там они застали пропасть народу. Сидя на лавках или стоя кучками перед стойкой, шляхтичи попивали гретое пиво, а кое-кто и горячий мед, варенный на масле, водке и пряностях. Тут были одни Бутрымы, мужики рослые, угрюмые и такие молчаливые, что в корчме почти не слышно было говора. Все они были одеты в бараньи полушубки, крытые серым понитком или грубым россиенским сукном, и подпоясаны кожаными поясами, все при саблях в черных железных ножнах; в одинаковой этой одежде они казались солдатами. Но это были либо люди немолодые, которым уже перевалило за шестьдесят, либо юноши, не достигшие и двадцати лет. Они остались дома для зимнего обмолота, а все мужчины в цвете сил уехали в Россиены.

Увидев оршанских кавалеров, Бутрымы отодвинулись от стойки и стали на них поглядывать. Красивый рыцарский наряд понравился воинственной шляхте; порою кто-нибудь ронял: «Это из Любича?» – «Да, ватага пана Кмицица!» – «Ах, это те!» – «Они самые!»

Кавалеры пили горелку; но уж очень пахло в корчме горячим медом. Первым учуял его Кокосинский и велел подать. Друзья уселись за стол и, когда им принесли дымящийся чугунок, стали попивать мед, оглядывая избу и шляхту и шурия при этом глаза, потому что в избе было темновато. Окна замело снегом, а длинное, низкое чело печи, в которой горел огонь, совсем заслонили чьи-то фигуры, обращенные к избе спинами.

Когда мед заиграл в жилах кавалеров, разнося по телу приятное тепло, и они воспрянули духом и забыли о приеме, оказанном им в Водоктах, Зенд так похоже закаркал вдруг вороном, что все лица обратились на него.

---

<sup>9</sup> удовольствие, радость (*лат.*).

Кавалеры смеялись, шляхтичи, развеселясь, стали подвигаться поближе, особенно молодежь, крепкие парни, широкоплечие и круглощечие. Люди, сидевшие у огня, повернулись, и Рекуц первый увидел, что это девушки.

А Зенд закрыл глаза и каркал, каркал, потом вдруг перестал, и через минуту присутствующие услышали голос зайца, которого душат собаки; заяц хрипел при последнем издыхании все слабее и тише, потом взвизгнул отчаянно и смолк навеки, а вместо него взревел, ярься, сохатый.

Бутрымы застыли в изумлении, хотя Зенд уже умолк. Они надеялись услышать еще что-нибудь, однако на этот раз слышали только писклявый голос Рекуца:

– Девушки сидят около печи!

– В самом деле! – сказал Кокосинский, прикрывая рукой глаза.

– Клянусь богом, – подхватил Углик, – только здесь так темно, что я не мог разглядеть.

– Любопытно знать, что они тут делают?

– Может, пришли на танцы?

– Погодите, я спрошу у них! – сказал Кокосинский. Повысив голос, он спросил: – Милые девушки, что это вы делаете около печи?

– Ноги греем, – раздались тонкие голоса.

Тогда кавалеры поднялись и подошли поближе к очагу. На длинной лавке сидело с десяток девушек, постарше и помоложе, поставив босые ноги на колоду, лежавшую у огня. С другой стороны колоды сушились сапоги, промокшие от снега.

– Так это вы ноги греете? – спросил Кокосинский.

– Да, озябли.

– Прехорошенькие ножки! – пропищал Рекуц, нагибаясь к колоде.

– Да отвязись ты, пан! – сказала одна из шляхтянок.

– Я бы не отвязаться рад, а привязаться, потому знаю надежное средство получше огня, чтобы разогреть озябшие ножки. Вот оно какое мое средство: поплясать в охотку, и ознобу как не бывало!

– Поплясать так поплясать! – сказал Углик. – Не надо ни скрипки, ни контрабаса, я вам на чакане сыграю.

И, добыв из кожаного футляра, висевшего у сабли, свой неизменный инструмент, он заиграл, а кавалеры с приплясом двинулись к девушкам, и давай тащить их с лавки. Те как будто оборонялись, но не очень, так, визжали только, потому что на самом деле не прочь были поплясать. Может, и шляхтичам тоже припала бы охота, потому что поплясать в воскресенье, после обедни, да еще на масленой, не возбраняется, но слава о «ватаге» докатилась уже и до Волмонтовичей, поэтому великан Юзва Бутрым, тот самый, у которого оторвало ступню, первый поднялся с лавки и, подойдя к Кульвец-Гиппоцентаврусу, схватил его за шиворот, остановил и угрюмо сказал:

– Коли припала охота поплясать, так не пойдешь ли со мной?

Кульвец-Гиппоцентаврус прищурил глаза и грозно встопорщил усы.

– Нет, уж лучше с девушкой, – ответил он, – а с тобой разве потом...

Но тут подбежал Раницкий, лицо у него уже пошло пятнами, он почуял драку.

– А это еще что за бродяга? – спросил он, хватаясь за саблю.

Углик бросил играть, а Кокосинский крикнул:

– Эй, друзья, в кучу! В кучу!

Но за Юзвой бросились уже Бутрымы, могучие старики и парни великаны; они тоже сбились в кучу, ворча, как медведи.

– Вы чего хотите? Шишки набить? – спрашивал Кокосинский.

– Э, что там с ними толковать! Пошли прочь! – невозмутимо сказал Юзва.

В ответ на эти слова Раницкий, который больше всего боялся, как бы дело не обошлось без драки, ударил Юзву рукоятью в грудь, так что эхо отдалось в избе, и крикнул:

– Бей!

Сверкнули рапиры, раздался женский крик и лязг сабель, шум поднялся и суматоха. Но тут великан Юзва, выбравшись из свалки, схватил стоявшую у стола грубо отесанную лавку и, подняв ее вверх, как легонькую дощечку, крикнул:

– Дуй его! Дуй!

Пыль поднялась с земли и заслонила дерущихся; в суматохе только стали слышны стоны...

## Глава V

В тот же день вечером в Водокты приехал Кмициц, ведя с собою из Упиты добрую сотню солдат, чтобы отослать их к великому гетману в Кейданы; он сам увидел теперь, что в таком маленьком городе, как Упита, не разместишь столько народу, что, приев хлеб у горожанина, солдат вынужден насильничать, особенно такой солдат, удержать которого в повиновении может только страх перед начальником. Достаточно было одного взгляда на охотников Кмицица, чтобы убедиться в том, что хуже людей не сыщешь во всей Речи Посполитой. Да иных у Кмицица и быть не могло. Разбив великого гетмана, неприятель завладел всем краем. Остатки регулярного литовского войска отошли на время в Биржи и Кейданы, чтобы там оправиться после поражения. Смоленская, витебская, полоцкая, мстиславская и минская шляхта либо последовала за войском, либо укрывалась в воеводствах, еще не захваченных врагом. Те же из шляхты, кто был смелее духом, стали собираться к подскарбию Госевскому в Гродно, где королевскими универсалами был назначен сбор шляхетского ополчения. Увы, немного нашлось таких, кто внял универсалам, да и те, что подчинились велению долга, собирались так медленно, что все это время никто не давал отпора врагу, кроме Кмицица, который делал это на собственный страх, побуждаемый не столько любовью к отчизне, сколько рыцарской удаleyю и молодечеством. Легко понять, что за недостатком регулярных войск и шляхты он брал кого попало, то есть таких людей, которые не обязаны были идти к гетманам в войско и которым нечего было терять. Набежали тогда к нему бродяги без крова и пристанища, людишки подлого рода, холопы, бежавшие из войска, одичалые лесовики, городская челядь да разбойнички, которых преследовал закон. Все они надеялись найти в хоругви Кмицица защиту да вдобавок поживиться добычей. В железных руках своего начальника они превратились в храбрых солдат, храбрых до отчаянности, и будь сам Кмициц человеком степенным, они много могли бы сделать для блага Речи Посполитой. Но Кмициц сам был своевольник, у которого вечно кипела душа, да откуда было взять ему провиант, оружие и лошадей, если он, охотник, не имевший даже королевских грамот на вербовку войска, не мог надеяться на самую малую помощь от казны Речи Посполитой. Брал поэтому силой и с неприятеля и со своих. Сопротивления не терпел и за всякую попытку противодействия расправлялся без пощады.

В постоянных наездах, битвах и набегах он одичал и так привык к кровопролитию, что сердце его, от природы доброе, нелегко было теперь растрогать. Полюбились ему люди, на все готовые, необузданные. Вскоре само имя его стало внушать страх. В той стороне, где рыскал грозный партизан, небольшие вражеские отряды не смели носа высунуть из городов и станов. Но и обыватели, разоренные войной, боялись его ватаги не меньше, чем неприятеля. Когда люди Кмицица не были у него на глазах, когда над ними начальствовали его офицеры: Кокосинский, Углик, Кульвец, Зенд и особенно Раницкий, невзирая на свое высокое происхождение, самый дикий и жестокий из них, тогда и впрямь можно было усомниться, а защитники ли это отчизны, не враги ли ее. Под сердитую руку Кмициц, случалось, карал без пощады и своих людей, но чаще брал их сторону, не глядя ни на закон, ни на слезы, не щадя человеческой жизни.

Товарищи, кроме Рекуца, на котором не тяготела невинная кровь, только подстрекали молодого предводителя, чтобы он давал еще больше воли своему буйному нраву.

Такое-то войско было у Кмицица.

Теперь он увел свою гольтыбу из Упиты, чтобы отослать ее в Кейданы. Когда солдаты остановились в Водоктах перед усадьбой, панна Александра в ужас пришла, увидев их в окно, так живо напоминали они разбойников. Пестрое это было сборище: кто в шлеме, захваченном у неприятеля, кто в казачьей шапке или колпаке, кто в выцветшей ферязи, кто в тулупе, с ружьями, копьями, луками и бердышами, на тощих, заиндевелых лошаденках под польскими,

московскими и турецкими чепраками. Успокоилась она только тогда, когда пан Анджей, красивый и веселый, как всегда, вбежал в покой и тотчас с жаром приник к ее руке.

Хотя Оленька и решила принять пана Анджея с суровой холодностью, однако при виде его не могла сдержать порыв радости. А может, была в этом и женская хитрость, – ведь ей надо было сказать пану Анджею, что она выгнала за дверь его ватагу, вот лукавая девушка и решила привлечь его сперва на свою сторону. Да и приветствовал он ее так горячо, с такой любовью, что сердце ее растаяло, как снег от огня.

«Любит он меня! Нет в том сомнения!» – подумала девушка.

А он говорил:

– Так я стосковался, что всю Упиту хотел спалить, только бы поскорее прилететь к тебе. Чтob их мороз задавил, этих сиволапых!

– Я тоже беспокоилась, как бы у тебя там дело не дошло до битвы. Слава Богу, ты приехал.

– Э, какая там битва! Солдаты стали было трепать сиволапых!..

– Но ты их утихомирил?

– Сейчас все тебе расскажу, мое сокровище, только вот присяду, а то очень устал. Ах, и тепло же здесь у тебя, ах, и хорошо же в этих Водоктах, прямо как в раю. Век бы тут сидел, глядел бы в эти очи милые и никуда не уезжал!.. Но выпить чего-нибудь горяченького тоже не помешало бы, мороз на улице лютый.

– Сейчас прикажу согреть вина с яйцами и сама принесу.

– Дай же и моим висельникам бочонок горелки и вели пустить их в коровник, чтобы они хоть от коровьего духу погрелись. Одежка у них подбита ветерком, совсем они зачоченели.

– Ничего для них не пожалею, это же твои солдаты.

При этих словах она так улыбнулась, что у Кмицица даже взор прояснел, и исчезла тихо, как кошечка, чтобы в людской отдать распоряжения.

Кмициц ходил по покою, то поглаживая свою чуприну, то крутя молодой ус, и раздумывал о том, как же рассказать ей о том, что произошло в Упите.

– Надо правду сказать, начистоту, – бормотал он про себя, – ничего не поделаешь, хоть и будут смеяться товарищи, что бычок уже на веревочке.

И снова ходил, и снова чуприну пятерней начесывал на лоб, наконец потерял терпенье оттого, что девушка долго нейдет.

Но тут слуга внес свет, поклонился в пояс и вышел, а потом сразу же вошла красавица хозяйшшка, держа обеими руками блестящий оловянный поднос с горшочком, над которым поднимался ароматный пар разогретого венгерского, и чаркой граненого стекла с гербом Кмицицев. Старый Биллевич получил ее в подарок от отца пана Анджея, когда был у них в гостях.

Пан Анджей, увидев хозяйшшку, подбежал к ней.

– А! – воскликнул он. – Рученьки-то обе заняты, теперь не вырвешься.

И перегнулся через поднос, а она запрокидывала свою светлую головку, которую защищал только пар, поднимавшийся над горшочком.

– Изменщик! Оставь, оставь же, а то вино уроню!..

Но он не испугался этой угрозы.

– Клянусь Богом, – воскликнул он наконец, – от таких утех разум может помутиться!

– Он у тебя давно уж помутился... Садись же, садись!

Он послушно сел, она налила ему чарку вина.

– Ну рассказывай теперь, как ты в Упите суд чинил над виновными?

– В Упите? Как Соломон!

– Вот и слава Богу! Очень мне хочется, чтобы все в округе почитали тебя человеком достойным и справедливым. Так как же все было?

Кмициц отхлебнул изрядный глоток вина и сказал со вздохом:

– Придется сначала начать. Вот как было дело: сиволапые со своим бурмистром требовали ассигновок на припас от великого гетмана или от пана подскарбия. «Вы охотники, – говорили они солдатам, – и поборов чинить не можете. На постой мы вас пустили из милости, а припас дадим, когда видно будет, что нам заплатят».

– Были они правы или нет?

– По закону они были правы, но у солдат были сабли, а, по старому обычаю, у кого сабли, тот всегда больше прав. Говорят тогда солдаты сиволапым: «Вот мы вам на вашей же шкуре выпишем ассигновки!» Ну тут и поднялся содом. Бурмистр с сиволапыми загородились в улице, а мои стали их добывать; не обошлось и без стрельбы. Подожгли бедняги солдатики для устрашения парочку риг, ну и из сиволапых кое-кого успокоили...

– Как это успокоили?

– Да уж кто получит саблей по голове, тот спокоен, как кролик.

– Иисусе Христе, это же убийство!

– Потому я туда и поехал. Солдаты тотчас ко мне с жалобами на утеснения, – вот, мол, в какой мы крайности живем, вот, мол, как нас безо всякой вины преследуют. «Животы у нас пустые, – говорят они, – что нам делать?» Велел я бурмистру явиться ко мне. Долго он думал, наконец пришел с тремя сиволапыми и давай плакаться: «Пусть бы уж и ассигновок не давали, а зачем же драться, зачем город палить? Пить-есть мы бы дали им за спасибо, так ведь им сала подай, меду да лакомств, а у нас, бедных людей, у самих этого нет. Мы на них управы будем искать, а твоей милости за своих солдат придется перед судом ответить».

– Бог тебя благословит, пан Анджей, – воскликнула Оленька, – коли ты рассудил по чести, по справедливости.

– Коли рассудил?

Тут пан Анджей скривился, как школяр, который должен сознаться в своем проступке, и стал начесывать пятерней на лоб свою чуприну.

– Моя ты королева! Мое ты сокровище! – воскликнул он наконец жалобным голосом. – Не гневайся ты на меня...

– Что же ты опять натворил, пан Анджей? – с тревогой спросила Оленька.

– Велел дать по сто батожков бурмистру и советникам! – выпалил пан Анджей.

Оленька ничего не ответила, только руками в колени уперлась, голову опустила на грудь и погрузилась в молчание.

– Руби голову с плеч! – кричал Кмициц. – Только не гневайся!.. Я еще не во всем тебе повинился...

– Не во всем? – простонала девушка.

– Они ведь потом послали в Поневеж за подмогой. Пришла сотня плохоньких солдат с офицерами. Солдат я распугал, а офицеров – не гневайся ты, Христа ради! – велел голыми прогнать по снегу канчуками, как когда-то в Оршанщине сделал с паном Тумгротом...

Панна Билевич подняла голову, суровые глаза ее горели гневом, лицо пылало.

– Нет у тебя, пан Анджей, ни стыда, ни совести! – сказала она.

Кмициц поглядел на нее удивленно и на минуту умолк.

– Ты это правду говоришь, – спросил он наконец изменившимся голосом, – или только так, прикидываешься?

– Правду говорю, потому что такой поступок достоин не кавалера, а разбойника! Правду говорю, потому что мне дорога твоя честь, потому что мне стыдно, что не успел ты приехать, а уже все обыватели видят в тебе насильника и пальцем на тебя тычут!

– Что мне до ваших обывателей! Десять халуп одна собака сторожит, и той нечего делать.

– Но никто из этих худородных не навлек на себя бесчестия, никто не опозорил своего доброго имени. Никого тут суд не будет преследовать, кроме тебя одного, пан Анджей!



– Э, не твоя это забота. Всяк сам себе пан в нашей Речи Посполитой, у кого только сабля в руках и кто может собрать хоть плохонькую ватагу. Что они мне сделают? Кого мне тут бояться?

– Коли ты, пан, никого не боишься, так знай же, что я боюсь гнева Божьего... и слез людских боюсь, и обид! А позор я ни с кем не стану делить; хоть я слабая женщина, доброе имя мне может, дороже, чем иному кавалеру.

– Господи Боже мой, да не грози ты мне отказом, ты ведь еще меня не знаешь...

– О, я вижу, что и мой дед тебя не знал!

Глаза Кмицица сверкнули гневом, но и в ней закипела кровь Биллевичей.

– Беснуйся, пан Анджей, скрежещи зубами, – смело продолжала она, – я тебя не испугаюсь, хоть я одна, а у тебя целая хоругвь разбойников, невинность моя мне защитой! Ты думаешь, я не знаю, что вы в Любиче портреты перестреляли и девушек водили в дом для распутства? Это ты меня не знаешь, коли думаешь, что я покорно смолчу. Я хочу, чтобы ты стал достойным человеком, и требовать этого мне не запретит никакое завещание. Да и дед мой завещал, чтобы я стала женой только человека достойного...

Кмициц, видно, устыдился бесчинств в Любиче, потому что, потупя взор и понизив голос, спросил:

– Кто тебе сказал об этой стрельбе?

– Вся шляхта в округе об этом толкует.

– Я им это попомню, сермяжникам, предателям, – нахмурился Кмициц. – Но все ведь это под пьяную руку... в компании... солдаты, они ведь народ необузданный. А девок я в дом не водил.

– Я знаю, что это все эти бесстыдники, эти разбойники тебя подстрекают...

– Не разбойники они, а мои офицеры.

– Я этих твоих офицеров выгнала вон из моего дома!

Оленька ожидала взрыва негодования, а меж тем, к величайшему ее удивлению, весть об изгнании товарищей не произвела на Кмицица никакого впечатления, напротив, он как будто даже воспрянул духом.

– Выгнала вон? – спросил он.

– Да.

– И они ушли?

– Да.

– Ей-же-ей, кавалерская у тебя удаль! Страх как мне это нравится, ведь это, знаешь, очень опасное дело ссориться с такими людьми. Не один человек дорого за это заплатил. Но и они трепещут перед Кмицицем! Вот видишь, убрались смиренно, как овечки, вот видишь! А все почему? А потому, что меня бояться!

Тут пан Анджей посмотрел хвастливо на Оленьку и стал крутить свой ус; а ее уж вовсе рассердила и эта переменчивость, и эта похвальба не ко времени, поэтому она сказала решительно и гордо:

– Пан Анджей, выбирай между мною и ими, иначе я не могу!

Кмициц будто и не заметил той решительности, с какой говорила Оленька, и ответил небрежно, чуть ли не весело:

– А зачем мне выбирать, коль и ты моя, и они мои! Ты, панна Александра, можешь в Водоктах делать все, что тебе вздумается, но если мои товарищи не допустили здесь никакого своеволия и ничем тебя не обидели, за что же мне их выгонять? Тебе не понять, что это значит – служить под одним знаменем и вместе ходить в походы. Никакое родство так не связывает, как служба. Знай же, они мне тысячу раз спасали жизнь, и я им спасал, и сейчас, когда они без крова и пристанища и суд их преследует, я тем более должен дать им приют. Все они родовитые шляхтичи, один только Зенд темного происхождения, но такого объездчика не

сыщешь во всей Речи Посполитой. А когда б ты слышала, как он подражает всяким зверям и птицам, ты бы сама его полюбила.

Тут пан Анджей рассмеялся так, точно между ними отродясь не бывало ни раздора, ни несогласия, а она даже руки заломила, видя, как ускользает из ее рук своевольная эта натура. Все, что толковала она ему о людской молве, о достоинстве, о чести, отскакивало от него, как тупая стрела от панциря. Этот солдат с непробудившейся совестью не мог понять, почему восстает она против всякой несправедливости, против всякого наглого самоуправства. Как же пронять его, как с ним говорить?

– Твори Бог волю свою! – сказала она наконец. – Коли ты, пан Анджей, от меня отказываешься, иди своей дорогой! Господь останется покровом сироте!

– Я от тебя отказываюсь? – с величайшим изумлением спросил Кмициц.

– Да, коли не словом, так делом, коли не ты от меня, так я от тебя. Потому что не пойду я за человека, на чьей совести людские слезы и людская кровь, на кого пальцем показывают, кого отщепенцем зовут и разбойником и почитают предателем!

– Каким предателем? Не вводи ты меня в грех, не то я такое сотворю, что сам потом буду жалеть. Чтоб меня громом убило, провалиться мне на этом месте, коли я предатель, это я-то, что стал на защиту отчизны, когда у всех опустили руки!

– Ты стал на ее защиту, пан Анджей, а поступаешь как враг, потому что топчешь ее, потому что наших людей истязашь, потому что попираешь божеские и людские законы. Нет, пусть у меня сердце разорвется, не хочу я тебя такого, не хочу!

– Не говори мне об этом, не то я взбешусь! Пресвятая Богородица, спаси и помилуй! Да не захочешь ты добром пойти за меня, силком возьму, хоть бы вся голытьба из застенков, хоть бы сами Радзивиллы, сам король и все черти рогами тебя обороняли, хоть бы душу дьяволу пришлось продать...

– Не поминай нечистого, услышит! – вскричала Оленька, протягивая руки.

– Чего ты от меня хочешь?

– Будь же ты достойным человеком!

Они оба умолкли, и в покое воцарилась тишина. Слышно было только, как тяжело дышит пан Анджей. Его все-таки проняло от последних слов Оленьки, совесть в нем заговорила. Он чувствовал себя униженным. Не знал, что ответить ей, как оправдаться. Быстрыми шагами стал ходить по комнате; она сидела неподвижно. Облако раздора повисло над ними, обиды и раздражения. Тяжело им было обоим, и долгое молчание становилось все несносней.

– Прощай! – сказал вдруг Кмициц.

– Поезжай, пан Анджей, и пусть Бог наставит тебя на путь истинный, – ответила Оленька.

– Поеду! Горько было твое питье, горек хлеб! Желчью и оцтом меня тут напоили!

– А ты думаешь, пан Анджей, что меня сладостью ты напоил? – ответила она голосом, в котором дрожали слезы.

– Прощай!

– Прощай!

Кмициц шагнул было к двери, но вдруг повернулся, и, подбежав к панне Александре, схватил ее за руки.

– Господи, неужто ты хочешь, чтобы я в дороге мертвый упал с коня?

Тут Оленька дала волю слезам; он обнял ее и держал, трепещущую, в объятиях, повторяя сквозь стиснутые зубы:

– Бей же меня, кто в Бога верует, бей, не жалея! – Наконец он не выдержал: – Не плачь, Оленька, ради Христа, не плачь! В чем я перед тобой провинился? Я все сделаю, что только ты пожелаешь. Отошлю их прочь. В Упите все улажу, жить стану по-иному, потому что люблю тебя!.. Ради Христа, сердце у меня разорвется... я все сделаю, только не плачь... и люби меня хоть немножко!..

Так он утешал ее и голубил, а она, выплакавшись, сказала ему:

– Поезжай, пан Анджей. Господь примирит нас. Я на тебя не в обиде, только болит мое сердце...

Луна высоко поднялась уже над белыми полями, когда пан Анджей отправился в Любич, а за ним тронулись шагом солдаты, вытянувшись лентой на широкой дороге. Они ехали не через Волмонтовичи, а напрямик через болота, скованные морозом, по которым сейчас можно было безопасно проехать.

Вахмистр Сорока поравнялся с паном Анджеем.

– Пан ротмистр, – спросил он, – а где нам в Любиче остановиться?

– Пошел прочь! – ответил Кмициц.

Он ехал впереди, ни с кем не говоря ни слова. В сердце его кипели горькие чувства сожаления, порою гнева, но прежде всего досады на самого себя. Это была первая ночь в его жизни, когда он держал ответ перед совестью, и упреки ее были тяжелей самой тяжелой кольчуги. Ехал он сюда, а за ним дурная слава бежала, и что же он сделал, чтобы поправить ее? В первый же день позволил товарищам в Любиче стрелять и распутничать и солгал, будто сам не распутничал, а на самом-то деле распутничал, а потом каждый день позволял им бесчинствовать. Дальше: солдаты обидели горожан, а он усугубил эту обиду. Хуже того, набросился на поневежский гарнизон, людей избил, офицеров голыми гонял по снегу... Предадут его суду – и конец. Лишат имущества и чести, а может, и к смертной казни присудят. Ведь не сможет же он по-прежнему, собрав ватагу вооруженной гольтыбы, глумиться над законом, ведь он жениться хочет, осесть в Водоктах, служить не на свой страх, а в войске, а там закон найдет его и настигнет кара. А если кара и минует его, все равно дурные это поступки, недостойные рыцаря. Может, ему и удастся замять дело, но память о них останется и в людских сердцах, и в его собственной совести, и в сердце Оленьки... И как вспомнил он тут, что она еще не оттолкнула его, что, уезжая, он прочитал в ее взоре прощение, доброй она ему показалась, как ангелы небесные. И взяла его охота не завтра, а сейчас вот воротиться к ней, прискакать и повалиться в ноги и просить забыть все и целовать ее сладостные очи, которые слезами оросили сегодня его лицо.

Ему хотелось самому зарыдать, и чувствовал он, что любит эту девушку, как никогда в жизни никого не любил. «Пресвятая Дева! – думал он в душе, – Я все сделаю, что она только пожелает; щедро оделю товарищей и отправлю их на край света, потому что это правда, что они толкают меня на злые дела».

Тут пришло ему на ум, что вот приедет он в Любич и, наверно, застанет их пьяных или с девками, и такое взяло его зло, что захотелось броситься на кого-нибудь с саблей, хоть на тех же солдат, которых он вел, и рубить без пощады.

– Ну и задам же я им! – ворчал он, теребя ус. – Они меня еще таким не видали, каким нынче увидят!

Тут он в ярости стал шпорить коня, дергать и рвать поводья, так что разгорячил своего аргамака. Видя это, Сорока проворчал, обращаясь к солдатам:

– Взбесился ротмистр. Не приведи Бог попасть ему под сердитую руку!

Пан Анджей и впрямь бесился. Великий покой царил вокруг. Ясно светила луна, в небе сверкали тысячи звезд, даже ветерок не шевелил ветвей на деревьях, – только в сердце рыцаря была целая буря. Дорога до Любича показалась ему длинной, как никогда. Какой-то неведомый доселе страх стал надвигаться на него из мрака, из лесных дебрей, с полей, залитых зеленоватым лунным светом. Наконец усталость овладела паном Анджеем, потому что, говоря правду, всю прошлую ночь он в Упите пропьянствовал и прогулял. Но он хотел клин клином выбить, быстрой ездой стряхнуть с себя тревогу, повернулся к солдатам и скомандовал:

– Рысью!

Он понесся стрелой, а за ним весь отряд. Они мчались по лесам и пустым полям, словно тот дьявольский легион рыцарей-крестоносцев, который, как рассказывают в Жмуди, появляется в ясные лунные ночи и несется по воздуху, предвещая войну и небывалые бедствия. Топот летел вперед и назад, взмылились кони, и только тогда, когда за поворотом показались заснеженные крыши Любича, отряд убавил ходу.

Ворота были отворены настежь. Когда двор наполнили люди и кони, Кмициц удивился, что никто не вышел спросить, кто же это приехал. Он думал, что окна будут пылать огнями, что он услышит чакан Углика, скрипку или веселые клики пирующих; меж тем только в двух окнах столового покоя мерцал слабый огонек, всюду было темно, тихо и глухо. Вахмистр Сорока первый спешил, чтобы поддержать ротмистру стремя.

– Ступайте спать! – сказал Кмициц. – Кто поместится в людской, пусть спит там, остальные – по конюшням. Коней поставить в риги и хлева и принести им сена из сарая.

– Слушаюсь! – ответил вахмистр.

Кмициц соскочил с коня. Дверь в сени была распахнута настежь, сени выстудились.

– Эй, там! Есть там кто?

Молчание.

– Перепились!.. – проворчал пан Анджей.

И его охватила такая ярость, что он зубами заскрежетал. По дороге сюда он трясся от гнева, думая, что застанет пьянство и гульбу, теперь эта тишина бесила его еще больше.

Он вошел в столовый покой. На большом столе, мерцая, горел красный огонек чадной масляной светильни. Струя воздуха, ворвавшись из сеней, заколебала пламя так, что с минуту пан Анджей ничего не мог разглядеть. Только тогда, когда огонек успокоился, он увидел ряд тел, ровно вытянувшихся на полу у стены.

– Перепились насмерть, что ли? – с беспокойством пробормотал он.

Затем нетерпеливо подошел к телу, лежавшему с краю. Лица он не мог разглядеть, оно было погружено в тень, но по белому кожаному поясу и белому футляру чакана он узнал Углика и начал бесцеремонно пинать его ногой.

– Вставайте, чертовы дети, вставайте!

Но Углик лежал неподвижно, и руки его были бессильно брошены вдоль тела, а за ним лежали остальные; никто не зевнул, не шевельнулся, не проснулся, не забормотал. В ту же минуту Кмициц заметил, что все они лежат навзничь, в одинаковом положении, и сердце его сжалось от страшного предчувствия.

Подбежав к столу, он трясущейся рукой схватил светильню и приблизил ее к лицам лежащих.

Волосы встали у него дыбом на голове, такая страшная картина открылась перед его взором. Углика он смог признать только по белому поясу, потому что лицо и голова его представляли собой бесформенное, отвратительное, кровавое месиво, без глаз, носа и губ – только усищи торчали из этой страшной лужи. Кмициц посветил дальше. Следующим лежал Зенд с оскаленными зубами; в глазах его, выкатившихся из орбит, застыл предсмертный ужас. У третьего, Раницкого, глаза были закрыты, и все лицо было в белых, багровых и черных пятнах. Кмициц светил дальше... Четвертым лежал Кокосинский, самый любимый его товарищ, старый близкий сосед. Он, казалось, спокойно спал, только сбоку, на шее, виднелась огромная колотая рана. Пятым лежал великан Кульвец-Гиппоцентаврус в жупане, изодранном на груди, с иссеченным лицом. Кмициц подносил светильню к каждому лицу, и когда он поднес ее, наконец, к глазам шестого, Рекуца, ему почудилось, что веки у несчастного затрепетали от света.

Кмициц поставил светильню на пол и легонько встряхнул раненого.

– Рекуц, Рекуц! – позвал он. – Это я, Кмициц!..

У раненого затрепетало лицо, глаза и рот его то открывались, то снова закрывались.

– Это я! – сказал Кмициц.

На мгновение глаза Рекуца открылись совсем, – он узнал друга и тихо простонал:

– Ендрусь, ксендза!..

– Кто вас порубил?! – кричал Кмициц, хватаясь за голову.

– Бу-тры-мы... – раздался такой тихий голос, что он едва расслышал.

Тут Рекуц вытянулся, застыл, открытые глаза остекленели, – он умер.

В молчании подошел Кмициц к столу, поставил светильню, опустил на стул и стал водить руками по столу, как человек, который, пробудившись ото сна, сам не знает, проснулся ли он или все еще видит злые сонные грезы.

Затем он снова бросил взгляд на лежавшие во мраке тела. Холодный пот выступил у него на лбу, волосы встали дыбом, и вдруг он крикнул так страшно, что стекла задребезжали в окнах:

– Эй, сюда, кто жив, сюда!

Солдаты, которые устраивались в людской на ночлег, услышали этот крик и опрометью бросились в столовый покой. Кмициц показал им рукой на трупы, лежавшие у стены.

– Убиты! Убиты! – повторял он хриплым голосом.

Они кинулись посмотреть; некоторые из них прибежали с лучинами и стали подносить свет к лицам покойников. После первых минут потрясения шум поднялся и суматоха. Прибежали и те, что легли уже спать в хлевах и конюшнях. Весь дом запылал огнями, наполнился людьми, и в этом смятении, среди криков и возгласов, одни только убитые лежали у стены ровно и тихо, безразличные ко всему и – вопреки своей натуре – спокойные. Души покинули их тела, а тела не могли пробудить ни трубы, зовущие на бой, ни звон чар, зовущий на пир.

В шуме солдатских голосов все ясней слышались грозные и яростные клики. Кмициц, который до сих пор был точно в беспамятстве, вскочил внезапно и крикнул:

– По коням!

Все, как один, ринулись к дверям. Не прошло и получаса, как добрая сотня всадников мчалась во весь опор по широкой снежной дороге, а во главе их неся, как одержимый бесом, пан Анджей, без шапки, с саблей наголо. В ночной тишине раздавались дикие крики:

– Бей! Руби!

Луна на своем небесном пути достигла зенита, когда блеск ее стал внезапно мешаться и сливаться с красным светом, словно вырвавшимся из-под земли; небо алело все больше и больше, точно от встающей зари, пока наконец багровое зарево пожара не залило всю окрестность. Море огня бушевало над огромным застынком Бутрымов, а дикий солдат Кмицица в дыму, огне и пламени, столбом вырывавшемся вверх, крушил перепуганных и ослепших от ужаса людей.

Повскакали с постелей жители ближайших застынков. Гостевичи Дымные, Стакьяны, Гаштовты и Домашевичи собирались толпами на дорогах, перед домами и, глядя в сторону пожара, передавали из уст в уста страшную весть: «Верно, неприятель ворвался и палит Бутрымов... Это небывалый пожар!»

Гром ружейной пальбы, долетавший по временам, подтверждал это предположение.

– Идем на помощь! – кричали те, что посмелей. – Не дадим погибать братьям!

Пока старики еще только толковали об этом, молодые, которые не пошли в Россиены, чтобы зимою обмолотить хлеб, уже садились по коням. В Кракинове и в Упите стали бить в костелах в набат.

В Водоктах тихий стук в дверь разбудил панну Александру.

– Оленька, вставай! – крикнула панна Францишка Кульвец.

– Войдите, тетушка! Что там творится?

– Горят Волмонтовичи!

– Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

– Пальба слышна даже у нас, там бой! Боже, будь милостив к нам, грешным!

Оленька страшно закричала, соскочила с постели и стала поспешно набрасывать на себя платье. Девушка тряслась как в лихорадке. Одна она сразу догадалась, что это за неприятель напал на несчастных Бутрымов.

Через минуту со всего дома сбежались со слезами разбуженные женщины. Оленька бросилась на колени перед образом, они последовали ее примеру, и все стали громко читать молитву на отход души.

Не успели они прочесть и половину молитвы, как от внезапного стука затряслась входная дверь, Женщины вскочили на ноги, крик ужаса вырвался у них из груди.

– Не отпирайте! Не отпирайте!

Стук повторился с удвоенной силой, казалось, двери вот-вот сорвутся с петель. В эту минуту в толпу женщин ворвался слуга Костек.

– Паненка, – крикнул он, – кто-то стучит, отпирать или нет?

– Он там один?

– Один.

– Поди отвори!

Слуга выбежал, а панна Александра, схватив свечу, прошла в столовый покой, за ней последовали панна Францишка и все пряхи.

Только панна Александра поставила свечу на стол, как в сенях раздался лязг железного засова, скрип отпираемой двери, и перед глазами женщин показался Кмициц, страшный, черный от дыма, окровавленный, задыхающийся, с безумными глазами.

– Конь у меня пал под лесом! – крикнул он. – За мной гонятся!

Панна Александра устремила на него взор.

– Ты, пан, спалил Волмонтовичи?

– Я! Я!

Он хотел еще что-то сказать, но со стороны дороги и леса донеслись внезапно крики и конский топот, который приближался со страшной быстротой.

– Дьяволы! За моей душой!.. Хорошо же! – крикнул, как в бреду, Кмициц.

В ту же минуту панна Александра повернулась к пряхам:

– Будут спрашивать, сказать, никого нет, а теперь ступайте в людскую и принесите сюда свет! – Затем Кмицицу: – Сюда, пан! – и показала на смежную комнату.

Чуть не силком втолкнув его в открытую дверь, она тотчас ее заперла.

Тем временем вооруженные люди наполнили двор усадьбы, и в мгновение ока Бутрымы, Гостевичи, Домашевичи ворвались в дом. Увидев панну Александру, они остановились в столовом покое; стоя со свечой в руке у двери, ведущей в смежную комнату, она заслоняла от них эту дверь.

– Люди добрые! Что стряслось! Чего вам здесь надо? – спросила она, не опуская глаз перед грозными взглядами и зловещим блеском обнаженных сабель.

– Кмициц спалил Волмонтовичи! – хором крикнула шляхта. – Поубивал мужчин, женщин, детей! Кмициц это сделал!

– Мы его людей перебили, – раздался голос Юзвы Бутрыма, – а теперь хотим его головы!

– Головы его! Крови! Зарубить убийцу!

– Бегите же за ним! – воскликнула панна Александра. – Что же вы тут стоите? Бегите!

– Разве он не здесь спрятался? Мы коня нашли под лесом...

– Нет, не здесь! Дом был заперт! Ищите в конюшнях и хлевах.

– В лес ушел! – крикнул какой-то шляхтич. – Айда, братья!

– Молчать! – могучим голосом крикнул Юзва Бутрым.

Затем он подошел к панне Александре.

– Панна! – сказал он. – Не прячь его! Проклятый он человек!

Оленька подняла обе руки над головой.

– Я проклинаяю его вместе с вами!

– Аминь! – крикнула шляхта. – Общем двор – и в лес! Мы его найдем! Айда, на разбойника!

– Айда! Айда!

Снова раздался лязг сабель и топот ног. Шляхтичи сбежали с крыльца и торопливо садились по коням. Часть их еще некоторое время обыскивала постройки, конюшни, хлева, сеновал, потом голоса стали удаляться в сторону леса.

Панна Александра прислушивалась, пока голоса не пропали совсем, после чего лихорадочно постучала в дверь комнаты, где укрыла пана Анджея.

– Никого нет! Выходи, пан!

Кмициц вышел из комнаты, шатаясь, как пьяный.

– Оленька! – начал было он.

Она встряхнула распутившимися косами, которые плащом покрыли ей спину.

– Не хочу тебя видеть, не хочу тебя знать! Бери коня и уходи отсюда!

– Оленька! – простонал Кмициц, протягивая руки.

– Кровь на твоих руках, как на Каине! – крикнула она, отпрянув от него, как от змеи. – Прочь! Навеки!

## Глава VI

День встал хмурый и осветил в Волмонтовичах груды развалин, пожарище, оставшееся на месте домов и хозяйственных построек, обгорелые или порубленные мечами трупы. На пепелище кучки осунувшихся людей искали в дотлевавших угольях тела погибших или остатки имущества. Это был день скорби и печали для всей Лауды. Правда, многочисленная шляхта одержала победу над отрядом Кмицица, но это была тяжкая, кровавая победа. Больше всего погибло Бутрымов; но не было застанка, где бы вдовы не оплакивали мужей, родители сыновей, дети отцов. Дорогой ценой досталась лауданцам победа над обидчиками, так как самых сильных мужчин не было дома, одни только старики да юноши на заре юности приняли участие в бою. Однако из людей Кмицица не спасся никто. Одни погибли в Волмонтовичах, где защищались так отчаянно, что даже, будучи ранеными, все еще продолжали сражаться, других на следующий день переловили в лесах и поубивали безо всякой пощады. Сам Кмициц как в воду канул. Все терялись в догадках, что могло с ним случиться. Одни говорили, будто он зарезался в Любиче; но тут же выяснилось, что это неправда; предполагали, что он пробился в пущу Зелёнку, а оттуда в Роговскую, где выследить его могли только Домашевичи. Многие твердили, что он перебежит к Хованскому и приведет врагов, но это были опасения по меньшей мере преждевременные.

Тем временем уцелевшие Бутрымы потянулись в Водокты и расположились там лагерем. В доме было полно женщин и детей. Кто не поместился, ушли в Митруны, которые панна Александра отдала в распоряжение погорельцев. Кроме того, около сотни вооруженных людей, сменяя друг друга, стояли в Водоктах на страже: опасались, что Кмициц не смирился с поражением и в любой день может учинить на Водокты вооруженное нападение, чтобы похитить панну Александру. Надворных казаков и гайдуков прислали на подмогу и самые богатые семейства в округе: Шиллинги, Соллогубы и другие. Водокты напоминали город, которому угрожает осада. А среди вооруженных людей, среди шляхты, среди толп женщин бродила скорбная, бледная, измученная панна Александра, внимая людским слезам и людским проклятиям пану Анджею, которые, как мечи, пронзали ей сердце, потому что она была косвенной причиной всех бед. Ради нее приехал сюда этот безумец, он возмутил их покой и оставил по себе кровавую память, закон погрел, людей перебил, селенья, как басурман, предал огню и мечу. Просто удивительно было, как мог один человек за такое короткое время причинить столько зла, и притом человек не такой уж плохой и не такой уж безнравственный. Кто-кто, а панна Александра, которая ближе всех знала его, хорошо это понимала. Целая пропасть лежала между самим паном Анджеем и его делами. Как жестоко терзала панну Александру мысль, что этот человек, которого она полюбила со всем жаром молодого сердца, мог быть иным, что были у него хорошие задатки, что он мог стать образцом рыцаря, кавалера, соседа и заслужить не презрение людей, а восхищение и любовь, не проклятия, а благословения.

Минутами панне Александре казалось, что это какое-то несчастье, какие-то могущественные злые силы толкнули его на все бесчинства, которые он совершил, и тогда в ней просыпалась непобедимая жалость к этому несчастливцу, и в сердце вновь пылала неугасшая любовь, подогреваемая свежими воспоминаниями о рыцарском его образе, речах, клятвах, любви.

А тем временем сотня жалоб была подана на него в шляхетский суд, сотня процессов грозила ему, и староста Глебович послал солдат, чтобы схватить преступника.

Закон должен был покарать его.

Но от приговоров до кары было еще далеко, ибо смута росла в Речи Посполитой. Ужасная война надвинулась на страну и кровавой поступью приближалась к Жмуди. Могущественный Радзивилл биржанский мог одной вооруженной рукой восстановить порядок; но он более предавался утехам светской жизни, а еще более великим замыслам, касавшимся его дома, кото-



рый он хотел возвыситься над всеми прочими домами в стране, пусть даже ценою общего блага. Другие магнаты тоже думали больше о себе, нежели о Речи Посполитой. Со времени казацкой войны стало давать трещины могущественное здание Речи Посполитой.

Густонаселенная, богатая страна, полная отважных рыцарей, становилась добычей чужеземцев, в то же время самоволие и своеволие все выше поднимали голову и попирали закон, — они чувствовали за собой силу.

Лучшей и едва ли не единственной защитой угнетенных против угнетателей была собственная сабля; потому-то вся Лауда, подавая жалобы на Кмицица в шляхетские суды, долго еще не сходила с коней, готовая на насилие ответить насилием.

Но прошел месяц, а о Кмицице не было ни слуху ни духу. Люди вздохнули с облегчением. Богатая шляхта отозвала свою вооруженную челядь, посланную для охраны Водоктов. Мелкопоместная братия тоже рвалась к себе в застяжки, чтобы взяться за работу, да и поразвлечься на досуге, и стала тоже понемногу разъезжаться по домам. А по мере того как остывал ее воинственный пыл, все больше разгоралась у нее охота искать судом свои обиды на отсутствующем пане Кмицице, в трибуналах добиваться их удовлетворения. Приговоры не могли настичь самого Кмицица; но оставался Любич, прекрасное большое поместье, готовая награда за понесенные потери. Панна Александра усердно подогревала у лауданской братии эту охоту к тяжбам. Дважды приезжали к ней старики лауданцы, и она не только держала с ними совет, но и руководила ими, удивляя всех неженским умом и такой рассудительностью, которой позавидовал бы не один стряпчий. Старики лауданцы хотели тогда силой занять Любич и отдать его Бутрымам; но «паненка» решительно отсоветовала это делать.

— Не платите насилием за насилие, — говорила она старикам, — ибо и ваше дело будет неправым; пусть ваша сторона будет чиста и невинна. Он знатен, у него связи, он найдет сторонников и в трибуналах, и если только вы подадите к тому повод, может нанести вам новую обиду. Пусть же ваша невинность будет столь очевидна, чтобы любой суд, даже если в нем будут одни его братья, мог вынести приговор только в вашу пользу. Скажите Бутрымам, чтобы они не брали в Любиче ни утвари, ни скотины, чтобы ничего не трогали там. Все, что понадобится, я дам из Митрун, там всякого добра больше, чем когда-нибудь было в Волмонтовичах. А воротится пан Кмициц, пусть и его не трогают, пока не будет приговора, и не покушаются на его жизнь. Помните, что искать на нем свои потери вы можете только до тех пор, покуда он жив.

Так говорила рассудительная панна Александра с ее трезвым умом, а они хвалили свою разумницу, невзирая на то, что промедление могло пойти на пользу пану Анджею и что жизнь его она, во всяком случае, спасала. А может, Оленька и хотела уберечь эту несчастную жизнь от какой-нибудь внезапной случайности? Но шляхта вняла ее речам, потому что с давних пор привыкла почитать за непреложную истину все, что исходило из уст Биллевичей; и Любич остался нетронутым, и пан Анджей, если бы вздумал явиться, мог бы некоторое время пожить там спокойно.

Но он не явился. А через полтора месяца к панне Александре пришел посланец с письмом, человек чужой, никому не ведомый. Письмо было от Кмицица, гласило оно следующее:

«Сердце мое, возлюбленная моя, бесценная Оленька, незабвенный друг мой! Всякой твари, особливо человеку, даже самому слабому, свойственно мстить за нанесенные обиды, и если кто ему зло сотворит, он готов отплатить ему тем же. Видит Бог, я вырезал эту гордую шляхту не по жестокосердию, а потому, что они товарищей моих, вопреки законам божеским и человеческим, невзирая на молодость их и высокое происхождение, предали такой лютой смерти, какая не постигла бы их нигде, даже у казаков и татар. Не стану отпираться, гнев обуял меня нечеловеческий; но кого же удивит гнев за пролитую кровь друзей? Это души покойных Кокосинского, Раницкого, Углика, Рекуца, Кульвеца и Зенда, невинно убиенных в цвете сил и в зените славы, вложили меч в мои руки тогда, когда я — Бога призываю в свидетели! — помышлял лишь о мире и дружбе со всей лауданской шляхтой и, вняв сладостным твоим сове-

там, желал изменить всю мою жизнь. Слушая жалобы на меня, не отвергай и моей защиты и рассуди по справедливости. Жаль мне теперь этих людей из застоянка, ибо пострадали, быть может, и невинные; но солдат, когда он мстит за кровь братьев, не может отделить невинных от виновных и никого не щадит. Не бывать бы лучше этой беде, не пал бы я тогда в твоих глазах. За чужие грехи и вины, за справедливый гнев тягчайшая постигла меня расплата, ибо, потеряв тебя, я засыпаю в отчаянии и пробуждаюсь в отчаянии, и не в силах я забыть тебя и мою любовь. Пусть же меня, несчастного, трибуналы засудят, пусть сеймы утвердят приговоры, пусть лишен я буду славы и чести, пусть земля расступится у меня под ногами, – я все перенесу, все перетерплю, только ты – Христом-Богом молю! – не выбрасывай меня из сердца вон. Я все сделаю, что только ты пожелаешь, отдам Любич, отдам, когда враг уйдет, и поместья оршанские; есть у меня казна, добытая в бою и зарытая в лесах, и ее пусть берут, только бы ты сказала, что будешь верна мне, как велит тебе с того света покойный твой дед. Ты спасла мне жизнь, спаси же мою душу, дай вознаградить людей за обиды, позволь к лучшему изменить жизнь, ибо вижу я, что коли ты меня оставишь, то господь Бог оставит меня, и отчаяние толкнет меня на дела еще горшие...»

Кто отгадает, кто сможет описать, сколько жалостных голосов зазвучало в душе Оленьки в защиту пана Анджея! Если любовь как семечко в лесу, ее быстро уносит ветерок, но когда разовьется она в сердце, как дерево в лесу, вырвать ее можно разве что с сердцем. Панна Биллевич принадлежала к тем, кто любит беззаветно, всем своим чистым сердцем, и слезами облила она письмо пана Анджея. Но не могла она по первому его слову все забыть, все простить. Раскаяние его было, конечно, искренним, но душа осталась дикой, и неукротимый его нрав, верно, не изменился после всех событий так, чтобы можно было без страха думать о будущем. Не слов, а дел ждала она от пана Анджея. Да и как могла она ответить человеку, залившему кровью всю округу, имени которого никто по обоим берегам Лауды не произносил без проклятия: «Приезжай, за трупы, пожары, кровь и слезы людские я отдаю тебе свою любовь и свою руку».

Иной ответ она дала ему:

«Я сказала тебе, пан Анджей, что не хочу тебя знать, не хочу тебя видеть, и не изменю своему слову, если даже сердце мое разорвется. За обиды, которые ты нанес людям, не платят ни поместьями, ни казной, ибо мертвых не воскресишь. Не богатство ты потерял, а славу. Пусть же простит тебя шляхта, которую ты пожег и поубивал, тогда и я прощу тебя; пусть она тебя примет, тогда и я приму тебя; пусть она первая за тебя вступится, тогда я внемлю ее заступничеству. Но вовек этому не бывать, и потому ищи себе счастья в другом месте, и прежде всего моли о прощении не людей, а Бога, ибо его милость тебе нужней...»

Каждое слово своего письма панна Александра облила слезами, потом запечатала его перстнем Биллевичей и сама вынесла посланцу.

– Откуда ты? – спросила она, окинув взглядом странную фигуру полумужика, получелюдина.

– Из лесу, панночка.

– А где твой пан?

– Этого мне не велено говорить... Только он далеко отсюда: я пять дней ехал и лошадь загнал.

– Вот тебе талер! – сказала Оленька. – А твой пан не болен?

– Здоров, как тур.

– Живет не в голоде? Не в бедности?

– Он пан богатый.

– Ступай себе с Богом.

– Земно кланяюсь.

– Скажи пану... погоди... скажи пану, пусть Бог ему будет защитой!..

Мужик ушел – и снова потекли дни, недели без вестей о Кмищице; зато вести о делах державных приходили одна другой хуже. Войска Хованского все шире заливали Речь Посполитую. Не считая украинских земель, в самом Великом княжестве были захвачены воеводства: Полоцкое, Смоленское, Витебское, Мстиславское, Минское и Новогрудское; только часть Виленского, Брест-Литовское и Трокское воеводства и староство Жмудское еще дышали свободной грудью, но и они со дня на день ждали гостей.

Видно, на последнюю ступень бессилия скатилась Речь Посполитая, ибо не могла дать отпор тем силам, которыми до сих пор пренебрегала и которые всегда победоносно умирjala. Правда, эти силы поддерживал неугасимый и непрестанно возрождавшийся бунт Хмельницкого, эта истинная стоглавая гидра; но, невзирая на бунт, невзирая на урок, понесенный в прежних войнах, и государственные мужи и военачальники ручались, что одно Великое княжество не только в состоянии отразить нападение, но и вторгнуться победоносно со своими хоругвями в чуждые пределы. К несчастью, внутренние раздоры препятствовали этому, лишая возможности действовать даже тех граждан, которые готовы были пожертвовать за отчизну жизнью и имуществом.

А тем временем в землях, еще не занятых врагом, укрывались тысячи беглецов как из шляхты, так из простолюдинов. Города, посады и деревни в Жмуди были полны народа, доведенного военными неудачами до нищеты и отчаяния. Местные жители не могли ни предоставить всем кров, ни прокормить всех; люди низкого сословия мерли от голода, случалось, силой отнимали то, в чем им отказывали, и все ширились поэтому смута, стычки и грабежи.

Зима была необычайно суровой. Апрель уже наступил, а снежный покров все еще лежал не только в лесах, но и на полях. Когда иссякли прошлогодние запасы, а до новины еще было далеко, стал свирепствовать голод, брат войны, все шире и шире распространяясь по стране. Выехав из дому, обыватель в поле, у дороги встречал окостенелые трупы, объединенные волками, которые размножились чрезвычайно и целыми стаями подходили к деревням и застямкам. Их вой мешался с человеческими криками о помощи; в лесах и в полях и у самых селений по ночам пылали костры, у которых несчастные грели пережyбшие члены, а когда кто-нибудь проезжал мимо, бежали вслед за ним и выпрашивали денег и хлеба, со стонами, проклятиями и угрозами молили о милосердии. Суеверный ужас овладел умами людей. Многие говорили, что все эти неудачные войны и все эти небывалые бедствия связаны с именем короля. Толковали охотно, будто буквы J. C. R., выбитые на монетах, означают не только Joannes Casimirus Rex<sup>10</sup>, но и Initium Calamitatis Regni<sup>11</sup>. Если в землях, еще не охваченных войной, было так тревожно и беспокойно, легко догадаться, что творилось в тех местах, которые уже попирала огненная пята войны. Вся Речь Посполитая, объята смутой, металась, как умирающий в горячечном бреде. Предсказывали новые войны и с внешними и с внутренними врагами. Поводов для этого было достаточно. В разгоревшейся междоусобице разные владетельные дома Речи Посполитой смотрели друг на друга как на вражеские державы, а вслед за ними на враждебные станы делились целые земли и поветы. Так обстояло дело в Литве, где жестокая вражда между великим гетманом Янушем Радзивиллом и польным гетманом Госевским, который был и подскарбием Великого княжества Литовского, привела чуть ли не к открытой войне. На сторону подскарбия стали сильные Сапегы, для которых могущество дома Радзивиллов давно уже было бельмом в глазу. Сторонники Госевского предъявляли великому гетману тягчайшие обвинения и в том, что он, стремясь только к личной славе, погубил войско под Шкловом и отдал край на поток и разграбление, и в том, что он думает не столько о благе Речи Посполитой, сколько о своем праве заседать в сеймах Германской империи, и в том, что он помышляет даже о независимой державе, и в том, что преследует католиков...

<sup>10</sup> Ян Казимир, государь (лат.).

<sup>11</sup> Начало гибели государства (лат.).

Не раз уже у сторонников обоих гетманов дело доходило до стычек, которые они завязывали будто бы без ведома своих покровителей, а покровители тем временем слали жалобы друг на друга в Варшаву; их распри находили отголосок и на сеймах, а на местах вели к произволу и безнаказанности, потому что какой-нибудь Кмищиц всегда был уверен в покровительстве того владетеля, на чью сторону он становился.

Тем временем враг свободно продвигался вперед, лишь кое-где задерживаясь у стен замков и больше нигде не встречая отпора.

В таких обстоятельствах всем лауданцам надо было быть начеку и держать порох сухим, тем более что поблизости от Лауды не было гетманов; оба они находились в непосредственной близости от вражеских войск и, хоть не много могли сделать, все же беспокоили их, высылая конные разъезды и задерживая доступ в еще не захваченные воеводства. Снискивая себе славу, Павел Сапега давал отпор врагу независимо от гетманов. Януш Радзивилл, прославленный воитель, одно имя которого до поражения под Шкловом внушало страх врагам, добился даже значительных успехов. Госевский то сражался с врагом, то вступал с ним в переговоры, сдерживая таким образом его натиск. Зная, что с наступлением весны война разгорится с новой силой, оба военачальника стягивали войска с зимних квартир, собирали людей, где только могли. Однако войск было мало, казна пуста, а созвать в захваченных воеводствах шляхетское ополчение было невозможно, так как этому препятствовал враг. «Перед шкловским делом надо было об этом подумать, – говорили сторонники Госевского, – теперь слишком поздно». И в самом деле, было слишком поздно. Коронные войска не могли прийти на помощь, они были на Украине и вели тяжелые бои против Хмельницкого, Шереметева и Бутурлина.

Только вести с Украины о героических сражениях, о захваченных городах и небывалых походах воодушевляли людей, совсем павших духом, поднимали их на оборону. Громкой славой были овеяны имена коронных гетманов, рядом с ними людская молва все чаще повторяла имя пана Стефана Чарнецкого; но слава не могла заменить ни войско, ни подмогу, а потому гетманы литовские медленно отступали, не прекращая в пути распрей между собою.

Наконец Радзивилл пришел в Жмудь. С ним в Лауданскую землю вернулось на время спокойствие. Только кальвинисты, осмелев от близости своего вождя, поднимали головы в городах, нанося обиды католикам и нападая на костелы; зато атаманы всяких ватаг и шаек, набранных Бог весть из кого, укрылись теперь в леса, распустили своих разбойников, которые, действуя якобы под знаменами Радзивилла, Госевского или Сапег, разоряли край, и мирные люди вздохнули с облегчением.

От отчаяния к надежде один шаг, вот и на берегах Лауды все вдруг повеселели. Панна Александра спокойно жила в Водоктах. Пан Володыёвский, который все еще гостил в Пацунелях и к этому времени начал уже поправляться, распространял слух, что весной придет король с наемными хоругвями и война примет тогда совсем иной оборот. Шляхта ободрилась и стала выходить с плугами на поля. Снег стоял, и на берегах показались первые почки. Широко разлилась Лауда. Прояснившееся небо синело над окрестностями. Люди воспрянули духом.

Но вскоре произошло событие, которое снова нарушило лауданскую тишину, заставило оторвать руки от лемехов и не дало саблям покрыться пламенем ржавчины.

## Глава VII

Пан Володыёвский, славный и искушенный воитель, хоть и молодой еще человек, гостил, как уже было сказано, в Пацунелях у Пакоша Гаштовта, местного патриарха, который слыл самым богатым шляхтичем среди всей мелкопоместной лауданской братии. Трех дочерей он выдал замуж за Бутрымов и приданого отвалил им по сотне талеров каждой чистым серебром, не считая всякого добра и такой богатой одежды, какой не сыщешь и у иной родовой шляхтянки. Остальные три дочери были еще девушки, они-то и ухаживали за паном Володыёвским, у которого рука то совсем поправлялась, то к ненастью снова мертвела. Эта рука была предметом забот всех лауданцев, ибо они видели ее за работой под Шкловом и Шепелевичами и единодушно считали, что лучшей не сыскать во всей Литве. Все застянки окружили молодого полковника небывалым почетом. Гаштовты, Домашевичи, Гостевичи, Стакьяны, а с ними и вся прочая шляхта постоянно посылали в Пацунели рыбу, грибы и дичь, сено для лошадей и смолу для повозок, чтобы рыцарь и его люди ни в чем не терпели нужды. Всякий раз, когда пану Володыёвскому становилось хуже, шляхтичи вперегонки скакали в Поневеж за цирюльником, – словом, все старались превзойти друг друга в услужливости.

Вольготное это было житье, и пан Володыёвский и не думал уезжать из Пацунелей, хоть в Кейданах и поудобней было бы, да и знаменитый лекарь являлся бы по первому зову. А уж старый Гаштовт так возвысился в глазах всех лауданцев, когда оказал гостеприимство молодому полковнику, что готов был расшибиться в лепешку, только бы угодить столь именитому гостю, которого и сам Радзивилл почел бы за честь принять в своем доме.

После разгрома и изгнания Кмицица шляхта, которой очень полюбился пан Володыёвский, надумала женить его на панне Александре. «Что это нам искать ей мужа по свету! – толковали старики, собравшись для того, чтобы обсудить это дело. – Тот изменник так себя замарал недостойными делами, что, коли он и жив, его надо отдать заплочному мастеру, а раз так, то и девушка должна выбросить его из сердца вон; это и в завещании особо оговорил подкоморий. Пусть выходит за пана Володыёвского. Как опекуны, мы можем дать на то свое согласие, вот и получит она достойного супруга, а мы доброго соседа и предводителя».

Приняв единодушно это решение, старики отправились сперва к пану Володыёвскому, который, не долго думая, дал свое согласие, а потом к «паненке», которая, ни минуты не думая, решительно этому воспротивилась. «Любичем, – сказала она, – один только покойник имел право распорядиться, и отнять поместье у пана Кмицица можно только тогда, когда его присудят к смертной казни; что же до замужества, то я и слушать об этом не хочу. Так я измучилась, что о замужестве не могу и помыслить. Того я выбросила из головы, а этого, будь он хоть самый достойный жених, и не привозите, все равно я к нему не выйду».

Что было сказать на такой решительный отказ, – отправилась разогорченная шляхта восвояси; пан Володыёвский особенно не огорчился, ну, а молодые дочки Гаштовта – Терка, Марыська и Зоня – и подавно. Рослые это были и румяные девушки с льняными косами, с глазами как незабудки и широкими спинами. Падунельки все слыли красавицами: когда стайкой шли в костел, ну прямо тебе цветы на лугу! А эти три были самыми красивыми; к тому же старый Гаштовт не жалел денег и на ученье. Органист из Митрун научил их читать, петь божественные песни, а старшую, Терку, и на лютне играть. Девушки они были добросердечные и нежно заботились о пане Володыёвском, стараясь превзойти друг дружку в чуткости и усердии. О Марыське говорили, что она влюблена в молодого рыцаря; это была правда, да только наполовину, потому что не одна Марыська, а все три сестры были влюблены в него по уши. Они ему тоже очень нравились, особенно Марыська и Зоня, Терка, та уж больно жаловалась на мужскую неверность.

Не раз, бывало, в длинные зимние вечера, когда старый Гаштовт, выпив горячего медку, отправлялся на боковую, девушки усаживались с паном Володыёвским у очага: недоверчивая Терка прядет, бывало, пряжу, милая Марыся перья щиплет, а Зоня наматывает на мотовило пряжу с веретен. Только когда пан Володыёвский начнет рассказывать о походах, в которых он побывал, о диковинах, которых он навидался при различных магнатских дворах, работа остановится, девушки глаз с него не сводят и то одна, то другая вскрикивают в изумлении: «Ах, милочки мои, я умереть готова!» – а другая подхватывает: «Во всю ночь глаз не сомкну!»

По мере того как пан Володыёвский поправлялся и начинал уже по временам свободно орудовать саблей, он становился все веселей и с еще большей охотой рассказывал всякие истории. Однажды вечером уселись они, по обыкновению, у очага, от которого яркий свет падал на всю комнату, и сразу стали препираться. Девушки требовали, чтобы пан Володыёвский рассказал что-нибудь, а он просил Терку спеть ему что-нибудь под лютню.

– Сам, пан Михал, спой! – говорила Терка, отталкивая лютню, которую протягивал ей пан Володыёвский. – У меня работа. Ты видал свету и, наверно, выучился всяким песням.

– Как не выучиться, выучился. Ин, быть по-вашему: сегодня я сперва спою, а потом ты, панна Терка. Работа не уйдет. Небось девушка бы тебя попросила, так ты бы спела, а кавалерам всегда отказ.

– Так им и надо.

– Неужели ты и меня так презираешь?

– Ну вот еще! Пой уж, пан Михал.

Пан Володыёвский забренчал на лютне, соорудил потешную мину и запел фальшивым голосом:

Вот в каком живу я месте,  
Ни одной не люб невесте!..

– Вот уж и неправда! – прервала его Марыся, покрасневшись, как вишенка.

– Это солдатская песенка, – сказал пан Володыёвский. – Мы ее на постое певали, чтоб какая-нибудь добрая душа над нами сжалилась.

– Я бы первая сжалилась.

– Спасибо, панна Марыся. Коли так, незачем мне больше петь, отдаю лютню в более достойные руки.

Терка на этот раз не оттолкнула лютни, ее растрогала песня пана Володыёвского, хоть на самом-то деле в этой песне было больше лукавства, чем правды; девушка тотчас ударила по струнам и, сложив губы сердечком, запела:

Ты бузину не рви в лесу,  
Не верь ты хлопцу, злому псу!  
«Люблю!» – тебе он знай поет,  
А ты не слушай, все он врет!

Пана Володыёвского эта песня так распотешила, что он от веселья даже за бока ухватился.

– Неужто все хлопцы изменники? Ну, а как же военные?

Терка еще больше поджала губы и с удвоенной силой пропела:

Еще хуже псы, еще хуже псы!

– Да не обращай ты, пан Михал, на нее внимания, она всегда такая, – сказала Марыся.

– Как же мне не обращать внимания, – возразил пан Володыёвский, – если она обо всем военном сословии такое сказала, что я со стыда готов сквозь землю провалиться.

– Ведь вот какой ты, пан Михал: хочешь, чтобы я тебе пела, а потом сам надо мной подтруниваешь да подсмеиваешься, – надулась Терка.

– Я про пение ничего не говорю, я про жестокие слова о нас, военных людях, – возразил рыцарь. – Что до пения, так, признаюсь, я и в Варшаве не слыхивал таких чудных трелей. Надеть на тебя, панна Терка, штанишки, и ты могла бы петь в костеле Святого Яна. Это кафедральный собор, у короля с королевой там свой клирос.

– А зачем же штанишки надевать? – спросила самая младшая, Зоня, которой любопытно было послушать про Варшаву и короля с королевой.

– Да ведь там девушки не поют в хоре, только мужчины да мальчики: одни такими толстыми голосами, что никакой тур так не зарычит, а другие так тоненько, что и на скрипке тоньше нельзя. Я их много раз слыхал, когда мы с нашим великим и незабвенным воеводой русским приезжали на выборы нынешнего нашего всемилостивейшего короля. Истинное это чудо, прямо душа возносится к небу! Множество там музыкантов: и Форстер, который знаменит своими тонкими трелями, и Капула, и Джан Батиста, и Элерт, который лучше всех играет на лютне, и Марек, и Мильчевский, который сам сочиняет очень хорошие песни. Как грянут все они разом в соборе, так будто хоры серафимов наяву услышишь.

– Правда, истинный Бог, правда! – сложив руки, сказала Марыся.

– Короля ты часто видал, пан Михал? – спросила Зоня.

– Так с ним беседовал, как сейчас вот с тобой. После битвы под Берестечком он меня обнял. Храбрый он король и такой милостивый, что один только раз увидишь его и тут же непременно полюбишь.

– Мы и не видевши любим его! А неужто он всегда корону на голове носит?

– Да зачем же ему каждый день в короне ходить! Голова-то у него не железная! Корона лежит себе в соборе, отчего и почету ей больше, а король носит черную шляпу, осыпанную бриллиантами, от которых блеск идет на весь замок...

– Толкуют, будто королевский замок еще пышней, чем в Кейданах?

– В Кейданах? Да кейданский замок против королевского гроша не стоит! Высокий это дом, весь из камня выложен, деревья там и не увидишь. Кругом в два ряда покои идут, один другого краше. В покоях всякие сражения и победы на стенах расписаны. Тут и Сигизмунда Третьего дела, и Владислава; глядишь на них и не наглядишься, все там как живое, чудно даже, что никто не шевелится, что бьются люди, а не кричат. Но уж такого никто написать не сумеет, даже самый лучший живописец. Некоторые комнаты сплошь из золота; стулья и лавки вишневым или парчой обиты, столы из мрамора да алебаstra, а уж сундуков, шкапулов, часов, которые день и ночь время показывают, так и на воловьей коже всего не перепишешь. А по покоям король с королевой гуляют, на богатство свое любят, а вечером у них театры для пущей потехи...

– Что же это за театры такие?

– Как бы это вам объяснить... Это такое место, где комедийное действо показывают да искусные итальянские пляски. Большой такой покой, прямо тебе как костел, и весь он в красивых столпах. По одну сторону смотрельщики сидят, что на диво хотят поглядеть, а по другую стоят комедиантские снасти. Одни поднимаются и опускаются, другие вертятся на гайках в разные стороны; то темноту и тучи показывают, то приятную ясную; наверху небо с солнцем или со звездами, а внизу, случается, и страшное пекло увидишь...

– Иисусе Христе! – вскричали девушки.

– ...с чертями. Иной раз море без конца и края, а на нем корабли да сирены. Одни лица-деи с неба спускаются, другие из-под земли выходят.

– Вот уж пекло я бы не хотела увидеть! – воскликнула Зоня. – Странно мне это, что люди не бегут от такой страсти.

– Не только не бегут, а еще в ладоши хлопают от утех, – возразил пан Володыёвский, – все ведь это не взаправду, одно лицедейство, перекрестись, а оно не пропадет. Нет во всем этом нечистой силы, одна только людская хитрость. Туда даже епископы ходят с королем и королевой и всякие вельможи, а после представления король с ними со всеми садится за стол попировать перед сном.

– А с утра и днем что они делают?

– А что кому вздумается. Утром, вставши, купаются. Комната есть там такая, где пола нету, а только оловянная яма блестит, как серебро, а в этой яме вода.

– Вода в комнате? Слыхано ли дело?

– Да! И прибывает она или убывает, это как тебе захочется; может она быть и теплая и вовсе холодная, трубы там такие с затворами, вот по этим трубам она и течет. Отверни затвор, и нальется ее столько, что плавать можно, как в озере... Ни у одного короля нет такого замка, как у нашего повелителя, все это знают, и послы иноземные то же говорят; и никто не властвует над таким честным народом, как он; всякие достойные нации есть на свете, но только нашу Бог в милосердии своем особо приукрасил.

– Счастливец наш король, – вздохнула Терка.

– Да уж верно был бы он счастливцем, когда бы не дела державные, когда бы не войны неудачные, которые раздирают Речь Посполитую за грехи наши да несогласия. Все это на плечах короля, а на сеймах ему еще выговаривают за наши провинности. А чем же он виноват, что его не хотят слушать? Тяжкая година пришла для нашей отчизны, такая тяжкая, что еще такой не бывало. Самый слабый враг нас уже ни во что не ставит, а ведь мы еще недавно успешно воевали с турецким султаном. Так Бог карает гордыню. Рука у меня, благодарение Создателю, уже легко ходит в суставах, пора, пора встать на защиту дорогой отчизны, пора отправляться в поход. Грех в такое время бить баклуши.

– Ты, пан Михал, об отъезде и не заикайся.

– Ничего не поделаешь. Хорошо мне тут с вами, но чем лучше, тем тяжелей. Пусть там мудрецы на сеймах рядят, судят, а солдат рвется в поход. Покуда жив, служи. После смерти Бог, который взирает на нас с небес, щедрей всего наградит тех, кто не ради чинов служит, а ради любви к отчизне... Похоже, что таких становится все меньше, оттого-то и пришла на нас черная година.

На глазах Марыси выступили слезы, повисли на ресницах и потекли вдруг по румяным щекам.

– Уйдешь, пан Михал, и забудешь нас, а мы тут с тоски высохнем. Кто же нас от врагов оборонит?

– Уеду, но век буду за вас Бога молить. Редко встретишь таких хороших людей, как в Пацунелях!.. А вы всё Кмицица боитесь?

– Как же не бояться! Матери детей пугают им, как вурдалаком.

– Не воротится он больше сюда, а и воротится, не будет с ним этих своевольников, которые, как люди толкуют, были хуже его. Жаль, что такой добрый солдат так себя опозорил, потерял и славу и богатство.

– И невесту.

– И невесту. Много о ней хорошего рассказывают.

– Она, бедняжка, теперь по целым дням все плачет да плачет...

– Гм! – сказал пан Володыёвский. – Ведь не о Кмицице она плачет?

– Кто его знает! – ответила Марыся.



– Тем хуже для нее, он ведь уже не воротится: пан гетман часть лауданцев отослал домой, так что войско теперь есть. Мы бы его без суда на месте зарубили. Он, наверно, знает, что лауданцы воротились, так что носа сюда не покажет.

– Наши, сдается, должны опять отправиться в поход, – сказала Терка, – их ненадолго отпустили по домам.

– Э! – протянул пан Володыёвский. – Это гетман их отпустил, потому что в казне денег нет. Плохо дело! Люди вот как нужны, а их приходится по домам отпускать... Однако пора и на боковую, спокойной ночи! Смотрите, чтобы какой-нибудь Кмициц не приснился с огненным мечом.

С этими словами Володыёвский поднялся с лавки и собрался уже совсем уходить; но не успел он сделать и шага к своей боковушке, как в сенях поднялся шум и чей-то голос пронзительно закричал за дверью:

– Эй, там! Отоприте скорей ради Христа, поскорее!

Девушки перепугались насмерть; Володыёвский побежал в боковушку за саблей; но пока он вернулся, Терка уже отодвинула засов, и в дом вбежал неизвестный и бросился прямо к ногам рыцаря.

– Спасите, пан полковник!.. Панну увезли!

– Какую панну?

– Из Водоктов...

– Кмициц! – крикнул Володыёвский.

– Кмициц! – вскричали девушки.

– Кмициц! – повторил гонец.

– Ты кто такой? – спросил Володыёвский.

– Управитель из Водоктов.

– Мы его знаем! – сказала Терка. – Он для твоей милости териак возил.

Но тут из-за печи вылез сонный Гаштовт, а в дверях показались двое стремянных Володыёвского, которых привлёк шум в комнате.

– Седлать коней! – крикнул Володыёвский. – Один скачи к Бутрымам, другой подавай коня!

– У Бутрымов я уже был, – сказал управитель, – туда ближе всего. Они послали меня к твоей милости.

– Когда панну увезли? – спросил Володыёвский.

– Только что. Там еще режут челядь... Я схватил коня...

Старый Гаштовт протер глаза.

– Что? Панну увезли?

– Да! Кмициц увез! – ответил Володыёвский. – Едем на помощь! – Он повернулся к гонцу: – Скачи к Домашевичам, пусть с ружьями идут!

– А нуте, козы! – крикнул вдруг старик на дочек. – Нуте, козы, и вы мигом на деревню, шляхту будить, пусть берется за сабли! Кмициц панну увез! Господи помилуй, да что это такое? Ах, разбойник! Ах, смутьян!

– Надо и нам людей будить, – сказал Володыёвский. – Так будет скорее. Идем, пан Гаштовт! Кони, я слышу, уж тут.

Через минуту они вскочили на коней, с ними двое стремянных: Огарек и Сыруц. Все они поскакали по дороге между хатами застынка, стуча в двери с неистовым криком:

– За сабли! За сабли! Панну увезли из Водоктов, Кмициц объявился!

Услышав этот крик, люди выбегали из хат поглядеть, что случилось, а поняв, в чем дело, сами начинали вопить: «Кмициц объявился! Панну увез!» – и опрометью кидались в конюшню, чтобы оседлать коня, или в хату, чтобы в темноте нащарить на стене саблю. Все больше голосов кричало: «Кмициц объявился!» – суматоха поднялась в застынке, засветились огни, раздался

плач женщин, лай собак. Наконец шляхта высыпала на дорогу, часть верхами, часть пеша. Над головами людей поблескивали сабли, пики, рогатины, даже железные вилы.

Володыёвский окинул взглядом отряд, тут же разослал человек двадцать в разные концы, а сам с остальными двинулся вперед.

Всадники ехали впереди, пешие следовали за ними, все направлялись в Волмонтовичи на соединение с Бутрымами. Был десятый час, ночь стояла ясная, хотя луна еще не взошла. Шляхтичи, которых великий гетман недавно отпустил с войны, тотчас построились в шеренги; пешие шли нестройными рядами, бряцая оружием, переговариваясь и громко зевая, а порой посылая проклятия вражьему сыну Кмицицу, который не дал им выспаться всласть. Так дошли они до Волмонтовичей, где навстречу им выехал вооруженный отряд.

– Стой! Кто едет? – раздались голоса из отряда.

– Гаштовты!

– Мы – Бутрымы. Домашевичи уже здесь.

– Кто у вас начальник? – спросил Володыёвский.

– Я, пан полковник, Юзва Безногий.

– Вестей нет?

– Он ее в Любич увез. По болотам проехал, чтобы миновать Волмонтовичи.

– В Любич? – с удивлением переспросил Володыёвский. – Что же, он думает там обороняться? Ведь Любич не крепость?

– Видно, верит в свою силу. Сотни две людей с ним. Наверно, и имущество хочет забрать из Любича: повозки у них с собою и много неоседланных лошадей. Должно быть, не знает, что наши вернулись из войска, – уж очень смело действует.

– Вот и отлично! – сказал Володыёвский. – Он от нас не уйдет. Сколько у вас ружей?

– У нас, Бутрымов, десятка три, да у Домашевичей раза в два больше.

– Хорошо. Возьмите полсотни людей с ружьями и поезжайте стеречь проходы на болотах – да поживей! Остальные пойдут со мною. Про топоры не забудьте!

– Слушаюсь!

Поднялось движение; небольшой отряд под командой Юзвы Безногого двинулся трусцой к болотам.

Тем временем подъехало человек двадцать Бутрымов, которые были посланы к другим шляхтичам.

– Гостевичей не видать? – спросил Володыёвский.

– Ах, это ты, пан полковник! Слава Богу! – воскликнули вновь прибывшие. – Гостевичи уже идут... в лесу слышно. Ты знаешь, пан полковник, он ведь ее в Любич увез!

– Знаю. Недалеко он с нею уедет.

Кмициц и в самом деле не принял в соображение одной опасной стороны своего дерзкого предприятия: он не знал, что много шляхтичей вернулось домой. Он думал, что застынки пусты, как было во время его первого приезда в Любич, а Володыёвский вместе с Гостевичами мог выставить теперь против него даже без Стакьянов, которые не могли приехать вовремя, отряд чуть не в триста сабель, притом людей обученных и привычных к бою.

Все больше шляхты прибывало в Волмонтовичи. Явились наконец и долгожданные Гостевичи. Володыёвский построил отряд, и сердце у него возрадовалось, когда он увидел, как легко и ловко стали люди в строй. С первого взгляда было видно, что это не беспорядочная куча шляхтичей, а солдаты. Володыёвский еще больше обрадовался, когда подумал, что вскоре он поведет их гораздо дальше.

Рысью понеслись они в Любич через тот самый бор, по которому когда-то каждый день скакал Кмициц. Луна выплыла наконец на небо и осветила лес, дорогу и едущих всадников; бледные лучи ее сверкнули на остриях пик, отразились в блестящих саблях. Шляхтичи шепотом вели разговор о чрезвычайном происшествии, поднявшем их с постелей.

– Ходили тут всякие люди, – толковал один из Домашевичей. – Мы думали, беглецы, а это, наверно, были его лазутчики.

– Да, да. В Водокты каждый день захаживали чужие нищие, будто за подаванием, – прибавил другой.

– А что за солдаты у Кмицица?

– Челядь из Водоктов говорит, будто казаки. Верно, Кмициц с Хованским снюхался либо с Золотаренко. Был разбойником, а теперь уж стал заведомым изменником.

– Как же он мог завести так далеко казаков?

– С такой большой ватагой нелегко пробраться. Любая наша хоругвь задержала бы его по дороге.

– Первое дело, он мог лесами идти, а потом мало ли тут разъезжает панов с надворными казаками? Кто их там отличит от врагов; спросишь, а они говорят, мы, мол, надворные казаки.

– Он будет защищаться, – говорил один из Гостевичей, – человек он храбрый и решительный, но только наш полковник с ним справится.

– Бутрымы тоже поклялись не выпустить его живым, хоть бы пришлось всем сложить головы. Страх как они злы на него.

– Ба! Да если мы его зарубим, на ком будем обиды искать? Лучше уж живьем захватить и отдать под суд.

– Где уж там думать о судах, когда все голову потеряли! Слыхали ль вы, что люди толкуют, будто и шведы могут начать войну?

– Господи, спаси и сохрани! Московская держава и Хмельницкий! Одних только шведов не хватает, конец тогда Речи Посполитой.

Но тут Володыёвский, ехавший впереди, повернулся и сказал:

– Тише там!

Шляхта примолкла, уже завиднелся Любич. Через четверть часа отряд был недалеко от усадьбы. Все окна пылали огнями, свет озарял весь двор, наполненный вооруженными людьми и лошадьми. Нигде никакой стражи, никаких мер предосторожности, – видно, Кмициц был очень уверен в своих силах. Подъехав еще ближе, Володыёвский с первого же взгляда узнал казаков, с которыми ему столько пришлось повоевать еще при жизни великого Иеремии, да и потом у Радзивилла.

– Коли это чужие казаки, – пробормотал он про себя, – то этот смутьян перешел всякие границы!

Остановив весь отряд, он стал присматриваться. Во дворе царила страшная суматоха. Одни казаки светили, держа в руках факелы, другие сновали взад и вперед, вынося из дому вещи и укладывая на телеги мешки; те выводили лошадей из конюшен, те – скотину из хлевов; со всех сторон неслись приказы и окрики. При свете факелов казалось, что это арендатор на святого Яна переезжает в новое имение.

Кшиштоф Домашевич, старший в семье Домашевичей, подъехал к Володыёвскому.

– Пан полковник, – сказал он, – они хотят весь Любич уложить на телеги.

– Ни Любича они не увезут, – ответил Володыёвский, – ни шкуры своей не спасут. Однако я не узнаю Кмицица, он ведь бывалый солдат. Никакой стражи!

– Силы у него немало, поболее трех сотен наберется. Не воротись мы из войска, так он бы среди бела дня проехал с телегами через все застьянки.

– Ну, ладно! – сказал Володыёвский. – К усадьбе ведет только одна эта дорога?

– Да, одна эта, на задах пруды да болота.

– Это хорошо! С коней!

Подчиняясь приказу, шляхтичи мгновенно спешились, затем сомкнули ряды и длинной цепью стали окружать дом вместе с постройками.

Володыёвский вместе с главным отрядом направился прямо к воротам.

– Ждать команды! – сказал он вполголоса. – Без приказа не стрелять!

С полсотни шагов отделяли шляхтичей от ворот, когда их заметили наконец со двора. Десятка два казаков тотчас подбежали к забору и, перегнувшись через него, стали пристально всматриваться в темноту.

– Эй, что за люди?

– Стой! – крикнул Володыёвский. – Огонь!

Внезапно раздался залп из всех ружей, какие только были у шляхты; но не успело эхо залпа отдалиться от строений, как снова раздался голос Володыёвского:

– Вперед!

– Бей их! – закричали лауданцы, ринувшись лавиной вперед.

Казаки ответили выстрелами; но у них уже не осталось времени, чтобы перезарядить ружья. Толпа вооруженных шляхтичей нажала на ворота, которые тут же повалились под их могучим натиском. Закипел бой во дворе, среди телег, лошадей, мешков. Впереди стеной ломили богатыри Бутрымы, самые страшные в рукопашном бою и самые заклятые враги Кмицица. Они шли, как стадо вепрей идет сквозь молодую поросль, круша, топча, увеча и отчаянно рубя; за ними валили Домашевичи и Гостевичи.

Люди Кмицица стойко отбивались, укрываясь за повозками и мешками, они открыли огонь изо всех окон дома и с крыши; но выстрелы были редкие, так как факелы были затоптаны и погасли, и стало трудно отличить своих от врагов. Через минуту казаков оттеснили к дому и конюшням; слышались мольбы о пощаде. Шляхтичи торжествовали.

Но когда они остались во дворе одни, тотчас усилился огонь из дома. Все окна ошетились дулами мушкетов, и на отряд посыпался град пуль. Большая часть казаков укрылась в доме.

– К дому! Под двери! – крикнул Володыёвский.

В самом деле, пули, посланные из дома и с крыши, у самых стен не могли нанести шляхте урона. Однако положение осаждающих было тяжелым. О штурме дома через окна не могло быть и речи, там их встретили бы выстрелами в упор, поэтому Володыёвский приказал рубить дверь.

Но и это оказалось делом нелегким, так как не дверь это была, а настоящие кованые ворота, сбитые из дубовых крестовин огромными гвоздями, насаженными так плотно, что топоры щербились об могучие шляпки, не доставая до дерева. Силачи то и дело пробовали высадить дверь плечом – все было тщетно! Изнутри она была заложена железными засовами и, кроме того, приперта кольями. И все же Бутрымы яростно продолжали рубить. Двери, ведущие в кухню и сокровищницу, штурмовали Домашевичи и Гостевичи.

Целый час тщетно садили люди топорами, – пришлось их сменить. Некоторые крестовины выпали; но на их месте показались дула мушкетов. Снова грянули выстрелы. Двое Бутрымов рухнули наземь с простреленной грудью. Но остальные не пришли в замешательство, напротив, стали рубить с еще большею яростью.

По приказу Володыёвского проломы заткнули свернутыми в узлы кафтанами. В ту же минуту со стороны дороги долетел новый крик, – это на помощь братьям прибыли Стакьяны, а вслед за ними вооруженные люди из Водоктов.

Прибытие новой подмоги, видно, испугало осажденных, потому что за дверью чей-то громкий голос крикнул:

– Стой там! Не руби! Послушай!.. Стой же, черт бы тебя побрал! Давай поговорим.

Володыёвский велел прервать работу.

– Кто говорит? – спросил он.

– Хорунжий оршанский Кмициц! – прозвучал ответ. – С кем я говорю?

– Полковник Михал Ежи Володыёвский.

– Здорово! – раздался голос из-за двери.

– Не время здороваться. Что угодно?

– Это мне надо тебя спросить: что тебе угодно? Ты меня не знаешь, я тебя тоже... так за что же ты на меня напал?

– Изменник! – крикнул Володыёвский. – Со мной лауданцы, они с войны воротились, это у них с тобой счеты и за разбой, и за невинно пролитую кровь, и за девушку, которую ты увез! Знаешь ли ты, что такое *raptus puellae*?<sup>12</sup> Ты за это заплатишься головой!

На минуту воцарилось молчание.

– Не назвал бы ты меня еще раз изменником, – снова заговорил Кмициц, – когда бы нас не разделяла дверь.

– Так отвори ее... я тебе не возбраю!

– Сперва еще не один лауданский пес ногами накроется. Вы меня живым не возьмете.

– Так издохнешь, и вытащим за голову! Нам все едино!

– Ты вот послушай, что я тебе скажу, и заруби себе это на лбу. Не оставите вы нас в покое, так есть у меня тут бочонок пороху, и фитилек уж тлеет: взорву дом, всех, кто только тут есть, и себя заодно... Клянусь тебе в этом! Можете теперь меня брать!

На этот раз молчание было еще дольше. Володыёвский не знал, что ответить. Шляхта в ужасе стала переглядываться. В словах Кмицица звучала такая дикая сила, что все поверили его угрозе. От одной искры все труды могли пойти прахом, и панна Биллевич могла быть потеряна навеки.

– Господи! – пробормотал кто-то из Бутрымов. – Да он безумец! Он может это сделать.

Внезапно Володыёвского осенила счастливая, как ему показалось, мысль.

– Есть другое средство! – крикнул он. – Выходи, изменник, рубиться со мной на саблях! Уложишь меня, уедешь отсюда, и никто не станет чинить тебе препятствий.

Некоторое время ответа не было. Сердца лауданцев тревожно бились.

– На саблях? – спросил Кмициц. – Да может ли это быть!

– Не спразднуешь труса, так будет!

– Слово рыцаря, что уеду тогда без помехи?

– Слово рыцаря!

– Не бывать этому! – раздались голоса в толпе Бутрымов.

– Эй, тише там, чтоб вас черт побрал! – крикнул Володыёвский. – Не хотите, так пусть вас и себя взорвет порохом.

Бутрымы умолкли, через минуту один из них сказал:

– Быть по-твоему, пан полковник!..

– А как там сермяжнички? – с насмешкой спросил Кмициц. – Соглашаются?

– Хочешь, так на мечях поклянутся.

– Пусть клянутся!

– Сюда, сюда, ко мне! – крикнул Володыёвский шляхтичам, стоявшим у стен вокруг всего дома.

Через минуту все собрались у главного входа, и весть о том, что Кмициц хочет взорвать себя порохом, тотчас разнеслась в толпе. От ужаса все оцепенели; тем временем Володыёвский повысил голос и сказал в гробовой тишине:

– Всех, кто здесь присутствует, беру в свидетели, что я вызвал пана Кмицица, хорунжего оршанского, на поединок и дал ему клятву, что коли он меня уложит, то уедет отсюда без помехи и никто ему не станет чинить препятствий, в чем и поклянитесь все ему на рукоятях мечей именем Бога Всевышнего и Святого Креста...

– Погодите! – крикнул Кмициц. – Уеду без помехи со всеми людьми и панну с собой возьму.

---

<sup>12</sup> похищение девушки (лат.).

– Панна здесь останется, а люди пойдут к шляхте в неволю.

– Не бывать этому!

– Тогда взрывай себя порохом! Мы уже панну оплакали, а что до людей, так ты их спроси, чего они хотят...

Снова воцарилась тишина.

– Быть по-вашему! – сказал через минуту Кмициц. – Не сегодня, так через месяц я все едино ее увезу. И под землей ее от меня не спрячете! Клянись!

– Клянемся Богом Всевышним и Святым Крестом. Аминь!

– Ну, выходи, выходи же, пан! – сказал Володыёвский.

– На тот свет очень торопишься?

– Ладно уж, ладно, только выходи поскорей!

Лязгнули железные засовы, державшие дверь изнутри. Чтобы освободить место, Володыёвский, а с ним и вся шляхта отошли назад. Вскоре дверь отворилась, и в проеме показался пан Анджей, рослый и стройный, как тополь. Заря уже брезжила, и первые робкие лучи дня падали на его лицо, гордое, мужественное, молодое. Он встал в дверях, смело оглядел толпу шляхтичей и сказал:

– Я доверился вам... Бог знает, хорошо ли я поступил, однако не будем говорить об этом!.. Кто из вас пан Володыёвский?

Маленький полковник выступил вперед.

– Я! – ответил он.

– Эге! Да ты, я вижу, не больно велик, – сказал Кмициц, подсмеиваясь над ростом рыцаря. – Я думал, ты поосанистей, а впрочем, должен признать, что солдат ты, видно, бывалый.

– Не могу сказать этого о тебе, забыл ты совсем о страже. Коли и рубака из тебя такой, как начальник, немного мне придется потрудиться.

– Где будем драться? – с живостью спросил Кмициц.

– Здесь. Двор, как скатерть, ровный.

– Согласен. Готовься к смерти!

– Так ты уверен в себе?

– Видно, ты в Оршанщине не бывал, коль сомневаешься в этом. Я не только уверен в себе, но и жаль мне тебя. Много я о тебе наслышан как о славном рыцаре. Потому в последний раз говорю: оставь меня! Мы друг друга не знаем, зачем же нам друг другу поперек дороги становиться? Чего ты меня преследуешь? Девушка мне по духовной принадлежит, как и это поместье, и – Бог свидетель! – я только своего добиваюсь. Это правда, что я порубил в Волмонтовичах шляхту; но пусть Бог рассудит, кто первый понес тогда обиду. Своевольничали иль нет мои офицеры, мы про то говорить не будем, довольно того, что никому они здесь зла не причинили, а перебили их всех, как собак, только за то, что они хотели поплясать с девушками в корчме. Так пусть уж будет кровь за кровь! Потом мне и солдат порубили. Клянусь Богом, не таил я злого умысла, когда приехал в ваш край, а как меня приняли здесь?.. Но пусть уж будет обида за обиду. Я и своего прибавлю, вознагражу за обиды... По-добрососедски. По мне, лучше так...

– А что это за люди пришли теперь с тобой? Откуда ты взял этих помощников? – спросил Володыёвский.

– Откуда взял, оттуда и взял. Я их привел не против отчизны биться, а помочь мне в моем приватном деле.

– Вот ты каков? Стало быть, ради приватного дела ты спознался с врагами? А чем же ты им за услугу заплатишь, коль не изменой? Нет, братец, не помешал бы я тебе с шляхтой договориться, но кликнуть врага на помощь – это дело совсем другое. Ты у меня не отвертишься.

Становись же, становись, знаю я, что ты труса празднуешь, хоть и бахвалишься, что ты знаменитый оршанский рубака.

– Ты сам этого хотел! – сказал Кмициц, становясь в позицию.

Но Володыёвский не торопился; не вынимая сабли из ножен, он окинул взором небо. На востоке зазолотилась, заголубела по окоему первая светлая полоска, но сумрачно было еще на дворе, а подле дома царила непроглядная тьма.

– Хороший день встает, – сказал Володыёвский, – но солнце взойдет еще не скоро. Не хочешь ли, чтобы нам посветили?

– Мне все едино.

– Нуте-ка, сбегайте за жгутами да лучиной, – обратился Володыёвский к шляхте. – Будет нам светлее плясать оршанский этот танец.

Шляхта, которая удивительно как ободрилась от шутивых речей молодого полковника, опрометью бросилась в кухню; кое-кто стал подбирать затоптанные во время боя факелы, и через некоторое время с полсотни красных огоньков замерцало в белесом предутреннем сумраке. Володыёвский показал на них саблей Кмицицу:

– Глянь-ка, пан, прямо тебе погребальное шествие!

Кмициц не замедлил с ответом:

– Полковника хоронят, как же без помпы, нельзя!

– Не человек ты, пан, змея лютая!

Шляхта между тем в молчании стала в круг и подняла зажженные факелы, позади круга расположились остальные; все были охвачены страхом и любопытством; в середине круга противники мерили друг друга глазами. Тишина воцарилась мертвая, только пепел с факелов осыпался с шорохом на землю. Володыёвский весел был, как щегол в ясное утро.

– Начинай, пан! – сказал Кмициц.

Первый звук удара эхом отозвался в сердцах всех зрителей; Володыёвский ткнул саблей словно бы нехотя, Кмициц отразил удар и тоже кольнул, Володыёвский, в свою очередь, отразил удар. Сухой лязг сабель становился все чаще. Все затаили дыхание. Кмициц нападал с яростью, Володыёвский заложил назад левую руку и стоял спокойно, небрежно делая легкие, почти незаметные выпады; казалось, он хочет только прикрыть себя и вместе с тем пощадить противника; порой он пятился на шаг, порою делал шаг вперед, видно, испытывал, насколько искусен противник. Кмициц горячился, он же был холоден, как мастер, проверяющий ученика, и становился все спокойней. Наконец, к неописуемому изумлению шляхты, он заговорил с противником.

– Давай потолкуем, – сказал он. – И время не будет так долго тянуться... Гм, так это ваш оршанский способ? Видно, вам самим приходится горох молотить, что ты машешь саблей, как цепом... Этак ты совсем вымахался. Неужто ты в Оршанщине и впрямь самый искусный рубака? Этот удар в моде разве только у судейских служак. А этот курляндский, им от собак хорошо отбиваться... Ты, пан, на острие сабли смотри! Не выгибай так руку, а то гляди, что может статься... Подними!

Последнее слово Володыёвский произнес раздельно, в то же мгновение сделал полукруг, потянул на себя руку с саблей, и прежде чем зрители поняли, что означает этот возглас: «Подними!» – сабля Кмицица, точно соскользнувшая с нитки игла, просвистела над головой Володыёвского и упала у него за спиной.

– Это называется: выбить саблю, – сказал Володыёвский.

Кмициц, бледный, с блуждающими глазами, стоял, пошатываясь, изумленный не меньше лауданской шляхты; а маленький полковник шагнул в сторону и, показав на лежавшую на земле саблю, повторил еще раз:

– Подними!

Минуту казалось, что Кмициц ринется на него безоружный. Он готов уже был прыгнуть, и Володыёвский, прижав рукоять к груди, уже наставил острие. Однако Кмициц бросился за саблей, снова обрушился с нею на своего страшного противника.

Громкий шепот пробежал по кругу зрителей, и круг этот стал еще теснее, а позади него образовались второй и третий. Казаки Кмицица просовывали головы между плечами шляхтичей так, точно всю жизнь жили с ними в полном согласии. Невольные возгласы срывались с уст зрителей; порой раздавался взрыв неудержимого нервного смеха: все узнали мастера над мастерами.

А тот жестоко забавлялся, как кошка с мышкой, и на первый взгляд все небрежней орудовал саблей. Левую руку он сунул теперь в карман своих шаровар. С пеной у рта Кмициц хрипел уже, и наконец из груди его сквозь стиснутые губы с хрипом вырвались слова:

– Кончай!.. Не срами!..

– Ладно! – сказал Володыёвский.

Послышался короткий, страшный свист, затем сдавленный крик, в то же мгновение Кмициц раскинул руки, сабля упала на землю, и он ничком повалился к ногам полковника.

– Жив! – сказал Володыёвский. – Не навзничь упал.

И, отогнув полу жупана Кмицица, он стал вытирать ею саблю.

Шляхтичи вскричали все разом, и в криках их все явственней стали слышаться голоса:

– Добить изменника! Добить его! Зарубить!

Несколько Бутрымов уже бросились было с саблями наголо. Но вдруг произошло нечто удивительное. Володыёвский словно вырос на глазах у всех, сабля выпала из рук ближайшего Бутрыма и полетела вслед за саблей Кмицица, точно ее вихрем подхватило, а Володыёвский крикнул, сверкая взорами:

– Не смей! Не смей! Он мой теперь, не ваш! Прочь!

Все умолкли, страшась гнева мужа.

– Не нужна мне тут бойня! – сказал он. – Вы – шляхтичи и должны знать рыцарский обычай: раненых не добивать. Даже с врагами так не поступают, а что же говорить о противнике, сраженном в поединке!

– Он изменник! – проворчал кто-то из Бутрымов. – Такого следует убить.

– Коль изменник, так надо отдать его пану гетману, чтобы он понес наказание, а пример его стал другим наукой. Да и сказал уж я вам: мой он теперь, не ваш. Коли выживет, вы сможете искать на нем за ваши обиды перед судом и с живого получите больше, чем с мертвого. Кто тут умеет перевязывать раны?

– Кших Домашевич. Он с давних пор перевязывает раны на Лауде.

– Пусть сейчас же его перевяжет, а потом перенесите его на постель, ну, а я пойду успокою несчастную панну.

С этими словами Володыёвский сунул сабельку в ножны и через изрубленную топорами дверь вошел в дом. Шляхта принялась ловить и вязать веревками людей Кмицица, которые отныне должны были стать в застенках пашенными мужиками. Казаки не оказали сопротивления, только человек двадцать выпрыгнули через задние окна дома и бросились к прудам: но там они попали в руки стоявшим на стреме Стакьянам. Шляхта тут же принялась грабить повозки, на которых нашла довольно богатую добычу; кое-кто посоветовал ограбить и дом; но даже наиболее дерзкие поопасались Володыёвского, а быть может, их остановило и присутствие в доме панны Биллевич. Своих убитых, среди которых было трое Бутрымов и двое Домашевичей, шляхта положила на повозки, чтобы похоронить по-христиански, а для убитых людей Кмицица велено было мужикам вырыть ров позади сада.

В поисках панны Биллевич Володыёвский обшарил весь дом, пока не нашел ее наконец в сокровищнице – маленькой угольной комнате, в которую вела из опочивальни низенькая тяжелая дверь. Это была комнатка с узкими оконцами, забранными частой решеткой, и с такими



толстыми, сложенными в квадрат каменными стенами, что Володыёвский сразу понял, что она наверняка осталась бы цела, если бы даже Кмициц вздумал взорвать дом. Маленький рыцарь решил, что Кмициц лучше, чем он о нем думал. Панна Александра сидела на сундуке подле двери, опустив голову, и лицо ее было совершенно закрыто распустившимися косами; она не подняла головы и тогда, когда услышала шаги рыцаря. Верно, думала, что это сам Кмициц или кто-нибудь из его людей. Володыёвский остановился в дверях, снял шапку, кашлянул раз, другой, но, видя, что это не помогает, произнес:

– Милостивая панна, ты свободна!..

Тогда из-под распустившихся кос на рыцаря глянули голубые глаза, а потом показалось прекрасное, хотя и бледное и как бы окаменелое лицо. Володыёвский ожидал бурной радости и благодарностей, а меж тем девушка сидела неподвижно, вперив в него блуждающий взор.

– Очнись же, панна! – повторил еще раз рыцарь. – Бог сжалился над твоей невинностью. Ты свободна и можешь вернуться в Водокты.

На этот раз взгляд панны Билевич не был уже так безучастен. Поднявшись с сундука, она легким движением откинула на спину волосы и спросила:

– Кто ты?

– Михал Володыёвский, драгунский полковник виленского воеводы.

– Я слышала, там бой, выстрелы?.. Говори же...

– Да-да. Мы пришли, чтобы спасти тебя.

Панна Билевич совсем пришла в себя.

– Спасибо тебе, пан! – поспешно сказала она тихим голосом, в котором звучала смертельная тревога. – А с ним что случилось?

– С Кмицицем? Не бойся, он лежит во дворе бездыханный. И, не хвалясь, скажу, что это сделал я.

Володыёвский не без кичливости произнес эти слова; он думал, что девушка придет в восторг, но жестоко обманулся в своих ожиданиях. Ни слова не вымолвив, она покачнулась вдруг и рукой стала искать опоры, пока не опустилась наконец тяжело на тот же сундук, с которого за минуту до этого встала.

Рыцарь бросился к ней.

– Панна, что с тобой?

– Ничего!.. Ничего! погоди!.. Позволь... Так пан Кмициц убит?

– Что мне до пана Кмицица, – прервал ее Володыёвский, – когда тебе худо!

К ней внезапно вернулись силы, она снова поднялась и, поглядев ему прямо в глаза, крикнула с гневом, отчаянием и нетерпением:

– Ради всего святого, отвечай: он убит?

– Пан Кмициц ранен, – в изумлении ответил Володыёвский.

– Он жив?

– Жив.

– Хорошо! Спасибо тебе!..

И, все еще пошатываясь, она направилась к двери. Володыёвский постоял с минуту времени, топорща усики и качая головой.

– За что она меня благодарит? – пробормотал он про себя. – За то, что Кмициц ранен, или за то, что он жив?

И вышел вслед за ней. Он застал ее в смежной опочивальне, – словно окаменев, стояла она посреди комнаты. Четверо шляхтичей как раз вносили Кмицица, двое передних уже показались в дверях, между руками их свесилась до земли бледная голова пана Анджея с закрытыми глазами и сгустками черной крови в волосах.

– Потихоньку! – идя следом за ними, говорил Кших Домашевич. – Потихоньку через порог. Поддержите кто-нибудь голову. Потихоньку!..

– А чем держать, коли руки заняты? – ответили идущие впереди.

В эту минуту к ним подошла панна Александра; бледная, как и Кмициц, обеими руками подхватила она мертвую голову.

– Это паненка! – сказал Кших Домашевич.

– Это я... осторожней! – ответила она тихим голосом.

Володыёвский смотрел и еще сильнее топорщил усики.

Тем временем Кмицица положили на постель. Кших Домашевич стал обмывать ему голову водой, затем положил на рану заранее приготовленный пластырь и сказал:

– Теперь ему надо только спокойно полежать... Эх, и железная у него голова, коли от такого удара не раскололась надвое. Может, он и выживет, потому молод. Но крепко ему досталось! – Затем он обратился к Оленьке: – Дай, паненка, я тебе ручки вымою! Вот тут вода. Милосердное у тебя сердце, коли ради такого человека не побоялась ты ручки в крови замарать.

С этими словами он стал вытирать ей полотенцем руки, а она на глазах менялась в лице. Володыёвский снова подбежал к ней.

– Нечего тебе, панна, тут делать! Оказала христианское милосердие врагу... а теперь возвращайся домой.

С этими словами он подал ей руку; однако она даже не взглянула на него.

– Пан Кшиштоф, – обратилась она к Кшиху Домашевичу, – уведи меня отсюда!

Они вышли вдвоем; Володыёвский последовал за ними. Во дворе шляхта встретила панну Александру криками: «Виват!» – а она шла, пошатываясь, стиснув губы, бледная и с пылающим взглядом.

– Да здравствует наша панна! Да здравствует наш полковник! – кричали могучие голоса.

Спустя час лауданцы во главе с Володыёвским возвращались в застянки. Солнце уже взошло, утро встало веселое, по-настоящему весеннее. Лауданцы беспорядочной толпой двигались по большой дороге, толкуя о событиях минувшей ночи и превознося до небес пана Володыёвского, а он ехал задумчивый и молчаливый. Всё не шли у него из ума эти очи, глядевшие на него из-под распутившихся кос, эта статная и величественная, хоть и поникшая от печали и муки, фигура.

– Чудо как хороша! – бормотал он про себя. – Прямо тебе княжна... Гм!.. Я ей невинность спас, а пожалуй, и жизнь, ведь она бы со страху умерла, когда бы сокровищница и уцелела... Должна бы меня благодарить... Но кто поймет этих женщин... Как на мальчишку-слугу смотрела на меня, не знаю, от гордости или от смущения...

## Глава VIII

Эти мысли не давали ему спать всю следующую ночь. Еще несколько дней он все думал о панне Александре и понял, что она глубоко запала ему в сердце. Ведь лауданская шляхта хотела его женить на ней! Правда, она отказала ему, не раздумывая, но ведь тогда она не знала его и не видала. Теперь совсем другое дело. Он по-рыцарски вырвал ее из рук насильника, хоть и пуля и сабля грозили ему, завоевал ее, просто как крепость... Чья же она, если не его? Может ли она отказать ему, даже если он попросит ее руки? А не попытаться ли? А не удастся ли пробудить в ней любовь из благодарности, как это часто случается, когда спасенная девушка тут же отдает спасителю руку и сердце! Пусть даже в сердце ее не проснется вдруг любовь к нему, так разве не стоит постараться об этом!

«А что, если она все еще того помнит и любит?»

– Не может быть! – сказал себе Володыёвский. – Отвадила она его, а то бы он силком не стал увозить.

Правда, милосердие она ему оказала необыкновенное; но ведь это женское дело жалеть раненых, будь они даже враги.

Молода она, без опеки, замуж ей пора. В монастырь она, видно, не собирается, а то бы давно ушла. Довольно было для этого времени. К такой красавице вечно будут лхнуть всякие кавалеры: одни ради ее богатства, другие ради красоты, третьи ради знатности. Ну, не любо ли будет ей иметь такую защиту, на которую, как она сама уже видала, смело можно положиться.

– Да и тебе, Михалек, пора остепениться! – говорил сам себе Володыёвский. – Ты еще молод, но ведь годы быстро бегут. Богатства ты на службе не наживешь, разве только ран еще больше. А шалостям придет конец.

Перед взором Володыёвского проплыла тут вереница паненок, по которым он вздыхал в своей жизни. Были среди них и знатные, и первые красавицы, но она была всех милее, всех краше и достойней. Ведь и род Биллевичей, и ее самоё славилась вся округа, и столько благородства читалось в ее очах, что лучше супруги и пожелать нельзя.

Володыёвский чувствовал, что такое счастье плывет ему в руки, какое в другой раз может и не представиться, тем более что услугу девушке он оказал чрезвычайную.

– Что тянуть! – говорил он себе. – Дождусь ли я чего лучше? Надо попытаться.

Да, но война на носу. Рука у него здорова. Стыдно рыцарю увиваться за девушкой, когда отчизна простерла к нему руки и молит о спасении. Пан Михал сердца был честного, рыцарского и, хоть служил чуть не с отроческих лет и участвовал чуть не во всех войнах, которые бывали в те годы, сознавал, однако же, свой долг перед отчизной и даже не помышлял об отдыхе.

Но именно потому, что не ради корысти, денег и почестей, а верой и правдой служил он отчизне и совесть его была чиста, он знал себе цену, и это ободрило его.

«Другие своевольничали, а я сражался, – думал он про себя. – Господь Бог вознаградит солдата и поможет теперь ему».

Он решил, что на ухаживанья времени нет и действовать надо без промедления, сразу все поставить на карту: съездить, предложить тут же руку и сердце и либо, не откладывая оглашений, обвенчаться, либо съесть арбуз.

– Ел я уж не раз, съем и теперь! – проворчал Володыёвский, топорща желтые усики. – Какой мне от этого вред!

Было, однако же, в этом внезапном решении одно обстоятельство, которое не нравилось ему. Если он так вот сразу после спасения девушки поедет делать ей предложение, думал рыцарь, не будет ли он похож на назойливого кредитора, который хочет, чтобы ему поскорее вернули долг с лихвой?

«А может, это не по-рыцарски? Да, но за что же и требовать благодарности, как не за услугу? А если эта поспешность не по вкусу придется девушке, если она поморщится, так ведь можно сказать ей: «Милостивая панна, да я бы год целый ездил к тебе, увивался да в глазки заглядывал, но ведь я солдат, а трубы гремят, зовут на войну!»

– Так решено: поеду! – сказал Володыёвский.

Однако через минуту ему пришла в голову новая мысль. А если она ответит ему: «Так иди же на войну, честной солдат, а кончится война, год будешь ко мне ездить и в глазки мне заглядывать, потому что человеку незнакомому я душой и плотью так вдруг не предамся».

Тогда все пропало.

Что пропало, это Володыёвский понимал прекрасно: не говоря уж о девушке, которую за это время мог взять другой, он сам не был уверен в собственном постоянстве. Совесть говорила ему, что в нем самом любовь вспыхивала вдруг, как солома, но и гасла, как солома.

Тогда все пропало! Скитайся по-прежнему, бродяга-солдат, из стана в стан, с битвы на битву, без крова, без родной души. А после войны ищи по свету пристани, не ведая, где, кроме арсенала, голову приклонить!

Володыёвский решительно не знал, что предпринять.

Тесно как-то и душно стало ему в пацунельской усадёбке, взял он шапку, чтобы выйти на улицу и погреться немного на майском солнышке. На пороге он наткнулся на одного из людей Кмицица, которого отдали в неволю старому Пакошу. Казак грелся на солнце и брэнчал на бандуре.

– Что ты здесь делаешь? – спросил у него Володыёвский.

– Играю, пан, – ответил казак, поднимая изможденное лицо.

– Откуда ты родом? – продолжал спрашивать пан Михал, довольный, что оборвались на минуту его мысли.

– Издалека, пан, из Звягеля.

– Почему же ты не бежал, как другие твои товарищи? О, все вы такие! Сохранила вам шляхта в Любиче жизнь, чтобы иметь пашенных мужиков, да не успела снять с вас веревки, как вы тотчас поубегали.

– Я не убегу. Околею здесь, как пес.

– Так тебе здесь понравилось?

– Кому лучше в поле, тот бежит, а мне здесь лучше. У меня нога была прострелена, а тут мне ее шляхтянка перевязала, дочка старика, да еще добрым словом приветила. Отродясь я такой красавицы не видывал... Зачем мне уходить?

– Которая же это так тебе угодила?

– Марыся.

– И ты останешься?

– Околею, так вынесут, а нет, так останусь.

– Неужто думаешь у Пакоша дочку выслужить?

– Не знаю, пан.

– Да он такому голяку скорей смерть посулит, чем дочку.

– У меня в лесу червонцы зарыты: две пригоршни.

– С разбоя?

– С разбоя.

– Да будь хоть целый гарнец, все едино ты мужик, а Пакош шляхтич.

– Я из путных бояр.

– Коль из путных бояр, так еще хуже, чем мужик, потому изменник. Как же ты мог врагу служить?

– А я и не служил.

– Где же Кмициц набрал вас?

– На большой дороге. Я у польного гетмана служил, но потом хоругвь разбежалась, есть стало нечего. Домой мне незачем было ворочаться, дом-то мой спалили. Пошли наши промыслять на большую дорогу, ну и я с ними пошел.

Володыёвский очень этому удивился, он до сих пор думал, что Кмициц похитил Оленьку, взяв людей у врага.

– Так пан Кмициц взял вас не у Трубецкого?

– Больше всего было тех, что у Трубецкого и Хованского служили, да и они на большую дорогу бежали.

– Почему же вы пошли за паном Кмицицем?

– Он славный атаман. Нам говорили, что коли он кликнет, так все едино, что талеров насыплет в кошель. Потому мы и пошли. Да вот не поталанило нам!

Володыёвский только головой покачал, поразмыслив о том, что уж очень очернили этого Кмицица; затем он поглядел на изможденное лицо боярского сына и снова покачал головой.

– Так ты ее любишь?

– Люблю, пан!

Володыёвский направился на улицу, подумав про себя: «Вот это решительный человек! Он долго не раздумывал: полюбил и остается. Такие люди лучше всех... Коли он и впрямь из путных бояр, так это то же, что и застянковая шляхта. Отрост свои червонцы, и старый Пакош, пожалуй, отдаст за него свою Марысю. Отчего ж не отдать? Он не крутил, не вертел, а уперся на своем – и баста! Дай-ка и я упрись!»

Раздумывая так, Володыёвский шел по улице на солнышке, порой останавливался и то потуплял взор в землю, то к небу его поднимал; потом снова продолжал свой путь, пока не увидел вдруг летевшее в небе стадо диких уток.

Тогда он стал гадать по ним: ехать, не ехать?.. Выпало: ехать.

– Кончено! Еду!

С этими словами он повернул домой; однако по дороге заглянул еще в конюшню, на пороге которой двое его стремянных играли в кости.

– Сыруц, – спросил Володыёвский, – заплетена ль грива у Серого?

– Заплетена, пан полковник.

Володыёвский зашел в конюшню. Серый заржал у яслей; рыцарь подошел к нему, похлопал по крупу, затем стал считать косицы в гриве.

– Ехать, не ехать, ехать...

Снова выпало ехать.

– Седлать коней да одеться получше! – приказал Володыёвский.

После чего быстрым шагом направился домой и стал наряжаться. Надел высокие кавалерийские сапоги, желтые, с отворотами на подкладке и золочеными шпорами, и новый красный мундир, и рапирочку нацепил отменную, в стальных ножнах, с золотой насечкой на рукояти, и полупанцирек не забыл из светлой стали, закрывающий только верхнюю часть груди до шеи. Был у него в сундуке и рысий колпачок с чудным цапельным пером, но подходил он только к польскому платью, и пан Михал не стал его вынимать, а надел на голову шведский шлем с затыльником и вышел на крыльцо.

– Куда это ты собрался, пан полковник? – спросил у него старый Пакош, сидевший на завалинке.

– Куда собрался? Надо у вашей панны о здоровье справиться, а то как бы она не сочла меня за невежу.

– Так весь и сияешь! Чистый тебе снегирь! Ну, уж коли панна враз не влюбится, так, верно, и глаз у нее нет!

Но тут прибежали две младшие дочери Пакоша с подойниками в руках, – они возвращались с обеденной дойки. Увидев Володыёвского, девушки застыли в изумлении.

– Прямо тебе король! – сказала Зоня.

– Как на свадьбу нарядился! – прибавила Марыська.

– А может, свадебку и сыграем, – засмеялся старый Пакош. – К панне нашей полковник едет.

Не успел старик кончить, как подойник выпал из рук Марыси, и молочная река полилась прямо под ноги Володыёвскому.

– Что рот разинула! – сердито сказал Пакош. – Экая коза!

Марыся ничего не ответила, подняла подойник и молча ушла.

Володыёвский вскочил на коня, за ним выстроились оба его стремянных, и все трое отправились в Водокты. Денек выдался красный. Майское солнце играло на нагруднике и шлеме Володыёвского, и когда он издали мелькал между вербами, казалось, что по улице катится еще одно солнце.

– Любопытно знать, с перстеньком буду я ворочаться иль с арбузом? – пробормотал рыцарь.

– Что ты сказал, пан полковник? – спросил Сыруц.

– Дурень!

Стремянный стегнул коня по крупу, а Володыёвский продолжал:

– Счастье, что не впервой.

Эта мысль очень его ободрила.

Когда они приехали в Водокты, панна Александра в первую минуту не признала полковника, так что ему пришлось еще раз назвать свое имя. Тогда она поздоровалась с ним любезно, но как-то сдержанно и принужденно, он же представился ей с отменной учтивостью, ибо хоть и был солдатом, не придворным, однако подолгу бывал при разных дворах и пообтерся между людьми. Он отвесил весьма почтительный поклон и, прижав руку к сердцу, вот что сказал ей:

– Я приехал к тебе, милостивая панна, о здоровье справиться, не захворала ли ты, слушаем, с перепугу. Надо бы на другой же день приехать, да боялся я надоесть тебе.

– Это очень любезно с твоей стороны, милостивый пан, что ты не только спас меня от гибели, но и не забыл обо мне. Садись, будь дорогим гостем.

– Милостивая моя панна, – ответил пан Михал, – когда бы я забыл тебя, недостойн был бы я той милости, какую Бог оказал мне, позволив подать руку помощи столь достойной особе.

– Нет, это я сперва должна Господа Бога благодарить, а затем и тебя, пан полковник!

– Коли так, возблагодарим вдвоем Господа Бога, ибо ни о чем не молю я его так усердно, как о том, чтобы с его изволения и впредь защищать тебя от всяких бед.

При этих словах Володыёвский встопорщил свои навошенные усики, и без того торчавшие выше носа, – так доволен он был собою, что сразу сумел войти *in medias res*<sup>13</sup> и выложить все начистую. Панна Александра сидела смущенная и молчаливая, а уж красивая, как день весенний. Легкий румянец выступил у нее на щеках, а глаза она прикрыла ресницами, от которых тень падала на щеки.

«Это смущение – добрый знак!» – подумал Володыёвский.

И, откашлявшись, продолжал:

– Знаешь ли ты, милостивая панна, что после смерти твоего дедушки я командовал лауданцами?

– Знаю, – отвечала Оленька. – Покойный дедушка не мог сам идти в последний поход и очень был рад, когда ему сказали, что воевода виленский вверил тебе лауданскую хоругвь; он говорил, что знает тебя как славного рыцаря.

– Это он так обо мне говорил?

---

<sup>13</sup> в самую суть (лат.).

– Я сама слыхала, как он тебя хвалил, а после похода и лауданцы превозносили тебя до небес.

– Я простой солдат, недостойный того, чтобы меня не то что до небес превозносить, а просто ставить выше других. Очень я рад, что не совсем я тебе чужой человек, теперь ты не подумаешь, что какой-то незнакомец, человек темный свалился к тебе с последним дождем с облаков. Всегда приятней знать, с кем имеешь дело. Много всякого народу бродит по свету, выдают они себя за родовитых шляхтичей, приукрашивают себя добродетелями, а сами-то Бог весть кто такие, может, и не шляхтичи вовсе.

Володыёвский умышленно завел об этом разговор, чтобы рассказать Оленьке о себе, но она тотчас ему возразила:

– Тебя, пан полковник, никто в этом не заподозрит, ведь у нас в Литве есть шляхтичи с такой фамилией.

– Да, но те по прозванию Озории, а я Корчак-Володыёвский; мы из Венгрии, свой род ведем от некоего придворного Аттилы, этот придворный, когда его преследовали враги, дал обет Пресвятой Деве отречься от язычества и принять католическую веру, если только она сохранит ему жизнь. Свой обет он сдержал, когда благополучно переправился через три реки, те самые, которые теперь у нас в гербе.

– Так ты, пан полковник, родом не из наших мест?

– Нет, милостивая панна. Я сам с Украины; у меня и сейчас там деревенька, да ее враги захватили; но я с молодых лет служу в войске и больше думаю не о своем богатстве, а об том уроне, который наша отчизна терпит от иноземцев. Смолоду служил я у воеводы русского, нашего незабвенного князя Иеремии, с которым побывал во всех походах. И под Махновкой был, и под Константиновом, голодал вместе со всеми в Збараже, а после битвы под Берестечком сам король, повелитель наш, обнял меня. Бог свидетель, не приехал я сюда похвалиться, хочу только, чтобы ты знала, милостивая панна, что я не какой-нибудь пустообрех, который только глотку дерет, а крови своей жалеет, что всю жизнь я верой и правдой служил отчизне, ну и славу снискал, и чести своей ничем не замарал. Истинную правду говорю! И достойные люди могут мои слова подтвердить!

– Кабы все были такими, как ты, пан полковник! – вздохнула Оленька.

– Ты, милостивая панна, верно, думаешь о том насильнике, который осмелился поднять на тебя святотатственную руку?

Панна Александра опустила глаза в землю и не ответила ни слова.

– Он получил по заслугам, – продолжал Володыёвский. – Мне говорили, что он выживет, так что все едино не уйдет от кары. Все достойные люди его осуждают, даже уж слишком, толкуют, будто он с врагами связался, чтобы получить от них подмогу, а это неправда: казаков, с которыми он напал на Водокты, он вовсе не у врагов взял, а на большой дороге.

– Пан полковник, откуда ты это знаешь? – с живостью спросила Оленька, поднимая на Володыёвского свои лазоревые глаза.

– Да от его же людей. Станный он человек! Когда перед поединком я назвал его изменником, он не стал этого отрицать, хоть обвинил я его несправедливо. Гордость у него, видно, дьявольская.

– И ты, пан полковник, всюду говоришь, что он не изменник?

– Покуда нет, потому что сам не знал, а теперь буду говорить. Нехорошо даже о самом лютном враге говорить такие облыжные слова.

Глаза панны Александры еще раз остановились на маленьком рыцаре с дружеским расположением и благодарностью.

– Ты, пан полковник, на редкость достойный человек, на редкость...

От удовольствия Володыёвский стал усиленно топорщить усики.

«Смелей, Михалек! Смелей, Михалек!» – подумал он про себя.

А вслух сказал:

– Я тебе больше скажу, милостивая панна! Не одобряю я средств пана Кмицица, но не удивительно мне, что он так тебя добивался: сама Венера годится тебе разве что в служанки. С отчаяния решился он на дурное дело и, пожалуй, в другой раз решится, пусть только представится случай. Как же ты при неописанной такой красоте останешься одна, без опеки? Много всяких Кмицицев на свете, многие страстью к тебе воспылают, и многие опасности будут грозить твоей невинности. По милости Божией я избавил тебя от беды, но меня зовут уже трубы Марса. Кто же будет стеречь тебя?.. Милостивая панна, говорят, будто солдаты ветрены, но это неправда. Ведь сердце не камень, вот и у меня не могло оно остаться равнодушным к стольким неизъяснимым прелестям... – Тут Володыёвский упал перед Оленькой на колени. – Милостивая панна, – продолжал он, стоя на коленях, – я унаследовал после твоего дедушки хоругвь, позволь же мне унаследовать и внучку. Доверь мне опеку над собою, позволь вкушать сладость взаимной любви, возьми в постоянные покровители, а ты будешь жить в мире и безопасности, ибо, если я и на войну уеду, само имя мое будет тебе защитой.

Панна Александра вскочила со стула и в изумлении слушала Володыёвского, а он между тем продолжал:

– Я бедный солдат, но я шляхтич, человек достойный, и, клянусь Богом, ни единого пятна нет ни на моем щите, ни на совести. Может, тем только я согрешил, что поторопился; но и это ты должна понять: отчизна меня зовет, которой я не изменю даже ради тебя... Может, обрадуешь ты меня? Может, обрадуешь? Может, скажешь мне доброе слово?

– Пан полковник, ты требуешь от меня невозможного!.. Ради Христа! Немыслимое это дело! – в страхе ответила Оленька.

– Все в твоей воле...

– Потому я и отвечаю тебе решительно: нет! – Панна Александра нахмурила брови. – Пан полковник, не стану отпираться, я в долгу перед тобою. Проси чего хочешь, я все готова отдать тебе, но не руку.

Володыёвский встал.

– Ты меня не хочешь?

– Я не могу!

– И это твое последнее слово?

– Последнее и бесповоротное.

– А может, тебе только то не по нраву, что я так поторопился? Дай же мне надежду!

– Не могу, не могу!..

– Нет мне тут счастья, и нигде его не было! Милостивая панна, не предлагай же мне платы за услугу, не за тем я к тебе приехал, а что руки твоей просил, так не в отплату. Да если бы ты ответила мне, что отдаешь мне руку по долгу, не по доброй воле, я бы отказался. Нет воли, нет доли. Пренебрегла ты мною, смотри же, чтобы не случился тебе кто-нибудь похуже меня. Ухожу я из этого дома, как пришел, но только никогда уж больше сюда не ворочусь. Ни во что меня тут не ставят. Такая уж моя доля. Будь счастлива, хоть с тем же Кмицицем, потому ты, может, за то на меня гневаешься, что я с саблей стал между вами. Коли он тебе люб, так ты и впрямь не про меня.

Оленька сжала руками виски.

– Боже, Боже, Боже! – повторила она несколько раз.

Но и муки ее не смягчили Володыёвского, – отвесив поклон, он вышел сердитый и злой, тотчас сел на коня и уехал.

– Ноги моей больше тут не будет! – громко сказал он.

Стремянный Сыруц, следовавший за своим господином, тотчас подъехал к нему.

– Что ты сказал, пан полковник?

– Дурень! – ответил Володыёвский.



– Это ты, пан полковник, сказал мне, как мы сюда ехали.

Воцарилось молчание.

– Черной неблагодарностью меня тут накормили, – снова забормотал пан Михал. – Презрением ответили на любовь! Видно, до гроба ходить мне в кавалерах. Так уж на роду написано! Черт бы ее взял, долю такую! Что ни сунусь, то отказ!.. Нет правды на этом свете! И чем я ей не угодил? – Нахмурил тут Володыёвский брови, пораскинул умом и вдруг хлопнул себя по ляжке. – Знаю! – воскликнул он. – Это она все еще того любит! В этом все дело!

Но при мысли об этом лицо его не прояснилось.

«Тем хуже для меня, – подумал он через минуту. – Уж коли она после всего, что случилось, все еще его любит, так и не перестанет любить. Все самое худое, что он мог сделать, он уже сделал. Пойдет воевать, добьется славы, и люди забудут про худые его дела. И не пристало мне мешать ему, скорее помочь надо, ведь это на благо отчизны. Вот оно дело какое! Солдат он добрый... Однако же чем он ее так прельстил? Кто его знает? Иной дар такой имеет, что стоит ему только взглянуть на девушку, и та готова за ним в огонь и воду. Кабы знать, как это делается, или талисман добыть, может, и мне удалось бы. По заслугам девушки нас не жалуют. Верно говорил пан Заглоба, что лиса и баба самые изменчивые творения на свете. А уж так мне жаль, что все пропало! Очень она хороша, да и, говорят, добродетельна. Горда, видно, как сатана... Как знать, пойдет ли она за него, хоть и любит, – очень он обманул ее и оскорбил. Ведь мог все по-хорошему сделать, а предпочел своевольничать... Она и от замужества готова совсем отказаться, и от детей... Мне тяжело, а ей, бедняжке, еще тяжелей!..»

Тут Володыёвский стал сокрушаться о судьбе Оленьки, и головой покачал, и губами причмокнул.

– Пусть уж ей Бог будет покровителем! – сказал он наконец. – Я на нее не в обиде! Для меня это не первый отказ, а для нее первая мука. Бедняжка чуть жива от горя, а я ей еще глаза колол этим Кмицицем, вовсе уж напоил желчью. Нехорошо получилось, надо как-то исправить ошибку. Побей меня Бог, недостойно я поступил. Напишу-ка я ей письмецо, попрошу прощения, а там и помогу, чем можно будет.

Дальнейшие размышления Володыёвского прервал стремянный Сыруц, который снова поравнялся с ним и сказал:

– Пан полковник, а ведь там на горе пан Харламп с кем-то едет.

– Где?

– А вон там!

– И впрямь двое едут: но ведь пан Харламп остался при князе воеводе виленском. Да и как ты мог издали признать его?

– А по буланой. Ее все войско знает.

– Клянусь Богом, буланую видно. Но, может, это не та.

– Да я и побезку ее узнаю. Это наверняка пан Харламп.

Они оба надали ходу; всадники, ехавшие навстречу им, тоже прищипорили коней, и вскоре Володыёвский увидел, что к нему и в самом деле скачет Харламп.

Это был поручик панцирной хоругви литовского войска, давний знакомый Володыёвского, испытанный старый солдат. Когда-то они с маленьким рыцарем очень враждовали, но потом послужили вместе, повоевали и полюбили друг друга. Володыёвский подскакал к Харлампу и, раскрыв объятия, крикнул:

– Как поживаешь, Носач? Откуда ты взялся?

Товарищ, которому и в самом деле очень пристало прозвище «Носач», потому что он был обладателем весьма внушительного носа, упал в объятия полковника, и они радостно приветствовали друг друга.

– Я к тебе нарочным послан, – сказал он, отдышавшись, – да еще с деньгами.

– Нарочным, да еще с деньгами? От кого же?

– От князя воеводы виленского, нашего гетмана. Он шлет тебе грамоту, чтобы немедля набирать людей в войско, и другую – пану Кмицицу, который должен быть тоже где-то в здешних местах.

– И пану Кмицицу? Как же мы вдвоем будем набирать в одной округе?

– Он должен ехать в Троки, а ты должен остаться здесь.

– А как ты узнал, где меня искать?

– Сам пан гетман о тебе расспрашивал, пока здешние люди, которые еще служат у нас в войске, не сказали ему, где тебя искать, так что я ехал наверняка. В большой ты у князя чести! Я сам слышал, как он говорил, что ничего не надеялся получить в наследство от воеводы русского, а получил самого великого рыцаря.

– Дай Бог ему, как воеводе русскому, и в войне удачи! Большая это для меня честь набирать войско, и я тотчас возьмусь за дело. Военного люду здесь много, было бы на что снарядить. Денег ты много привез?

– Вот приедешь в Пацунели, сочтешь.

– Так ты уже и в Пацунелях успел побывать? Берегись, красавиц там, как маку в огороде.

– Потому тебе там и понравилось!.. Погоди, у меня и письмо тебе есть от гетмана.

– Давай!

Харламп вынул письмо с малой радзивилловской печатью, Володыёвский вскрыл его и стал читать:

«Милостивый пан полковник Володыёвский!

Зная твое горячее желание послужить отчизне, посылаем тебе грамоту на набор войска, притом набирать надлежит не так, как всегда сие делается, а с особым усердием, ибо *periculum in mora*<sup>14</sup>. Коли хочешь порадовать нас, хоругвь твоя должна быть готова к походу в конце июля и не далее середины августа. Весьма и весьма заботит нас, где ты добудешь добрых коней, тем паче, что и денег посылаем тебе малую толику, ибо вымолить больше у пана подскарбия, и поныне нам неприятного, мы не могли. Половину денег отдай пану Кмицицу, коему пан Харламп также везет грамоту. Надеемся, что и пан Кмициц усердно нам послужит. Однако же до нашего слуха дошли вести об его своеволии в Упите; посему грамоту, ему предназначенную, лучше сам получи и сам реши, отдавать ему или нет. Буде сочтешь, что слишком много на нем *gravamina*<sup>15</sup>, кои позорят его, тогда не отдавай! Мы опасаемся, как бы наши недруги, пан подскарбий и пан воевода витебский, не подняли шум, что таковые поручения мы возлагаем на людей недостойных. Буде сочтешь, что ничего особо важного не случилось, вручи грамоту, и пусть Кмициц усердно службою постарается искупить свою вину и не является ни в какие суды, ибо он нам, гетманам, подсуден, и мы одни будем судить его, но по исполнению приказа. Наше поручение прими, милостивый пан, как знак доверия к тебе, твоему разуму и преданности.

*Януш Радзивилл,*

*князь Биржанский и Дубинковский воевода Виленский».*

– Очень пан гетман о лошадях беспокоится, – сказал Харламп, когда маленький рыцарь кончил читать письмо.

– Да, с лошадьми будет трудно, – подтвердил Володыёвский. – Здешней мелкой шляхты явится множество, стоит только кликнуть клич; но у нее одни жмудские мерины, для службы мало пригодные. Коли на то пошло, надо бы всем дать других лошадей.

– Хорошие это лошади, я их давно знаю, они очень ловки и выносливы.

---

<sup>14</sup> в промедлении опасность (*лат.*).

<sup>15</sup> тягостей, тяжестей (*лат.*).

– Да, – сказал Володыёвский, – но они малы, а народ здесь рослый. Как станут люди в строй на таких лошадках, можно подумать, хоругвь сидит верхом на собаках. Ведь вот беда какая!.. Я усердно возьмусь за работу, потому и сам спешу. Оставь же мне и грамоту для Кмицица, как велит пан гетман, я сам ее отдам. Пришла она в самое время.

– Почему?

– Да он тут вздумал татарские обычаи заводить, девушку умкнул. Жалоб на него подано, судебных повесток ему прислано, что волос на голове. И недели не прошло, как я с ним на саблях дрался.

– Ну, – сказал Харламп, – коли ты с ним дрался на саблях, так он теперь пластом лежит.

– Ему уже получше. Через недельку-другую встанет. Что там слышно *de publicis*?<sup>16</sup>

– Дела по-прежнему плохи. Пан подскарбий Госевский все с нашим князем воюет, а когда между гетманами нет мира, то и дело нейдет на лад. Мы уж как будто оправились, и коли будет только у нас согласие, я думаю, одолеем врагов. Даст Бог, на их же спинах въедем в их же державу. Во всем пан подскарбий виноват.

– А другие говорят, великий гетман.

– Это изменники. Так говорит воевода витебский, но ведь он и подскарбий давно снюхались.

– Воевода витебский достойный гражданин.

– Неужто и ты держишь сторону Сапег, неужто и ты против Радзивиллов?

– Я на стороне отчизны, и все мы должны стоять на ее стороне. В том-то и беда, что даже мы, солдаты, вместо того чтобы сражаться, делимся на станы. А что Сапега достойный гражданин, так я бы это и при самом князе сказал, хоть служу у него под началом.

– Люди достойные пробовали их примирить, да все впустую! – сказал Харламп. – Король теперь гонца за гонцом шлет к нашему князю. Толкуют, будто что-то новое затевается. Мы ждали ополчения с королем, да так и не дождались! Говорят, в другом месте оно понадобится.

– Верно, на Украине.

– Откуда мне знать? Только вот поручик Брохвич рассказал нам как-то, что он слышал собственными ушами. От короля к нашему гетману приехал Тизенгауз, и они, запершись, долго о чем-то беседовали, а о чем, Брохвич не мог разобрать; но когда выходили, он, говоря тебе, собственными ушами слышал, как пан гетман сказал: «От этого новая война может произойти». Никак мы не могли догадаться, что бы это могло значить.

– Брохвич, верно, ослышался! С кем же может быть новая война? Цесарь нынче больше к нам благоволит, нежели к нашим врагам; так оно и следует поддерживать политичный народ. Со шведом у нас перемирие, и срок кончится только через шесть лет, а татары на Украине нам помогают, чего они не стали бы делать против воли турка.

– Вот и мы ничего не могли понять!

– Да ничего и не было. Но у меня, слава Богу, новая работа. Стосковался уж я по войне.

– Так ты сам хочешь отвезти грамоту Кмицицу?

– Я ведь говорил тебе, что так пан гетман велит. По рыцарскому обычаю, должен я посетить Кмицица, а тут у меня и предлог будет благовидный. Вот отдам ли я грамоту – это дело другое; там погляжу, гетман оставил это на мое усмотрение.

– И мне это на руку, потому я спешу. У меня еще третья грамота, пану Станкевичу; а потом велено ехать в Кейданы, пушку получить, которую туда доставят, ну и в Биржи еще надо заехать, посмотреть, готов ли замок к обороне.

– И в Биржи?

– Да.

---

<sup>16</sup> о делах государственных (*лат.*).

– Странно мне это. Никаких новых побед враг не одерживал, стало быть, до Бирж, до курляндской границы, ему далеко. Вижу я, что и хоругви новые набирают, стало быть, будет кому отвоевывать и те земли, которые уже захватил враг. Курляндцы о войне с нами и не помышляют. Солдаты они добрые, да мало их, Радзивилл одной рукой их раздавит.

– И мне это странно, – сказал Харламп. – Тем паче, что князь велел спешить и, коли в замке что не так, тотчас дать знать князю Богуславу, чтобы тот прислал инженера Петерсона.

– Что бы это могло значить? Только бы усобица не началась. Избави Бог от такой беды! Уж если князь Богуслав берется за дело, черту тут будет потеха.

– Не говори так о нем. Он храбрый рыцарь!

– Я не спорю, что он храбр, но не поляк он, а больше немец или какой-нибудь француз. О Речи Посполитой он вовсе не думает, об одном только помышляет, как бы дом Радзивиллов вознести превыше всех, а прочие дома унижить. Он и в нашем гетмане, князе воеводе виленском, гордость разжигает, которой у того и так предостаточно, и распри с Сапегами и Госевским – это его рук дело.

– Я вижу, ты великий державный муж. Надо бы тебе, Михалек, жениться поскорее, а то зря такой ум пропадает.

Володыёвский пристально поглядел на товарища.

– Жениться? Гм, гм!

– Ясное дело! А может, ты волочиться ездишь, ишь разрядился, как на парад.

– Ах, оставь!

– Да ты признайся!..

– Всяк пусть ест свои арбузы, а про чужие нечего спрашивать, сам небось не один уж съел. Нечего сказать, время думать о женитьбе, когда надо хоругвь набирать.

– А к июлю будешь готов?

– К концу июля, хоть бы лошадей из-под земли пришлось добывать. Благодарение Богу, есть у меня теперь работа, а то пропал бы я с тоски.

Вести от гетмана и тяжелый труд, который ждал его впереди, принесли Володыёвскому большое облегчение, и пока они с Харлампом доехали до Пацунелей, он и думать забыл о неудаче, которая постигла его какой-нибудь час назад. Слух о грамоте тотчас разнесся по застянку. Шляхтичи сбежались узнать, правда ли, что получена грамота; когда Володыёвский подтвердил это, весть о наборе вызвала всеобщее одушевление. Все хотели вступить в хоругвь, лишь немногих смутило то, что отправляться в поход надо будет в конце июля, перед самой жатвой. Володыёвский разослал гонцов и в другие застянки, и в Упиту, и в знатные шляхетские дома. Вечером приехало человек двадцать Бутрымов, Стакьянов и Домашевичей.

Все они подбодряли друг друга, охотников находилось все больше, все грозились врагу и сулили себе победу. Одни только Бутрымы молчали, но их за это никто не осуждал, известно было, что они встанут как один человек. На следующий день поднялись все застянки. Не было уже разговоров ни о Кмицице, ни о панне Александре, все толковали только о походе. Володыёвский от души простил Оленьке отказ, утешал себя тем, что и отказ не последний, и любовь у него не последняя. А тем временем стал он подумывать о том, что же делать с грамотой Кмицица.

## Глава IX

Для Володыёвского началась пора тяжких трудов, рассылки писем, разъездов. На следующей же неделе он перебрался в Улиту и начал там вербовать людей. Шляхта к нему валом валила, и побогаче и победней, потому что снискал он себе громкую славу. Но особенно охотно шли к нему лауданцы, для которых надо было добывать лошадей. Кипел как в котле Володыёвский, но был он расторопен, трудов не жалел, и дело у него шло на лад. Тогда же посетил он в Любиче Кмицица, который успел уже немного поправиться, и хотя не вставал еще с постели, но ясно было, что выздоровеет. Видно, сабля у Володыёвского была острая, но рука легкая.

Кмициц тотчас признал гостя и при виде его побледнел. Рука его невольно потянулась к сабле, висевшей в изголовье, однако он тут же опомнился и, увидев на лице гостя улыбку, протянул ему исхудавшую руку и сказал:

– Спасибо, милостивый пан, за посещение. Учтивость, достойная такого кавалера, как ты.

– Я приехал спросить тебя, милостивый пан, не затаил ли ты в душе обиды на меня? – спросил пан Михал.

– Обиды я не затаил, потому не кто-нибудь победил меня, а первейший рубака. Насилу выхворался!

– А как теперь твое здоровье, милостивый пан?

– Тебе, верно, то удивительно, что я из твоих рук живым вышел? Я и сам признаюсь, что не легкое было это дело.

Тут Кмициц улыбнулся.

– Впрочем, еще не все потеряно. Можешь кончить меня, когда захочешь!

– А я не за тем сюда приехал...

– Ты либо дьявол, либо талисманом владеешь. Видит Бог, не до похвальбы мне сейчас, вроде с того света воротился, но до встречи с тобой я всегда думал: коли не первый я рубака на всю Речь Посполитую, так второй. А меж тем слыхано ли дело! Да, когда бы ты захотел, я бы не отразил и первого твоего удара. Скажи мне, где ты так обучился?

– И способности были природные, – ответил пан Михал, – да и отец сызмальства приучал, не раз он говаривал мне: «Неказист ты уродился, коли не станут люди тебя бояться, так будут над тобою смеяться». Ну, а доучился я уж в хоругви, когда служил у воеводы русского. Были там рыцари, которые смело могли выйти против меня.

– Неужто были такие?

– Как не быть, были. Пан Подбипятка, литвин, родовитый шляхтич, он в Збараже сложил голову, – упокой, Господи, его душу! Такой он был непомерной силы, что от него нельзя было прикрыться: он и прикрытие проткнет, и тебя проколет. Потом еще Скшетуский, сердечный друг мой и наперсник, ты о нем, наверно, слышал.

– Как же, как же! Это ведь он вышел из Збаража и прорвался сквозь толпу казаков. Кто о нем не слышал!.. Так ты вот из каких?! И в Збараже был?.. Хвала и честь тебе! Погоди-ка!.. А ведь я и о тебе слышал у виленского воеводы. Тебя ведь Михалом звать?

– Да, я Ежи Михал, но святой Ежи только огненного змея зарубил, а Михал предводитель всего небесного воинства и столько одержал побед над легионами бесов, что я предпочитаю иметь его своим покровителем.

– Что верно, то верно, далеко Ежи до Михала. Так это ты тот самый Володыёвский, о котором говорили, что он зарубил Богуна?

– Я самый.

– Ну, от таковского не обидно получить по башке. Дай-то Бог, чтобы мы стали друзьями. Правда, ты меня изменником назвал, но тут ты ошибся.

При этих словах Кмициц поморщился так, точно у него снова заныла рана.

– Каюсь, ошибся, – ответил Володыёвский. – Но не от тебя узнаю я, что ты не изменник, люди твои мне это сказали. Знай же, иначе я бы к тебе не приехал.

– Ну и языки же чесали тут, ну и чесали! – с горечью произнес Кмициц. – Будь что будет. Каюсь, не один грех на моей совести, но и люди здешние худо меня приняли.

– Ты больше всего повредил себе тем, что спалил Волмонтовичи да увез панну Биллевич.

– Вот они и жмут меня жалобами. Лежат уж у меня повестки. Не дадут мне, больному, поправиться. Это верно, что я спалил Волмонтовичи и людей там порубил; но Бог мне судья, коли сделал я это по самовольству. В ту самую ночь, перед пожаром, я дал себе обет: со всеми жить в мире, расположить к себе сермяжников, даже в Упите ублажить сиволапых, потому там я тоже очень насвоевольничал. Воротился домой, и что же вижу? Товарищи мои, как волы, зарезаны, лежат под стеной! Как узнал я, что все это Бутрымы сотворили, бес в меня вселился, жестоко я им отомстил. Ты не поверишь, если я скажу тебе, за что их зарезали. Я сам дознался об этом от одного из Бутрымов, которого в лесу поймал: их за то зарезали, что они в корчме хотели поплясать с шляхтянками! Кто бы не стал мстить за такое?

– Милостивый пан, – воскликнул Володыёвский, – это верно, что с твоими товарищами жестоко расправились, но шляхта ли их убила? Нет! Убила их та недобрая слава, которую они привезли с собою, – ведь честных солдат никто не стал бы убивать, если бы им вздумалось пуститься в пляс!

– Бедняги! – говорил Кмициц, следуя за ходом своих мыслей. – Когда я лежал здесь в горячке, они каждый вечер входили вон в ту дверь, из того покоя. Как наяву, видел я их у своей постели, синих, изрубленных. «Ендрусь, – стонали они, – дай на службу за упокой души усопших, ибо тяжкие терпим мы муки!» Говорю тебе, у меня волосы встали дыбом, в доме от них даже серой пахло... На службу я уж дал, только бы это помогло им!

На минуту воцарилось молчание.

– А теперь про увоз, – продолжал Кмициц. – Никто тебе не мог сказать, что она мне жизнь спасла, когда за мною гналась шляхта, но потом велела пойти прочь и не показываться ей на глаза. Что же мне еще оставалось?!

– Все равно татарский это обычай.

– Ты, верно, не знаешь, что такое любовь и до какого отчаяния может дойти человек, когда потеряет то, что любил больше всего на свете.

– Это я-то не знаю, что такое любовь? – в негодовании воскликнул Володыёвский. – Да с тех пор, как я начал носить саблю, я всегда был влюблен! Правда, *subiectum*<sup>17</sup> менялся, ибо никогда мне не платили взаимностью. Когда б не это, на свете не было б верней Троила, чем я.

– Что это за любовь, коли *subiectum* менялся? – сказал Кмициц.

– Тогда я расскажу тебе одну историю, которой сам был свидетелем. После того как началась война с Хмельницким, Богун, который теперь, после смерти, пользуется у казаков Хмельницкого самым большим почетом, похитил у Скшетуского девушку, которую тот любил больше жизни, княжну Курцевич. Вот это была любовь! Все войско плакало, глядя, как убивается Скшетуский. Лет двадцать с небольшим было ему, а борода у него вся побелела. А знаешь ли ты, что он сделал?

– Откуда же мне знать?

– В годину войны, когда отчизна была унижена и грозный Хмельницкий праздновал победу, он и не подумал пойти на поиски девушки. Страдания свои принес на алтарь Богу и под начальством Иеремии сражался во всех битвах, а под Збаражем покрыл себя такой великой славою, что и теперь имя его все повторяют с уважением. Сравни же, милостивый пан, его поступок и свой, и ты поймешь разницу.

Кмициц молчал, покусывая ус.

---

<sup>17</sup> предмет (лат.).

– И Бог вознаградил Скшетуского, – продолжал Володыёвский, – вернул ему девушку. Сразу же после битвы под Збаражем они поженились и уже троих детей родили, хотя он не перестал служить. А ты, чиня усобицу, помогал тем самым врагу и сам чуть не лишился жизни, не говоря уж о том, что дня два назад мог навсегда потерять невесту.

– Как так? – садясь на постели, воскликнул Кмициц. – Что с ней случилось?

– Ничего с ней не случилось, только нашелся кавалер, который просил у нее руки и желал взять ее в жены.

Кмициц страшно побледнел, запавшие глаза его сверкнули гневом. Он хотел встать, даже на минуту сорвался с постели и крикнул:

– Кто он, этот вражий сын? Христом-Богом молю, говори!

– Я! – ответил Володыёвский.

– Ты? Ты? – в изумлении спрашивал Кмициц. – Как же так?

– Да вот так.

– Предатель! Это тебе так не пройдет!.. И она – Христом-Богом молю, говори все! – она приняла твоё предложение?

– Наотрез отказала, не раздумывая.

На минуту воцарилось молчание. Кмициц тяжело дышал, впившись глазами в Володыёвского.

– Почему ты называешь меня предателем? – спросил тот у него. – Что я тебе, брат или сват? Что я, обещание нарушил, данное тебе? Я победил тебя в равном поединке и мог поступать, как мне вздумается.

– По-старому один из нас заплатил бы за это кровью. Не зарубил бы я тебя, так из ружья бы застрелил, и пусть бы меня потом черти взяли.

– Разве что из ружья застрелил бы, потому на поединок, не откажи она мне, я бы в другой раз с тобою не вышел. Зачем было бы мне драться? А знаешь, почему она мне отказала?

– Почему? – как эхо повторил Кмициц.

– Потому что любит тебя.

Это было уж слишком для слабых сил больного. Голова Кмицица упала на подушки, лоб покрылся потом, некоторое время юноша лежал в молчании.

– Страх как худо мне, – сказал он через минуту. – Откуда же ты знаешь, что она... любит меня?

– Глаза у меня есть, вот я и гляжу, ум у меня есть, вот я и смекаю, а уж после отказа в голове у меня все проявилось. Первое: когда после поединка пришел я сказать ей, что она свободна, что я зарубил тебя, она обмерла и, вместо того чтобы меня поблагодарить, вовсе пренебрегла мною; второе: когда несли тебя сюда Домашевичи, она, словно как мать, твою голову поддерживала; третье: когда сделал я ей предложение, она так ответила мне, будто оплеуху дала. Коли этого тебе мало, стало быть, ты просто упрям и неразумен...

– Если только это правда, – слабым голосом проговорил Кмициц, – то... всякими мазями рану мне натирают, но нет лучше бальзама, чем твои слова.

– Так неужели предатель дает тебе такой бальзам?

– Ты уж прости меня. Это такое счастье! В голове у меня не может уложиться, что она все еще меня не отвергает.

– Я сказал, что она тебя любит, а вовсе не сказал, что она тебя не отвергает. Это дело совсем другое.

– А отвергнет она меня, так я голову себе разобью об эту стенку. Не могу я иначе.

– А мог бы, когда бы всей душой хотел искупить свою вину. Теперь война, ты можешь пойти в поход, можешь верой и правдой послужить отчизне, прославиться своей храбростью, вернуть свое доброе имя. Кто из нас без греха? У кого нет грехов на совести? У всех они есть. Но всем открыта дорога к раскаянию и исправлению. Своевольничал ты – так теперь избегай

своеволия; против отчизны грешил, затевая усобицы во время войны, – так теперь спасай ее; людям обиды чинил – так теперь вознагради их... Вот путь, который легче и надежней, чем разбивать себе голову.

Кмициц пристально смотрел на Володыёвского.

– Ты как сердечный друг говоришь со мною, – сказал он.

– Не друг я тебе, но, по правде сказать, и не недруг, а девушку, хоть она мне и отказала, мне все-таки жаль, потому что на прощанье я зря наговорил ей много нехорошего. От отказа я не повешусь, мне не впервой, а вот обиду таить я не привык. Коли я тебя на добрый путь наставлю, так это будет и моя заслуга перед отчизной, – ведь ты хороший и испытанный солдат.

– А не поздно ли мне становиться на добрый путь? Столько ждет меня повесток! С постели надо прямо являться в суд... Разве что бежать отсюда, а этого мне не хочется делать. Столько повесток! И что ни дело, то верный приговор и бесчестие.

– Вот у меня от этого лекарство! – сказал Володыёвский, вынимая грамоту.

– Грамота на набор войска? – воскликнул Кмициц. – Кому?

– Тебе. И да будет тебе известно, что отныне ты не должен являться ни в какие суды, потому что состоишь на воинской службе и подсуден гетману. Послушай же, что пишет мне князь воевода.

Володыёвский прочитал Кмицицу письмо Радзивилла, вздохнул, встопорщил усики и сказал:

– Как видишь, все в моей воле: могу отдать тебе грамоту, могу ее спрятать.

Неуверенность, тревога и надежда изобразились на лице Кмицица.

– И что же ты сделаешь? – спросил он тихим голосом.

– Вручу тебе грамоту, – ответил Володыёвский.

Кмициц ничего сперва не сказал, только голову опустил на подушки и некоторое время смотрел в потолок. Вдруг глаза его увлажнились, и слезы, неведомые гости на этих глазах, повисли на ресницах.

– Пусть же меня к конским хвостам привяжут и размыкают по полю, – сказал он наконец, – пусть с меня шкуру сдерут, если я видел человека более достойного, чем ты, милостивый пан. Если ты из-за меня получил отказ, если Оленька, как ты говоришь, по-прежнему меня любит, так ведь другой тем злее стал бы мстить, тем злее топить... А ты руку мне протянул, воскресил меня!

– Не хочу я ради приватных дел жертвовать милой отчизной, которой ты еще можешь оказать немалые услуги. Должен, однако же, сказать тебе, что, если бы ты взял казаков у Трубецкого или Хованского, я бы грамоты тебе не отдал. Счастье, что ты этого не сделал!

– За образец, за образец должны принять тебя другие! – ответил Кмициц. – Дай же мне руку. Даст Бог, я отплачу тебе за это добром, должник я твой до гроба!

– Вот и отлично! Но об этом потом! А теперь... голову выше! Не надо тебе под суд идти, а надо за работу браться. Будут у тебя заслуги перед отчизной, так и шляхта тебя простит, которой честь отчизны дорога. Ты еще можешь искупить свою вину, вернуть свое доброе имя и жить в сиянии славы, как в лучах солнца, а я уж знаю одну девушку, которая подумает, как наградить тебя при жизни.

– Э! – в восторге воскликнул Кмициц. – Что это я буду в постели валяться, когда враг попирает отчизну! Эй, есть там кто? Сюда! Слуга, подавай сапоги!.. Мигом! Разрази меня гром, если я буду еще нежиться в этих пуховиках!

Услышав эти слова, Володыёвский довольно улыбнулся и сказал:

– Дух у тебя сильнее тела, телом ты еще слаб.

И он стал прощаться, но Кмициц не отпускал его, благодарил, хотел угостить вином.

Совсем уже вечерело, когда маленький рыцарь покинул Любич и направился в Водокты.



– Лучшей наградой ей будет за мои злые слова, – говорил он сам с собою, – если я скажу ей, что Кмициц не только на пути к выздоровлению, но и на пути к исправлению. Не совсем он еще потерянный человек, только уж очень горячая голова. Страх как я ее этим обрадую, думаю, теперь она лучше меня примет, чем тогда, когда я предлагал ей руку и сердце. – Тут добрейший пан Михал вздохнул и пробормотал: – Кабы знать хоть, есть ли она на свете, моя суженая?

Погруженный в такие размышления, доехал он до Водоктов. Косматый жмудин выбежал к воротам, однако не спешил отворять.

– Панны дома нет, – сказал он только.

– Уехала?

– Да, уехала.

– Куда?

– Кто его знает?

– А когда воротится?

– Кто его знает?

– Да говори же ты по-человечески! Не говорила, когда воротится?

– Верно, вовсе уж не воротится, потому с телегами уехала и с узлами. Стало быть, далеко и надолго.

– Так? – пробормотал пан Михал. – Вот что я натворил!..

## Глава X

Когда теплые лучи солнца начинают прорываться сквозь пелену зимних облаков и на деревьях показываются первые побеги, а в сырых полях пробиваются наружу зеленые росточки, в людских сердцах просыпается обычно надежда. Но весна тысяча шестьсот пятьдесят пятого года не принесла обычного утешения удрученному войной народу Речи Посполитой. Вся восточная ее граница, от севера и до Дикого Поля на юге, как бы опоясалась огненной лентой, и весенние ливни не могли погасить пожар, напротив, огненная лента разливалась все шире и захватывала все больше земель. Кроме того, грозные знамения появились на небе, предвещая еще горшие бедствия. Из облаков, пронесившихся в небе, то и дело вырастали словно высокие башни, словно крепостные валы, которые затем рушились с грохотом. Гром гремел раскатом, когда земля еще была покрыта снегом, сосновые леса желтели, а ветви на деревьях скручивались, принимая странный, уродливый вид; звери и птицы погибали от неведомой болезни. Наконец и на солнце были замечены небывалые пятна в виде руки, держащей яблоко, пронзенного сердца и креста. Умы волновались все больше, и монахи терялись в догадках, что могут предвещать эти знамения. Странная тревога охватила все сердца.

Предсказывали новые войны, и вдруг Бог весть откуда возник зловеющий слух и, переходя из уст в уста, разнесся по городам и весям, будто близится нашествие шведов. Казалось, ничто не подтверждало этого слуха; ибо перемирие, заключенное с Швецией, сохраняло силу еще шесть лет, и все же об опасности войны говорили даже на сейме, который король Ян Казимир созвал девятнадцатого мая в Варшаве.

Все больше тревожных взоров обращалось к Великой Польше, на которую буря могла обрушиться в первую голову. Лещинский, воевода ленчицкий, и Нарушевич, польный писарь литовский, направились с посольством в Швецию; однако их отъезд не успокоил людей, а еще больше взбудоражил.

«Это посольство пахнет войной», — писал Януш Радзивилл.

— Если бы шведы не грозили нашествием, зачем было бы отправлять к ним посольство? — говорили другие. — Ведь совсем недавно из Стокгольма вернулся посол Каназиль; да, видно, ничего не сумел он сделать, коли вслед за ним сразу же послали столь важных сенаторов.

Люди рассудительные все еще не верили в возможность войны.

Речь Посполитая — твердили они — не дала шведам никакого повода для войны, и перемирие все еще сохраняет силу. Как можно попятить присягу, нарушить самые священные договоры и по-разбойничьи напасть на соседа, не подозревающего об опасности? К тому же Швеция еще помнит раны, нанесенные ей польской саблей под Кирхгольмом, Пуцком и Тшчяной! Во всей Европе не нашел Густав Адольф достойного противника, а пан Конецпольский смирял его несколько раз. Не станут шведы ставить на карту великую славу, завоеванную ими, и вступать в войну с противником, которого они никогда не могли одолеть на поле брани. Это верно, что Речь Посполитая истощена и ослаблена войною, однако одной только Пруссии и Великой Польши, которая в последних войнах совсем не пострадала, достаточно, чтобы прогнать за море этот голодный народ и оттеснить его к бесплодным скалам. Не бывает войне!

Люди беспокойные возражали на это, что еще до варшавского сейма сеймик в Гродно держал, по уговору короля, совет о защите великопольских рубежей и составил роспись податей и войск, чего он не стал бы делать, когда бы опасность не была близка.

Так надежда сменялась опасением и тяжелая неуверенность угнетала души людей, когда этому внезапно положил предел универсал генерального старосты великопольского Богуслава Лещинского, которым созывалось шляхетское ополчение познанского и калишского воеводств для защиты границ от грозящего стране шведского нашествия.

Сомнений больше не было. Клич: «Война!» – разнесся по всей Великой Польше и по всем землям Речи Посполитой.

Это была не просто война, а новая война. Хмельницкий, которому помогал Бутурлин, грозился на юге и на востоке, Хованский и Трубецкой – на севере и востоке, швед приближался с запада! Огненная лента обращалась в огненное кольцо.

Страна была подобна осажденному лагерю.

А в этом лагере недобрые творились дела. Один предатель, Радзеёвский, уже бежал во вражеский стан. Это он направлял врагов на готовую добычу, он указывал на слабые стороны, он должен был склонять к предательству гарнизоны. Сколько было, помимо того, неприязни и зависти, сколько было магнатов, враждовавших друг с другом или косо смотревших на короля за то, что он отказал им в чинах, и ради личных выгод готовых в любую минуту пожертвовать благом отчизны; сколько было иноверцев, стремившихся отпраздновать свое торжество пусть даже на могиле отчизны; но еще больше было своевольников и людей равнодушных и ленивых, которые любили только самих себя, свое богатство и свою праздную жизнь.

Однако богатая и еще не опустошенная войною Великая Польша не жалела денег на оборону. Города и шляхетские деревни выставили столько пехоты, сколько полагалось по росписи, и прежде чем шляхта самолично двинулась в стан, туда потянулись уже пестрые полки ратников под командой ротмистров, назначенных сеймиками из людей, искушенных в военном деле.

Станислав Дембинский вел познанских ратников; Владислав Влостовский – костянских, а Гольц, славный солдат и инженер, – валецких. У калишских мужиков булаву ротмистра держал Станислав Скшетуский, принадлежавший к семье храбрых воителей, брат Яна, знаменитого участника битвы под Збаражем. Кацпер Жихлинский вел конинских мельников и солтысов. Ратников из Пыздров возглавлял Станислав Ярачевский, который провел молодые годы в иноземных войсках; ратников из Кцини – Петр Скорашевский, а из Накла – Квилецкий. Однако никто из них в военном опыте не мог сравниться с Владиславом Скорашевским, к голосу которого прислушивались даже сам командующий великопольским войском и воеводы.

В трех местах: под Пилой, Уйстем и Веленем заняли ротмистры рубежи по реке Нотец и стали ждать приближения шляхты, созванной в ополчение. С утра до вечера пехотинцы рыли шанцы, все время оглядываясь, не едет ли долгожданная конница.

Тем временем прибыл первый вельможа, пан Анджей Грудзинский, калишский воевода, и со всей своей большой свитой в белых и голубых мундирах остановился в доме бурмистра. Он думал, что его тотчас окружит калишская шляхта; однако никто не явился, и он послал тогда за ротмистром, Станиславом Скшетуским, который следил за рытьем шанцев на берегу реки.

– А где же мои люди? – спросил он после первых приветствий у ротмистра, которого знал с малых лет.

– Какие люди? – спросил Скшетуский.

– А калишское ополчение?

Полупрезрительная, полустрадальческая улыбка скользнула по темному лицу солдата.

– Ясновельможный воевода, – сказал он, – сейчас время стрижки овец, а за плохо промытую шерсть в Гданьске платить не станут. Всякий шляхтич следит теперь у пруда за мойкой шерсти или стоит у весов, справедливо полагая, что шведы не убегут.

– Как так? – смутился воевода. – Еще никого нет?

– Ни живой души, кроме ратников... А там, смотришь, жатва на носу. Добрый хозяин в такую пору из дому не уезжает.

– Что ты мне, пан, толкуешь?

– А шведы не убегут, они только подступят поближе, – повторил ротмистр.

Рябое лицо воеводы вдруг покраснело.

– Что мне до шведов? Мне перед другими воеводами будет стыдно, если я останусь здесь один как перст!

Скшетуский снова улыбнулся.

– Позволь заметить, ясновельможный воевода, – возразил он, – что главное все-таки шведы, а стыд уж потом. Да и какой там стыд, когда нет еще не только калишской, но и никакой другой шляхты.

– С ума они, что ли, посходили! – воскликнул Грудзинский.

– Нет, они только уверены в том, что коли им не захочется к шведам, так шведы не замедлят явиться к ним.

– Погоди, пан! – сказал воевода.

Он хлопнул в ладоши и, когда явился слуга, велел подать чернила, бумагу и перья и уселся писать.

По прошествии получаса он посыпал лист бумаги песком, стряхнул песок и сказал:

– Я посылаю еще одно воззвание, чтобы ополченцы явились *pro die 27 praesentis*<sup>18</sup>, не позднее, думаю, что в этот последний срок они *non deesse patriae*<sup>19</sup>. А теперь скажи мне, пан, есть ли вести о неприятеле?

– Есть. Виттенберг обучает свои войска на лугах под Дамой.

– Много ли их у него?

– Одни говорят, семнадцать тысяч, другие – что больше.

– Гм! Нас и столько не наберется. Как ты думаешь, сможем мы дать им отпор?

– Коли шляхта не явится, об этом нечего и думать.

– Как не явиться – явится! Дело известное, ополченцы никогда не торопятся. Ну, а вместе с шляхтой справимся?

– Нет, не справимся, – холодно ответил Скшетуский. – Ясновельможный воевода, у нас ведь совсем нет солдат.

– Как так нет солдат?

– Ты, ясновельможный воевода, так же, как и я, знаешь, что все войско на Украине. Нам оттуда и двух хоругвей не прислали, хотя Богу одному ведомо, где гроза опасней.

– А ратники, а шляхта?

– На двадцать мужиков едва ли один нюхал порох, а на десять едва ли один умеет держать ружье. Из них получатся добрые солдаты, но только после первой войны, не теперь. Что ж до шляхты, то спроси, ясновельможный воевода, любого, кто хоть немного знаком с военным делом, может ли шляхетское ополчение устоять против регулярных войск, да еще таких, как шведские, ветеранов всей Лютеровой войны, привыкших к победам.

– Так вот ты как превозносишь шведов?

– Не превозношу я их! Будь тут у нас тысяч пятнадцать таких солдат, какие были под Збаражем, постоянного войска да конницы, я бы их не боялся, а с нашими дай Бог хоть что-нибудь сделать.

Воевода положил руки на колени и в упор поглядел на Скшетуского, точно хотел прочесть в его глазах какую-то тайную мысль.

– Тогда зачем же мы пришли сюда? Уж не думаешь ли ты, что лучше было бы сдаться?

Скшетуский вспыхнул при этих словах.

– Коли я такое помыслил, вели, ясновельможный воевода, на кол меня посадить. Ты спрашиваешь, верю ли я в победу, я отвечаю как солдат: не верю! А зачем мы сюда пришли, это дело другое. Как гражданин, я отвечаю: чтобы нанести врагу первый удар, чтобы задержать его и позволить снарядиться и выступить другим воеводствам, чтобы нашими телами до той поры сдерживать натиск, покуда все мы не поляжем до последнего человека!

---

<sup>18</sup> к 27-му числу текущего месяца (*лат.*).

<sup>19</sup> не оставят отчизны (*лат.*). Подразумевается: в беде.

– Похвальное намерение, – холодно возразил воевода, – но вам, солдатам, легче говорить о смерти, нежели нам, кому придется ответ держать за море напрасно пролитой шляхетской крови.

– На то у шляхты и кровь, чтоб проливать ее.

– Так-то оно так! Все мы готовы голову сложить, это ведь самое легкое дело. Но долг тех, кто по воле провидения поставлен начальником, не одной только славы искать, но и о пользе дела думать. Это верно, что война уже как будто началась; но ведь Карл Густав родич нашему королю и должен об этом помнить. Потому и надлежит попытаться вступить в переговоры, ибо словом можно иной раз добиться большего, нежели оружием.

– Не мое это дело! – сухо ответил пан Станислав.

Воевода, видно, то же подумал, потому что кивнул головой и простился с ротмистром.

Однако Скшетуский лишь наполовину был прав, когда говорил о медлительности шляхты, призванной в ряды ополчения. Правда, до окончания стрижки овец в стан между Пилой и Уйстем мало кто явился, но к двадцать седьмому июня, то есть к тому сроку, который был указан в новом воззвании, съехалось довольно много шляхты.

Погода давно уже стояла ясная, сухая, и тучи пыли поднимались каждый день, возвещая о приближении все новых и новых отрядов. Шляхта ехала шумно, верхами и на колесах, с целой оравой слуг, с запасами провианта, с повозками и всякими иными удобствами и с таким множеством копий, ружей, мушкетонов, сабель, тяжелых мечей и забытых уже к тому времени гусарских молотков, служивших для того, чтобы разбивать доспехи, что нередко какой-нибудь шляхтич был увешан оружием, которого с избытком хватило бы на троих. По этому вооружению ветераны тотчас узнавали людей неопытных, не нюхавших пороха.

Из всей шляхты, жившей на обширных пространствах Речи Посполитой, великопольская была наименее воинственной. Татары, турки и казаки никогда не попирали этих мест, где со времен крестоносцев почти совсем забыли, что значит воевать на родной земле. Кто из великопольской шляхты ощущал в себе воинственный пыл, тот вступал в коронные войска и сражался так же доблестно, как и прочие шляхтичи, а кто предпочитал отсиживаться дома, превращался в заправского домоседа, который любил и богатство приумножить, и повеселиться, – в ретивого хозяина, который заваливал шерстью и особенно хлебом рынки прусских городов.

Поэтому теперь, когда нашествие шведов оторвало великопольскую шляхту от мирных трудов, ей казалось, что, сколько ни возьми на войну оружия, запасов и слуг для защиты тела и имущества господина, – все будет мало.

Странные это были солдаты, и ротмистры никак не могли с ними сладить. Один, к примеру, становился в строй с копьём длиною в девятнадцать футов и в панцире, но зато в соломенной шляпе «для холодка», другой во время ученья жаловался на жару, этот зевал, ел или пил, тот звал слугу, и все, не видя в этом ничего особенного, так галдели в строю, что никто не слышал команды офицеров. Трудно было приучить шляхетскую братию к дисциплине, очень она обижалась, полагая, что дисциплина противна ее гражданскому достоинству. Правда, в строю читали «артикулы», но их никто и слушать не хотел.

Цепями на ногах этого войска было множество повозок, запасных и упряжных лошадей, скота, предназначенного для довольствия, и особенно слуг, которые стерегли шатры, снаряжение, пшено и прочую крупу и снесь и по малейшему поводу затевали ссоры и драки.

Навстречу такому вот войску со стороны Щецина и пойм реки Одры приближался, ведя семнадцать тысяч ветеранов, скованных железной дисциплиной, старый военачальник, Арвид Виттенберг, который молодость провел на Тридцатилетней войне.

С одной стороны стоял беспорядочный польский стан, похожий на ярмарочное сборище, шумный, недовольный, с неумолчными спорами и разговорами о приказах начальников, состоявший из степенных мужичков, которые наспех были превращены в пехотинцев, и господ, которых оторвали прямо от стрижки овец. С другой стороны двигался лес копий и мушкетных

дул, шли маршем грозные, безмолвные колонны, которые, по мановению руки военачальника, с регулярностью машин разворачивались в линии и полукруги, смыкались в клинья и треугольники, ловкие, как меч в руке фехтовальщика, шли настоящие воители, холодные, невозмутимые, достигшие высшего мастерства в военном своем ремесле. Кто же из людей опытных мог сомневаться в том, чем кончится встреча и на чьей стороне будет победа?

Тем не менее в стан съезжалось все больше шляхты, а еще раньше стали прибывать вельможи из Великой Польши и других провинций с состоявшими при них войсками и слугами. Вскоре после воеводы Грудзинского в Пилу явился могущественный воевода познанский Кшиштоф Опалинский. Три сотни гайдуков, наряженных в желтые с красным мундиры и вооруженных мушкетами, выступало перед каретой воеводы; придворные и шляхта толпою окружали его высокую особу; за ними в боевом строю следовал отряд рейтар в таких же мундирах, как и гайдуки; а сам воевода ехал в карете, имея при своей особе шута, Стаха Острожку, который обязан был увеселять в дороге своего угрюмого господина.

Приезд столь славного вельможи ободрил и воодушевил войско, ибо всем тем, кто взирал на царственное величие воеводы, на гордый его лик с высоким, как свод, челом и умными, суровыми очами, на всю его сенаторскую осанку, и в голову не могло прийти, что такого властителя может постигнуть какая-нибудь неудача.

Людям, привыкшим почитать чины и лица, казалось, что даже шведы не посмеют поднять святотатственную руку на такого магната. Те, у кого в груди билось робкое сердце, под его крылом сразу почувствовали себя в безопасности. Воеводу приветствовали горячо и радостно; клики раздавались вдоль всей улицы, по которой кортеж медленно подвигался к дому бурмистра; головы склонялись перед воеводой, который был виден как на ладони сквозь стекла раззолоченной кареты. Вместе с воеводой на поклоны отвечал и Острожка, притом с таким достоинством и важностью, точно толпы народа кланялись ему одному.

Не успела улечься пыль после приезда познанского воеводы, как прискакали гонцы с вестью, что едет его двоюродный брат, подлясский воевода Петр Опалинский со своим шурином, Якубом Роздражевским, воеводой иновроцлавским. Кроме придворных и слуг, они привели по полторы сотни вооруженных людей. А потом дня не проходило, чтобы не прибыл кто-нибудь из вельмож: приехал Сендзивой Чарнковский, шурином Кшиштофа Опалинского, каштелян познанский, затем Станислав Погожельский, каштелян калишский, Максимилиан Мясковский, каштелян кшивинский, и Павел Гембицкий, каштелян мендзижецкий. Местечко переполнили толпы людей, так что негде было разместить даже придворных. Прилегающие луга запестрели шатрами ополчения. Можно было подумать, что в Пилу со всей Речи Посполитой слетелись разноперые птицы.

Мелькали красные, зеленые, голубые, синие, белые кафтаны и полукафтаны, жупаны и кунтуши, ибо, не говоря уж о шляхетском ополчении, в котором каждый шляхтич носил другое платье, не говоря о придворных и слугах, даже ратники от каждого повета были одеты в мундиры разных цветов.

Явились и маркитанты, которые не могли разместиться на рынке и построили палатки за местечком. В них продавалось военное снаряжение – от мундиров до оружия – и продовольствие. Одни харчевни дымили день и ночь, разнося запах бигоса, пшенной каши, жареного мяса, в других продавались напитки. Толпы шляхтичей, вооруженных не только мечами, но и ложками, толкались перед ними; они ели, пили и вели разговоры то о неприятеле, которого еще не было видно, то о подъезжающих вельможах, на чей счет отпускалось немало соленых шуток.

Среди кучек шляхты с самым невинным видом прохаживался Острожка в платье, сшитом из пестрых лоскутьев, и со скипетром, украшенным бубенцами. Везде, где он только показывался, его тотчас окружала толпа, а он, подливая масла в огонь, помогал высмеивать вельмож и задавал загадки одна другой ядовитей, так что шляхта со смеху покатывалась.

В них Острожка никому не давал спуска.

Однажды в полдень на рынок вышел сам воевода познанский и, вмешавшись в толпу, стал благосклонно беседовать то с отдельными шляхтичами, то сразу со всей толпою, осторожно сетуя на короля за то, что он, несмотря на приближение неприятеля, не прислал ни одной регулярной хоругви.

– Никто о нас не думает, – говорил он, – оставили нас без подмоги. В Варшаве толкуют, что на Украине и так слишком мало войска и что гетманы не могут справиться с Хмельницким. Что поделаешь! Видно, кое-кому Украина милей, чем Великая Польша... В немилости мы с вами, в немилости! Отдали нас на съедение!

– А кто в этом повинен? – спрашивал Шлихтинг, веховский судья.

– Кто повинен во всех бедах Речи Посполитой? – воскликнул воевода. – Да уж конечно, не мы, братья шляхтичи, мы ведь грудью ее защищаем.

Шляхтичам, которые слушали его, очень польстило, что «граф бнинский и опаленицкий» почитает себя за равню им и называет «братьями».

– Ясновельможный воевода, – тотчас подхватил Кошуцкий, – побольше бы его величеству таких советников, как твоя милость, уж, верно бы, нас не бросили тогда на съедение врагу. Но, похоже, там правят те, кто гнет спину.

– Спасибо, брат, на добром слове! Во всем повинен тот, кто слушает злого совета. Наши вольности кое-кому как бельмо на глазу. Чем больше погибнет шляхты, тем легче будет ввести *absolutum dominium*.<sup>20</sup>

– Неужто же нам ради того погибать, чтобы дети наши стонали в неволе?

Воевода ничего не ответил, а изумленная шляхта переглянулась.

– Так вот оно дело какое? – раздались многочисленные голоса. – Так это нас сюда на убой послали? Теперь мы поняли! Не сегодня начались эти разговоры об *absolutum dominium*! Но коли на то пошло, так и мы сумеем позаботиться о наших головах!

– И о наших детях!

– И о нашем имении, которое враг будет опустошать *igne et ferro*.<sup>21</sup>

Воевода молчал.

Весьма странным способом воодушевлял своих солдат этот военачальник.

– Король всему виною! – кричало все больше голосов.

– А вы помните историю Яна Ольбрахта? – спросил воевода.

– «При короле Ольбрахте погибла вся шляхта!» Измена, братья!

– Король, король изменник! – крикнул чей-то смелый голос.

Воевода молчал.

Но тут Острожка, стоявший рядом с ним, захлопал себя по ляжкам и так пронзительно запел петухом, что все взоры обратились на него.

– Братья шляхтичи, голубчики! Послушайте мою загадку!

Шляхтичи, переменчивые, как погода в марте, мгновенно забыли о своем негодовании; сгорая от любопытства, они хотели теперь одного – поскорее услышать новую остроту шута.

– Слушаем! Слушаем! – раздались голоса.

Шут, как обезьяна, заморгал глазами и стал читать пискливым голосом:

Получил он от брата жену и венец,  
Только тут же пришел нашей славе конец.  
Он подканцлера выгнал и нынче, ей-ей,  
Сам подканцлером стал при... супруге своей.

---

<sup>20</sup> абсолютную власть (*лат.*).

<sup>21</sup> огнем и мечом (*лат.*).

– Король, король! Клянусь богом, Ян Казимир! – раздались голоса со всех сторон. И толпа разразилась громовым хохотом.

– А чтоб его, как здорово сочинил! – кричала шляхта.

Воевода смеялся вместе со всеми; но когда толпа поутихла, сказал глубокомысленно:

– И за такое дело мы должны теперь кровь проливать, сложить свои головы!.. Вот до чего дошло! На тебе, шут, дукат за добрую загадку!

– Кшиштофек! Кших, дорогой мой! – ответил Острожка. – Почему ты нападаешь на других за то, что они держат скоморохов, а сам не только держишь меня, но еще и за загадки приплачиваешь? Дай же мне еще дукат, я загадаю тебе другую загадку.

– Такую же хорошую?

– Только подлинней. Дай сперва дукат.

– Бери!

Шут снова захлопал руками, как крыльями, снова запел петухом и крикнул:

– Братья шляхтичи, послушайте, кто это такой:

Катоном он прослыл, оружием взял сатиру,  
Не саблю, а перо он предпочел и лиру;  
Но обошел король сатирика чинами,  
И освистал Катон *Rempublicam*<sup>22</sup> стихами.

Любил бы саблю он, и были б меньше беды,  
Сатир его пустых не побоятся шведы.  
Да он бы сам небось охотно им проданся,  
Как пан, чей важный чин он получить старался.

Все присутствующие тотчас отгадали и эту загадку. Два-три сдавленных смешка раздалось в толпе, после чего воцарилось глубокое молчание.

Воевода побагровел и совсем смешался, ибо все взоры были устремлены на него, а шут все поглядывал на шляхтичей, а потом спросил:

– Так как же, дорогие мои, никто из вас не может отгадать, кто это такой?

Немое молчание было ответом, тогда Острожка с пренахальным видом обратился к воеводе:

– Неужто и ты, Кших, не знаешь, о каком бездельнике был тут разговор? Не знаешь? Тогда плати дукат!

– Бери! – ответил воевода.

– Бог тебя вознаградит!.. Скажи, Кших, а ты не старался получить подканцлерство после бегства Радзеёвского?

– Не время шутки шутить! – отрезал Кшиштоф Опалинский.

И, сняв шапку, поклонился шляхте:

– Будьте здоровы! Мне пора на военный совет.

– Ты, Кших, хотел сказать: на семейный совет, – поправил его Острожка. – Вы ведь там все родичи, и совет будете держать о том, как бы дать отсюда тягу. – После этого он повернулся к шляхте и, сняв шапку, поклонился, точь-в-точь как воевода: – А вам, – сказал он, – только этого и надо!

И они ушли вдвоем, но не успели сделать и двух десятков шагов, как поднялся оглушительный хохот; он звучал в ушах воеводы до тех пор, пока не потонул в общем шуме стана.

---

<sup>22</sup> Республику (лат.). – то есть Речь Посполитую.



Военный совет и впрямь состоялся, и председательствовал на нем воевода познанский. Это был небывалый совет! В нем принимали участие одни только вельможи, не знавшие военного дела. Они были великопольскими магнатами и не следовали, да и не могли следовать примеру литовских или украинских «самовластителей», которые, как саламандры, жили в непрестанном огне.

Там что ни воевода или каштелян, то был военачальник, у которого никогда не пропадали на теле красные следы от кольчуги, который молодость проводил на востоке, в степях и лесах, в станах и лагерях, среди битв, засад и преследований. Здесь же были одни вельможи, занимавшие высокие посты, и хотя во время войн они тоже выступали в походы с шляхетским ополчением, однако никогда не бывали военачальниками. Мир ненарушимый охладил боевой пыл и у потомков тех рыцарей, перед которыми некогда не могли устоять железные когорты крестоносцев, превратил их в державных мужей, ученых, сочинителей. Только суровая шведская школа научила их тому, что они успели забыть.

А пока вельможи, собравшиеся на совет, неуверенно переглядывались и, боясь заговорить первыми, ждали, что скажет «Агамемнон», воевода познанский.

«Агамемнон» же ровно ничего не смыслил в военном деле, и речь свою снова начал с жалоб на неблагодарность и бездействие короля, который всю Великую Польшу и их самих с легким сердцем отдал на растерзание врагу. И как же был красноречив воевода, какую величественную принял осанку, достойную, право же, римского сенатора: голову он держал высоко, черные глаза его метали молнии, уста – громы, а седеющая борода тряслась от воодушевления, когда он живописал грядущие бедствия отчизны.

– Кто же страдает в отчизне, – говорил он, – как не сыны ее, а здесь нам придется пострадать первым. Наши земли, наши поместья, дарованные предкам за заслуги и кровь, будет первым попирает враг, который, как вихрь, приближается к нам с моря. За что же мы страдаем? За что угонят наши стада, потопчут наши хлеба, сожгут деревни, построенные нашими трудами? Разве это мы нанесли обиды Радзеёвскому, разве мы несправедливо осудили его и преследовали как преступника, так что он вынужден был искать покровительства у иноземцев? Нет! Разве мы настаиваем на том, чтобы пустой титул шведского короля, который стоил уже моря крови, был сохранен в подписи нашего Яна Казимира? Нет! Две войны пылают на двух границах – так им понадобилось вызвать еще третью? Пусть Бог, пусть отчизна судят того, кто во всем этом повинен!.. Мы же умоем руки, ибо не повинны мы в крови, которая прольется!..

Так метал воевода громы и молнии, но когда дошло до существа дела, ничего путного он посоветовать не смог.

Тогда послали за ротмистрами, которые командовали ратниками, в первую голову за Владиславом Скорашевским, который был не только славным и несравненным рыцарем, но и старым воителем, знавшим ратное дело как свои пять пальцев. Его дельных советов слушались нередко даже военачальники, тем более жаждали их сейчас вельможи.

Пан Скорашевский посоветовал стать тремя станами – под Пилой, Веленем и Уйстем – на таком расстоянии, чтобы в случае нападения войска могли прийти друг другу на помощь; кроме того, все поречье, охваченное полукружьем станов, укрепить шанцами, которые господствовали бы над переправами.

– Мы увидим, – говорил Скорашевский, – где враг наводит переправу, и соберем тогда там все три стана, чтобы дать ему достойный отпор. Я же, с вашего соизволения, направлюсь с небольшим отрядом в Чаплинек. Гиблая это позиция, и я постараюсь вовремя оттуда уйти, но там я первым разведую, где противник, и дам вам знать.

Все согласились с этим советом, и в стане поднялось движение. Шляхты съехалось уже около пятнадцати тысяч. Пехота рыла шанцы на протяжении шести миль.

Уйсте, главную позицию, занял со своими людьми воевода познанский. Часть рыцарей осталась в Велене, часть в Пиле, а Владислав Скорашевский отправился в Чаплинек, чтобы оттуда вести наблюдение за неприятелем.

Наступил июль; дни по-прежнему стояли ясные и жаркие. Солнце на равнине так припекало, что шляхта укрывалась от зноя в лесах; кое-кто велел даже раскинуть шатры в тени деревьев. Там устраивались веселые и шумные попойки; но еще больший шум поднимали слуги, особенно когда выводили на берег Нотеца и Глды лошадей на водопой и купанье, а выгоняли они их три раза в день, сразу по нескольку тысяч, и при этом ссорились и дрались за лучшее место на берегу.

Но как ни старался воевода познанский ослабить дух войск, сначала все были полны отваги. Если бы Виттенберг подошел к стану в начале июля, он, весьма вероятно, натолкнулся бы на сильное сопротивление, которое в пылу сражения могло бы обратиться в непреодолимый натиск, как тому бывало много примеров. Что ни говори, в жилах этих людей, хоть и отвыкших от войны, текла рыцарская кровь.

Как знать, может, какой-нибудь новый Иеремия Вишневецкий обратил бы Уйсте во второй Збараж и открыл бы в этих шанцах новую страницу рыцарской славы. Увы, воевода познанский умел только писать, но не сражаться.

Виттенберг, не только искушенный воитель, но и человек прозорливый, быть может, умышленно не торопился. Многолетний опыт учил его, что необстрелянные солдаты наиболее опасны в первые минуты воодушевления и что им часто недостает не мужества, а того солдатского закала, который дает только опыт. Они могут стремительным натиском опрокинуть самые закаленные в боях полки и пройти по трупам людей. Это железо, которое кипит, дышит, брызжет искрами, обжигает и уничтожает, пока оно горячо, а когда остынет, представляет собою лишь мертвую глыбу металла.

Прошла неделя, другая, началась третья, и долгое бездействие стало тяготить ополченцев. Зной становился невыносимым. Шляхта не желала выходить на ученья, отговариваясь тем, что «лошади от укусов слепней не стоят на месте, да и от комаров в этих болотистых местах просто житья нет...».

Челядь все больше ссорилась за тенистые уголки, между господами дело тоже доходило до сабель. Кое-кто, отправившись вечером к реке, уезжал украдкой из стана, чтобы больше туда не возвратиться.

Дурной пример подавали и сами вельможи. Скорашевский как раз дал знать из Чаплинка, что шведы уже близко, когда военный совет уволил домой сына средзского старосты Зигмунта Грудзинского из Грудной, на чем очень настаивал его дядя Анджей, воевода калишский.

– Коли мне доведется сложить тут голову, отдать свою жизнь, – говорил он, – пусть хоть племянник унаследует мою славу и сохранит память о моих заслугах, чтобы не пропали они даром.

Тут он расчувствовался, вспомнив о молодости и невинности племянника, и стал превозносить щедрость, с какой тот выставил для Речи Посполитой целую сотню отличных ратников. И военный совет снизошел к просьбе дяди.

Утром шестнадцатого июля, буквально накануне осады и битвы, сын средзского старосты с двумя десятками слуг открыто уезжал из стана домой. Толпы шляхты провожали его из стана градом насмешек, а предводительствовал ими Острожка, который издали кричал вслед уезжавшему магнату:

– Вельможный пан, дарю тебе к фамилии прозвание *deest*!<sup>23</sup>

– Виват Деест-Грудзинский! – орала шляхта.

<sup>23</sup> отсутствует; здесь: дезертир (*лат.*).

– И не плачь ты о дядюшке! – продолжал кричать Острожка. – Он, как и ты, презирает шведов, пусть они только появятся, наверно, тотчас покажет им спину!

Кровь бросалась в голову молодому магнату, но он делал вид, что не слышит оскорблений, только шпорил коня да расталкивал толпу, чтобы поскорее выбраться из стана и уйти от своих преследователей, которые в конце концов, не глядя на его род и звание, стали швырять в него комьями земли и кричать:

– Трус, трус, трусливый заяц! Улепетывай! Ату его! Ха-ха! Серый!

Поднялся такой шум, что прибежал сам воевода познанский с несколькими ротмистрами и стал успокаивать толпу, объяснять ей, что Грудзинский взял отпуск только на неделю по очень важному делу.

Но дурной пример заразителен, и в тот же день нашлось несколько сот шляхтичей, которые решили, что они не хуже Грудзинского, и тоже бежали, только с меньшей свитой и с меньшим шумом. Станислав Скшетуский, ротмистр калишский, брат Яна Скшетуского, знаменитого участника битвы под Збаражем, рвал на себе волосы, потому что и его мужики, по примеру «господ», стали «утекать» из стана. Снова был созван военный совет, в котором непременно хотели принять участие целые толпы шляхтичей. Ночь пришла тревожная, полная криков и свар. Все подозревали друг друга в намерении бежать. Возгласы: «Или все, или никто!» – передавались из уст в уста.

Каждую минуту распространялся слух, будто воеводы уходят, и тут поднималось такое смятение, что воеводам пришлось несколько раз показываться возмущенным толпам. Более пятнадцати тысяч человек простояли верхом до рассвета, а воевода познанский ездил вдоль шеренг, обнажив голову, подобный римскому сенатору, и то и дело повторял великие слова:

– Братья, с вами жить и умирать!

В некоторых местах его встречали кликами: «Виват!» – но кое-где слышались насмешливые возгласы. Он же, едва успокоив толпу, возвращался на совет, усталый, охрипший, упоенный величием собственных слов и убежденный в том, что в эту ночь он оказал отчизне незабываемые услуги.

Однако на совете слова не шли из его уст, в отчаянии он только теребил хохол и бороду и все повторял:

– Если можете, посоветуйте, что делать! Я умываю руки, ибо с такими солдатами обороняться нельзя.

– Ясновельможный воевода! – возражал ему Станислав Скшетуский. – Сам неприятель положит конец своеволию и смуте. Стоит только зареветь пушкам, стоит только начаться осаде и обороне, и та же шляхта ради спасения собственной жизни должна будет драться на валах, а не бунтовать в стане. Так уже не раз бывало!

– Чем нам обороняться? Орудий нет, одни только пушчонки, которые годятся разве только для салютов на пиру.

– Под Збаражем у Хмельницкого было семьдесят орудий, а у князя Иеремии только десятка полтора шестифунтовых пушек да единогого.

– Но у него была не ополченская шляхта, а войско, не стригуны овец, а свои прославленные хоругви. Из овечьих стригунов он солдат сделал.

– Надо послать гонца за паном Владиславом Скорашевским, – сказал Сендзивой Чарнковский, каштелян познанский, – назначить его начальником стана. Шляхта его почитает, и он сможет держать ее в узде.

– Послать гонца за Скорашевским! Нечего ему сидеть в Драгеме или в Чаплинке! – повторил Анджей Грудзинский, воевода калишский.

– Да, да! – раздались голоса. – Лучше ничего не придумаешь!

И за Владиславом Скорашевским был послан гонец. Никаких других решений совет не принял, зато много было разговоров и жалоб и на короля и королеву, и на то, что войск нет, и на то, что их забыли.

Следующее утро не принесло ни радости, ни успокоения. Напротив, смятение усилилось. Кто-то пустил вдруг слух, будто кальвинисты содействуют шведам и при первом же удобном случае готовы перейти во вражеский стан. Мало того, слух этот не был опровергнут ни Шлихтингом, ни Эдмундом и Яцеком Курнатовскими, тоже кальвинистами, но искренне преданными отчизне. Напротив, они сами подтвердили, что иноверцы, обособившись, строят козни, а предводителем у них известный изверг и мятежник Рей, который смолоду служил охотником у немцев на стороне лютеран и был большим другом шведов. Не успел этот слух разнестись по стану, как тотчас сверкнули тысячи сабель и поднялась настоящая буря.

– Изменников пригрели! Змею пригрели, готовую кусать материнскую грудь! – кричала шляхта.

– Отдайте их нам!

– Изрубить их! Подлая измена! Вырвать плевелы с корнем, не то мы все погибнем!

Снова пришлось воеводам и ротмистрам утихомиривать шляхту, однако теперь сделать это было еще труднее, чем накануне. Да они и сами были убеждены, что Рей готов открыто изменить отчизне, потому что он давно перенял все иноземные обычаи и, кроме языка, у него не осталось ничего польского. Было решено выслать его из стана, что немного успокоило взволнованные умы. Однако долго еще в стане слышались крики:

– Отдайте их нам! Измена! Измена!

Странное настроение царило теперь в стране. Одни пали духом и предались унынию. В молчании блуждали они вдоль валов, со страхом и тоской поглядывая на равнину, откуда должен был подойти неприятель, или шепотом делились друг с другом самыми ужасными новостями.

Безумная, отчаянная веселость обуяла других, они ощутили в себе готовность умереть. А чтобы весело провести остаток дней, запиروвали, загуляли напропалую. Иные помышляли о спасении души и проводили время в молитвах. Никого только не было во всей этой толпе, кто бы подумал о победе, точно победа была делом совершенно немыслимым, хотя неприятель и не располагал превосходными поляков силами: у него было только больше пушек, лучше обученное войско и военачальник, знавший военное дело.

Пока польский стан кипел, бурлил, пировал, возмущался и стихал, как море, волнуемое ветром, пока шляхетское ополчение шумело, как на сейме во время избрания короля, по раздольным зеленым поймам Одры спокойно подвигались шведские полчища.

Впереди выступала бригада королевской гвардии; ее вел Бенедикт Горн, грозный воитель, чье имя со страхом повторяли в Германии; люди в бригаде были рослые, молодцы как на подбор, в шлемах с гребнем и затыльником, прикрывавшим уши, в желтых кожаных кафтанах, вооруженные рапирами и мушкетами, хладнокровные и упорные в бою и послушные мановению полководца.

Карл Шеддинг, немец, вел следующую, вестготландскую бригаду, состоявшую из двух полков пехоты и одного тяжелой конницы в панцирях без наплечников; одна половина пехоты была вооружена мушкетами, другая копьями: в начале боя мушкетеры выступали впереди, а если их атаковала конница, они отступали за копьеносцев, те же, уткнув один конец копья в землю, другой наставляли навстречу мчавшимся лошадям. При Сигизмунде Третьем, под Тщяной, одна гусарская хоругвь изрубила саблями и растоптала эту самую вестготландскую бригаду, в которой теперь служили преимущественно немцы.

Две смаландские бригады вел Ирвинг, которого прозвали Безруким, так как, защищая в свое время хоругвь, он потерял правую руку, зато в левой у него была такая силища, что он мог с размаху отрубить голову лошади; это был угрюмый солдат, любивший только войну

и кровопролитие, безжалостный и к себе и к солдатам. Когда из других «предводителей» в непрестанных войнах выковались мастера своего дела, любившие войну ради войны, он неизменно оставался все тем же фанатиком и, убивая людей, пел божественные псалмы.

Вестманландская бригада шла под водительством Дракенборга, а гельсингерскую, состоявшую из прославленных стрелков, вел Густав Оксеншерна, родич знаменитого канцлера, молодой военачальник, подававший большие надежды. Остготландскую бригаду вел Ферсен, а нерикскую и вермландскую – сам Виттенберг, который одновременно предводительствовал всем войском.

Семьдесят два орудия оставляли глубокие борозды на сырых лугах, всех же солдат было семнадцать тысяч, грозных грабителей Германии, бойцов такой выучки, что сравниться с ними, особенно с пехотой, могла разве только французская гвардия. За полками тянулись обозы и шатры, полки же шли в строю, каждую минуту готовые к бою.

Лес копий поднимался над морем голов, шлемов и шляп, а между копьями плыли к польской границе большие голубые знамена с белыми крестами посередине.

С каждым днем сокращалось расстояние, разделявшее два войска.

Наконец двадцать первого июля в лесу, подле деревушки Генрихсдорф, шведские полчища впервые увидели пограничный польский столб. При виде этого столба громкие клики раздались в войсках, загремели трубы, бубны и литавры и развернулись все знамена. Виттенберг в сопровождении блестящей свиты выехал вперед, и все полки проходили мимо него, салютуя оружием, конница с рапирами наголо, пушки с зажженными фитилями. Час был полуденный, погода прекрасная. В лесном воздухе пахло смолой.

Серая, залитая солнечными лучами дорога, по которой проходили шведские хоругви, выбегая из генрихсдорфского леса, терялась на горизонте. Когда войска вышли по этой дороге из лесу, их взорам открылась веселая, озаренная улыбкой страна со злачными желтеющими нивами, что переливались на солнце, с разбросанными там и сям дубравами, с зелеными лугами. За дубравами далеко-далеко поднимались к небу струйки дыма; на отаве виднелись пасущиеся стада. Там, где на лугах сверкала в широком разливе река, спокойно расхаживали аисты.

Сладостная тишина была разлита повсюду на этой земле, текущей медом и млеком. Казалось, она распростиралась все шире и раскрывала объятия войскам, будто не захватчиков встречала, а гостей, прибывающих с миром.

Когда взору открылась эта картина, новый клик вырвался из груди у всех солдат, особенно коренных шведов, привыкших к нагой, бедной и дикой природе родного края. Сердца людей, жадных до чужого и бедных, загорелись желанием захватить эти сокровища и богатства, которые представились их очам. Воодушевление охватило ряды войск.

Однако, закаленные в огне Тридцатилетней войны, солдаты знали, что нелегкой ценой могут они покорить этот край, ибо населял его народ многочисленный и отважный, который умел его защищать. В Швеции еще жива была память о страшном разгроме под Кирхгольмом, когда три тысячи конницы под водительством Ходкевича растоптали восемнадцать тысяч отборного шведского войска. В домах Вестготланда и Смаланда вплоть до самой Далекарлии рассказывали о крылатых рыцарях, словно о великанах из саги. Еще свежей была память о битвах при Густаве Адольфе, ибо живы были люди, которые участвовали в них. Прежде чем пронестись через всю Германию, скандинавский орел дважды обломал когти о легионы Конечпольского.

Потому-то радость в сердцах шведов соединялась с известным опасением, которое закралось и в душу самого полководца Виттенберга. Он озирает проходившие мимо полки пехоты и конницы такими очами, какими пастырь озирает свое стадо, затем обратился к тучному человеку в шляпе с пером и в светлом парике, ниспадавшем на плечи.

– Так вы уверяете, – сказал он, – что с этими силами можно сломить войска, стоящие под Уйстем?

Человек в светлом парике улыбнулся.

– Ваша милость, вы можете вполне на меня положиться, я готов головой поручиться за свои слова. Если бы под Уйстем были регулярные войска и кто-нибудь из гетманов, тогда я первый посоветовал бы не торопиться и подождать, пока не подойдет его величество со всем войском; но против шляхетского ополчения и этих великопольских вельмож наших сил более чем достаточно.

– А не пришлют им подкреплений?

– Подкреплений не пришлют по двум причинам: во-первых, потому, что все войска, которых вообще немного, заняты в Литве и на Украине; во-вторых, потому, что в Варшаве ни король Ян Казимир, ни канцлеры, ни сенат до сих пор не хотят верить, что его величество король Карл Густав, невзирая на перемирие и последние посольства, невзирая на готовность поляков пойти на уступки, все же начнет войну. Они надеются, что в последнюю минуту мир будет заключен... ха-ха!

Тучный человек снял шляпу, утер пот с красного лица и прибавил:

– Трубецкой и Долгорукий в Литве, Хмельницкий на Украине, а мы вступаем в Великую Польшу! Вот до чего довело правление Яна Казимира!

Виттенберг бросил на него странный взгляд и спросил:

– И вы этому рады?

– А я этому рад, ибо мои обиды и моя невинность будут отмщены; кроме того, я уже ясно вижу, что сабля вашей милости и мои советы возложат новую, самую прекрасную в мире корону на главу Карла Густава.

Виттенберг устремил взгляд вдаль, окинул леса, дубовые рощи, луга и нивы и через минуту сказал:

– Да! Прекрасна и плодородна эта страна. Вы тоже можете быть уверены, что после войны его величество никому другому не верит здесь наместничества.

Тучный человек снова снял шляпу.

– Я также не желаю другого повелителя, – прибавил он, поднимая глаза к небу.

Небо было ясным и безоблачным, и гром не грянул, не разразил изменника, который на этой границе предавал в руки неприятеля свою истерзанную отчизну, стонавшую под бременем двух войн.

Человек, беседовавший с Виттенбергом, был Иероним Радзеёвский, бывший коронный подканцлер, ныне изменник, перебежавший на сторону шведов.

Некоторое время они стояли в молчании; тем временем две последние бригады, нерикская и вермландская, пересекли границу; вслед за ними покатали орудия, трубы все еще играли, а гром литавр и грохот барабанов заглушали шаги солдат, рождая в лесу зловещее эхо. Наконец двинулся и штаб. Радзеёвский ехал рядом с Виттенбергом.

– Оксеншерны не видно, – сказал Виттенберг. – Боюсь, как бы с ним чего не случилось. Не знаю, хороший ли это был совет послать его вместо трубача с письмами под Уйсте.

– Хороший, – ответил Радзеёвский. – Он осмотрит стан, увидит военачальников и разведает, что они замышляют, а этого какой-нибудь обозник не сделает.

– А если его узнают?

– Там его знает один только Рей, а он наш. Да если его и узнают, все равно ничего дурного ему не сделают, напротив, и припасом снабдят на дорогу, и наградят... Я поляков знаю, они на все готовы, только бы показать перед иностранцами, какой они учтивый народ. Мы все усилия употребляем на то, чтобы нас хвалили иностранцы. За Оксеншерну вы можете быть спокойны, волос у него с головы не упадет. Не видно его, потому что времени прошло еще слишком мало.

– А как вы думаете, будет ли какой-нибудь прок от наших писем?

Радзеёвский рассмеялся.

– Позвольте мне стать пророком и предсказать, что станется. Воевода познанский – человек политичный и ученый, а посему ответит он нам политично и весьма учтиво, а так как он любит слыть за римлянина, то и ответ его будет свехримский: сперва он нам напишет, что предпочитает пролить последнюю каплю крови, нежели сдаться, что смерть лучше бесславия, а любовь, которую он питает к отчизне, велит ему сложить голову на ее границе.

Радзеёвский засмеялся еще громче, суровое лицо Виттенберга тоже прояснилось.

– Вы хотите сказать, – спросил он, – что он вовсе не собирается так поступить?

– Он? – переспросил Радзеёвский. – Это правда, что он любит отчизну, но питает он свою любовь одними чернилами, а это не очень сытная пища, вот и любовь его еще тощей, чем его шут, который помогает ему сочинять вирши. Я уверен, что после этого римского ответа последуют пожелания доброго здоровья и успехов, заверения в совершенном почтении, а в заключение просьба пощадить поместья его и его родичей, за что он и его родичи будут вечно нам благодарны.

– Какой же, в конце концов, прок будет от наших писем?

– В стане все окончательно падут духом, а господа сенаторы начнут с нами переговоры, и после нескольких выстрелов в воздух мы займем всю Великую Польшу.

– О, если бы вы в самом деле оказались пророком!

– Я уверен, что так оно и будет, потому что знаю этих людей. У меня есть друзья и сторонники во всей стране, и я знаю, как надо повести дело. А что я не оплошаю, тому порукою обида, которую нанес мне Ян Казимир, и любовь моя к Карлу Густаву. Люди у нас сейчас пекутся больше о своем добре, нежели о сохранении Речи Посполитой. Все те земли, по которым мы сейчас будем идти, это поместья Опалинских, Чарнковских, Грудзинских, а так как именно эти вельможи стоят под Уйстем, то и во время переговоров они будут помягче. Что ж до шляхты, то достаточно посулить ей, что она по-прежнему может шуметь на сеймиках, и она последует за своими воеводами.

– Вы знаете эту страну и народ и оказываете его величеству такую помощь, которая не может остаться без достойной награды. Из ваших слов я вправе заключить, что могу эту землю считать нашей.

– Можете, ваша милость, можете, можете! – поспешил повторить Радзеёвский.

– В таком случае я занимаю ее именем его величества короля Карла Густава, – с достоинством заявил Виттенберг.

В то время как шведские войска, миновав Генрихсдорф, попирали уже земли Великой Польши, в польский стан, несколько ранее, восемнадцатого июля, прибыл шведский трубач с письмами к воеводам от Радзеёвского и Виттенберга.

Владислав Скорашевский сам проводил трубача к воеводе познанскому, а шляхта из ополчения с любопытством глазела на «первого шведа», любясь его осанкой, мужественным лицом, желтыми усами с кончиками, зачесанными вверх широкой щеткой, всей его барственой повадкой. Толпы ополченцев провожали трубача к воеводе, знакомые окликались друг друга, показывали на него пальцами, подсмеивались, глядя на сапоги бутылками и на длинную простую рапиру, которую называли рожном, висевшую на перевязи с богатой серебряной насечкой. Швед тоже то бросал любопытные взгляды из-под своей широкополой шляпы, точно хотел все высмотреть в стане и подсчитать силы противника, то глазел на шляхту, восточный наряд которой был ему, видно, в диковинку.

Наконец его ввели к воеводе, у которого собрались все вельможи, находившиеся в стане.

Тотчас были прочитаны письма, и начался совет, а трубача воевода поручил своим придворным, чтобы те угостили его по-солдатски; у придворных шведа перехватила шляхта, и, дивясь на него, как на некое чудище, стала пить с ним до изумления.

Скорашевский тоже внимательно на него поглядывал по той, однако, причине, что заподозрил в нем переодетого трубачом офицера; вечером он даже отправился с этой мыслью к воеводе; однако тот ответил, что это не имеет значения, и арестовать трубача не позволил.

– Будь он сам Виттенберг, – сказал воевода, – он прибыл к нам послом и должен уехать в безопасности... Я велю еще дать ему десять дукатов на дорогу.

Трубач тем временем на ломаном немецком языке вел разговор с теми шляхтичами, которые понимали этот язык, ибо имели сношения с прусскими городами, и рассказывал им о победах, одержанных Виттенбергом в разных странах, о силах, идущих к Уйстю, особенно же о новых орудиях, столь совершенных, что против них нет средств обороны. Шляхту эти рассказы очень смутили, и вскоре по стану поползли всякие преувеличенные слухи.

В ту ночь почти никто не спал во всем Уйсте; прежде всего около полуночи подошли люди, которые до сих пор стояли в отдельных станах под Пилой и Веленем. Вельможи до рассвета готовили ответ на письма, а шляхта проводила время, рассказывая о военной мощи шведов.

С лихорадочным любопытством расспрашивали ополченцы трубача о военачальниках, войске, оружии, способах ведения боя и каждый его ответ передавали из уст в уста. Близость шведских полчищ придавала небывалый интерес всяким подробностям, которые, увы, не могли поднять дух шляхты.

На рассвете приехал Станислав Скетуский с вестью о том, что шведы подошли к Валчу и от польского стана находятся на расстоянии одного дня пути. Тотчас поднялась страшная суматоха; большая часть слуг была с лошадьми на лугах, пришлось спешно посылать за ними. Поветы садились на конь и строились хоругвями. Минута перед боем для необученного солдата бывает самой страшной, и прежде чем ротмистры успели навести кое-какой порядок, в стане царил ужасное замешательство.

Не слышно было ни команд, ни рожков, отовсюду только неслись голоса: «Ян! Петр! Онуфрий! Сюда!.. А чтоб вас Бог убил! Подавайте коней!.. Где мои слуги? Ян! Петр!..» Если бы в эту минуту раздался один пушечный залп, замешательство легко могло бы перейти в смятение.

Однако поветы понемногу построились. Прирожденная способность шляхты к войне отчасти возместила недостаток опыта, и к полудню стан представлял уже довольно внушительное зрелище. Пехота стояла у валов, подобная цветам в своих пестрых кафтанах; от зажженных фитилей поднимались дымки, а по ту сторону валов, под защитой пушек, луга и равнину покрыли поветовые хоругви конницы, стоявшей в боевых порядках на отменных конях, которые своим ржанием будили эхо в ближних лесах и наполняли сердца воинственной отвагой.

Тем временем воевода познанский отослал трубача с ответом, который звучал примерно так, как предсказывал Радзеёвский, то есть был политичным и вместе с тем римским; затем воевода решил послать разъезд на северный берег Нотеца, чтобы захватить вражеского языка.

Петр Опалинский, воевода подлясский, двоюродный брат воеводы познанского, должен был самолично идти в разведку со своими драгунами, полторы сотни которых он привел под Уйсте. Кроме того, ротмистрам Владиславу Скорашевскому и Скетускому было приказано вызвать охотников из ополчения, чтобы и шляхта встретила лицом к лицу с врагом.

Оба ротмистра разъезжали перед шеренгами, теща взор своими мундирами и осанкой; пан Станислав, подобно всем Скетуским, был черен как жук, с мужественным, грозным лицом, украшенным длинным косым шрамом от удара мечом, с бородой цвета воронова крыла, которую развеивал ветер; пан Владислав, грузный, с длинными светлыми усами, отвислой нижней губой и красными глазами, добродушный и мягкий, меньше напоминал Марса, но и он был солдат душой, рыцарь несравненной отваги, любивший огонь, как саламандра, и ратное дело знавший как свои пять пальцев. Оба они, проезжая вдоль строя, развернутого в длинную линию, то и дело повторяли:



– Нуте-ка, кто пойдет охотником к шведам? Кто хочет понюхать пороху? Нуте-ка, кто пойдет охотником?

Они проехали уже довольно большое расстояние, но без успеха, из рядов не выступил никто. Все оглядывались друг на друга. Были такие, которым хотелось пойти, и удерживал их не страх перед шведами – они робели перед своими. Не один толкал локтем соседа и говорил ему: «Пойдешь ты, так и я пойду».

Ротмистры начинали уже выражать нетерпение; но когда они подъехали к гнезенскому повету, не из шеренги, а откуда-то сзади, из-за шеренг, выскочил вдруг верхом на малорослой лошадке пестро одетый человек и крикнул, обращаясь к шеренге:

– Я пойду охотником, а вы останетесь тут шутами!

– Осторожка! Осторожка! – вскричала шляхта.

– Такой же добрый шляхтич, как и все вы! – ответил шут.

– Тьфу! Черт бы тебя побрал! – крикнул подсудок Росинский. – Довольно шутовства! Я пойду!

– И я! И я! – раздались многочисленные голоса.

– Один раз мать родила, один раз и умирать!

– Найдутся тут такие хорошие, как ты!

– Все могут! Нечего нос поднимать!

И как раньше никто не хотел выходить, так теперь шляхта повалила из всех поветов: люди наезжали друг на друга лошадами, обгоняли друг друга, торопливо перебранивались. Не прошло и минуты, а впереди уже стояло чуть не полтысячи всадников, и шляхтичи все еще выезжали из рядов. Пан Скорашевский рассмеялся своим непринужденным, добрым смехом и закричал:

– Довольно, довольно! Не можем же мы все идти!

После этого они вдвоем со Скшетуским построили охотников и двинулись вперед.

Воевода подлясский присоединился к ним у выезда из стана. Всадники были видны как на ладони при переправе через Нотец, потом еще несколько раз они промелькнули на поворотах дороги и пропали из глаз.

По прошествии получаса воевода познанский велел людям разъехаться, решив, что незачем держать их в строю, когда неприятель на расстоянии целого дня пути. Однако всюду была расставлена стража, запрещено было выгонять лошадей на пастбища и по первому тихому звуку рожка было приказано всем садиться на конь и становиться в боевые порядки.

Кончились ожидание и неуверенность, кончились сразу споры и перекоры; близость неприятеля, как и предсказывал пан Скшетуский, воодушевила войско. Первая удачная битва могла бы еще больше поднять его дух, а вечером произошел случай, который мог стать новым счастливым предзнаменованием.

Солнце заходило, озаряя ярким светом Нотец и занотецкие леса, когда по ту сторону реки люди увидели сперва облако пыли, а затем движущихся в этом облаке людей. Все до последнего человека вышли на валы поглядеть, что это за гости; но тут прибежал драгун из хоругви Грудзинского, стоявший на страже, и дал знать, что это возвращается разъезд.

– Разъезд едет обратно! Благополучно едет! Не съели их шведы! – передавали в стане из уст в уста.

А разъезд тем временем все приближался, медленно подвигаясь вперед в светлых клубах пыли, и наконец переправился через Нотец.

Шляхта смотрела на своих, заслонив руками глаза от солнца, которое сверкало все сильнее, так что весь воздух был пронизан золотым и пурпурным сиянием.

– Э, да их стало что-то больше, чем было! – воскликнул Шлихтинг.

– Клянусь Богом, пленных ведут! – крикнул какой-то шляхтич; парень он был, видно, не из храброго десятка и просто глазам своим не верил.

– Пленных ведут! Пленных ведут!

А разъезд тем временем приблизился уже настолько, что можно было различить лица. Впереди ехал Скорашевский, кивая, по своему обыкновению, головой и весело переговариваясь со Скшетуским; за ними большой конный отряд окружал несколько десятков пехотинцев в круглых шляпах. Это и в самом деле были пленные шведы.

При виде их шляхта не выдержала и бросилась навстречу разъезду с кликами:

– Vivat Скорашевский! Vivat Скшетуский!

Густая толпа мгновенно окружила весь отряд. Одни глазели на пленных, другие расспрашивали, как все случилось, третьи грозились шведам.

– А что?! Хорошо вам, собаки! С поляками захотелось повоевать? Получили теперь поляков?

– Дайте их нам! На сабли их! Искошнить!..

– Что, подлецы! Что, немчура! Попробовали польских сабель?!

– Да не орите вы, как мальчишки, а то пленные подумают, что вам воевать впервой! – сказал Скорашевский. – Обыкновенное это дело – брать на войне пленных.

Охотники из разъезда гордо глядели на шляхту, которая забросала их вопросами.

– Как же вы их? Легко ли они сдались? Или пришлось вам попотеть? Хорошо дерутся?

– Хорошие парни, – ответил Росинский. – И долго оборонялись, но ведь и они не железные. Сабля и их берет.

– Так и не могли отбиться от вас, а?

– Напора не выдержали.

– Вы слышите, что наши говорят: напора не выдержали! А что? Напор – главное дело!

– Помните: только бы напереть! Это против шведов самое лучшее средство!

Если бы в эту минуту шляхта получила приказ броситься на врага, не сдержать бы ему ее напора; но врага пока не было видно; глухой ночью раздался вместо этого голос рожка перед форпостами. Это прибыл второй трубач с письмом от Виттенберга, в котором он предлагал воеводам сдаться. Узнав об этом, толпа шляхтичей хотела зарубить гонца, но воеводы приняли письмо, хотя содержание его было наглым.

Шведский генерал заявлял, что Карл Густав прислал войска своему родичу Яну Казимиру на подмогу против казаков и что шляхта Великой Польши должна поэтому сдаться без сопротивления. Грудзинский, читая это письмо, не мог сдержать порыв негодования и хлопнул кулаком по столу, но воевода познанский мигом его успокоил.

– А ты, пан, веришь в победу? – спросил он его. – Сколько дней мы можем продержаться? Ужели ты хочешь быть в ответе за море шляхетской крови, которое завтра может пролиться?

После долгого совета решили на письмо не отвечать и ждать, что будет. Долго ждать не пришлось. В субботу, двадцать четвертого июля, стража дала знать, что шведское войско показалось прямо против Пилы. Стан зашумел, как улей перед вылетом.

Шляхта садилась на конь, воеводы скакали вдоль шеренг, отдавая противоречивые приказы, пока пан Владислав не принял наконец начальство над всем войском и не навел порядка; он выехал затем во главе нескольких сот охотников навстречу противнику, чтобы на том берегу наездники могли схватиться врукопашную и польские солдаты освоились с врагом.

Конница с удовольствием шла за ним, ибо в рукопашных боях схватывались обычно небольшие кучки наездников или люди выходили один на один, а таких схваток шляхта, обученная искусству рубки, совсем не боялась. Отряд переправился на тот берег и остановился в виду неприятеля, который все приближался, темнея впереди, словно длинная полоса внезапно выросшего леса. Полки конницы, пехоты развертывались, все шире заливая простор.

Шляхта ждала, что к ней вот-вот бросятся наездники-рейтары, но они что-то не показывались. Зато на пригорках, на расстоянии нескольких сот шагов, остановились и засуетились

небольшие кучки солдат, завиднелись среди них лошади; заметив это, Скорашевский немедленно скомандовал:

– Налево кругом, марш-марш!

Но не успела прозвучать команда, как на пригорках расцвели длинные белые струйки дыма, и словно стая птиц полетела со свистом между людьми Скорашевского, затем громовый раскат потряс воздух, и в то же мгновение раздались крики и стоны раненых.

– Стой! – крикнул пан Владислав.

Стаи птиц пролетели еще и еще раз – и снова свисту вторили стоны. Шляхта не послушала команды начальника, напротив, стала с криком отступать все быстрее и быстрее, взывая к небу о помощи, затем отряд в мгновение ока рассеялся по равнине и поскакал сломя голову к стану. Скорашевский ругался – все было напрасно.

Прогнав с такой легкостью наездников, Виттенберг продолжал продвигаться вперед, пока не остановился наконец прямо против Уйстя, перед шанцами, которые обороняла калишская шляхта. В ту же минуту заговорили польские пушки, однако шведы не торопились отвечать на пальбу. Дым спокойно и ровно вытягивался в ясном воздухе в длинные струйки, а в промежутках между ними шляхта видела шведские полки, пехоту и конницу, которые разворачивались с ужасающим спокойствием, точно были совершенно уверены в своей победе.

На пригорках устанавливали орудия, рыли окопчики, словом, враг располагался, не обращая ни малейшего внимания на снаряды, которые, не долетая до него, засыпали только песком и землей людей, рывших окопчики.

Станислав Скшетуский вывел еще две хоругви калишцев, надеясь смелой атакой внести замешательство в ряды шведов; но калишцы пошли неохотно; отряд тотчас рассыпался в беспорядке, так как храбрецы гнали коней вперед, а трусы умышленно придерживали их. Два рейтарских полка, высланных Виттенбергом, после короткой стычки прогнали шляхтичей с поля боя и преследовали их до самого стана.

Тем временем спустились сумерки, и бескровная схватка кончилась.

Однако из пушек поляки продолжали стрелять до самой ночи, после чего пальба утихла; но тут в польском стане поднялся такой шум, что слышно было на другом берегу Нотеца. Все началось с того, что несколько сот ополченцев, воспользовавшись темнотой, попытались ускользнуть из стана. Другие заметили это и стали грозить беглецам и не пускать их. Люди схватились за сабли. Слова: «Или все, или никто!» – снова переходили из уст в уста. Однако с каждой минутой становилось все очевидней, что уйдут все. Ропот поднялся против военачальников. «Послали нас с голым брюхом против пушек!» – кричали ополченцы.

Шляхта негодовала и на Виттенберга за то, что он не уважает военных обычаев, что не выслал на бой наездников, а неожиданно приказал открыть пушечную пальбу.

– Всяк поступает, как ему лучше, – говорили они, – но не народ они, а свиньи, коль такой у них обычай, чтобы с врагом не встречаться лицом к лицу.

Другие открыто предавались отчаянию.

– Выкурят они нас отсюда, как барсука из норы, – говорили они. – Стан плохо расположен, шанцы плохо вырыты, место для обороны неподходящее.

Слышались голоса:

– Братья, спасайтесь!

Другие кричали:

– Измена! Измена!

Ужасная это была ночь; расстройство в рядах и смятение возрастали с каждой минутой, никто не слушал приказов. Воеводы совсем растерялись и даже не пытались навести порядок. Их бессилие и бессилие ополчения стало совершенно очевидным. В ту ночь Виттенберг мог открыто напасть на стан и взять его безо всякого труда.

Наступил рассвет.

День вставал хмурый, облачный, он осветил дикое скопище орущих людей, потерявших присутствие духа, большею частью пьяных, готовых скорее бежать с позором, нежели принять бой. В довершение всех бед шведы ночью переправились под Дембовом на другой берег Нотеца и окружили польский стан.

Со стороны Дембова почти не было шанцев, и обороняться было невозможно. Надо было без промедления окружить стан валом. Скорашевский и Скшетуский заклинали сделать это, но никто уже не хотел их слушать.

У вельмож и у шляхты на устах было одно только слово: «переговоры». Выслали парламентаров. В ответ из шведского стана прибыли с блестящей свитой Радзеёвский и генерал Вирц; оба они ехали с зелеными ветвями в руках.

Они направились к дому, где стоял воевода познанский; но Радзеёвский по дороге задерживался в толпе шляхтичей, махал ветвью и шляпой, улыбался, приветствовал знакомых и говорил зычным голосом:

– Дорогие братья! Не пугайтесь! Мы приехали сюда не как враги. От вас самих зависит, чтобы больше не было пролито ни единой капли крови. Если вместо тирана, который попирает ваши вольности, который помышляет о *dominium absolutum*, который привел отчизну к гибели, вы хотите доброго и благородного господина, воителя столь прославленного, что при одном его имени рассеются все недруги Речи Посполитой, тогда отдайтесь под покровительство его величества Карла Густава!.. Дорогие братья! Я везу ручательство, что будут сохранены все ваши вольности, ваша свобода, вера. От вас самих зависит ваше спасение! Его величество король шведский решил подавить казацкое восстание, кончить литовскую войну, и только он один может это сделать. Сжальтесь же над несчастной отчизной, если вам себя не жаль...

Голос задрожал тут у предателя, точно слезы подступили к горлу. Шляхта слушала в изумлении, раздались редкие голоса: «Vivat Радзеёвский, наш подканцлер!» – а он проследовал дальше, и снова кланялся новым толпам, и снова был слышен его зычный голос: «Дорогие братья!» Наконец оба они с Вирцем и свитой исчезли в доме воеводы познанского.

Шляхта сбилась перед домом такой тесною толпою, что яблоку негде упасть, ибо чувствовала, понимала, что в этом доме решается не только ее судьба, но и всей отчизны. Вышли воеводские слуги в пурпурных одеждах и позвали в дом «персон» поважнее. Те поспешно вошли, за ними ворвалось несколько человек из мелкой шляхты, остальные остались за дверью, они протискивались к окнам, прижимали уши даже к стенам.

Тишина в толпе царила немая. Те, кто стоял поближе к окнам, слышали порою шум голов, долетавший из дому, точно отзвучие споров, раздоров и распрей. Час уходил за часом, а совет все не кончался.

Внезапно с треском распахнулась входная дверь, и на улицу выбежал Владислав Скорашевский.

Толпа отпрянула в ужасе.

Всегда спокойный и кроткий, как агнец, человек этот был теперь страшен: глаза красные, взор блуждающий, одежда на груди расхристана. Держась обеими руками за голову, он как молния врезался в толпу и закричал пронзительным голосом:

– Измена! Убийство! Позор! Мы уже Швеция, не Польша! Родину-мать убивают в этом доме!

Он зарыдал страшно, судорожно и стал рвать на себе волосы, точно ум у него мутился. Гробовая тишина царила вокруг. Ужас объял все сердца.

Внезапно Скорашевский заметался в толпе, в диком отчаянии истошно крича:

– К оружию! К оружию, кто в Бога верует! К оружию! К оружию!

Смутный ропот поднялся в толпе, словно легкий шепот пробежал, внезапный, прерывистый, как первое дуновение бури. Сердца колебались, умы колебались, и в этом всеобщем смятении духа страстный голос кричал:

– К оружию! К оружию!

Вскоре к нему присоединились еще два голоса – Петра Скорашевского и Скшетуского, вслед за которыми прибежал и Клодзинский, отважный ротмистр познанского повета.

Все больше становилась толпа вокруг них. Грозный ропот рос, пламя пробегало по лицам и пылало в очах, слышался лязг сабель. Владислав Скорашевский первый овладел собою и, показывая на дом, в котором шел совет, обратился к шляхте с такими словами:

– Слышите, братья, они, как иуды, продают там отчизну и бесчестят ее! Знайте же, мы не принадлежим уже Польше. Мало им было отдать в руки врага всех вас, стан, войско, орудия, будь они прокляты! Они подписали вдобавок от своего и вашего имени, что отрекаются от отчизны, отрекаются от нашего короля, что весь край, крепости и все мы отныне на вечные времена принадлежим Швеции. Что войско сдастся – это бывает, но кто же имеет право отречься от своего короля и от своей отчизны?! Кто имеет право отрывать от нее провинции, предаваться иноземцам, переходить к другому народу, отречься от своей крови?! Братья, это позор, измена, убийство, злодеянье!.. Спасите отчизну, братья! Именем Бога, кто шляхтич, кто честен, спасите родину-мать! Отдадим же свою жизнь за нее, не пожалеем головы! Мы не хотим быть шведами! Не хотим, не хотим! Лучше на свет было не родиться тому, кто теперь не отдаст своей жизни!.. Спасите родину-мать!

– Измена! – крикнули сразу десятки голосов. – Измена! Зарубить предателей!

– К нам все, в ком честь жива! – кричал Скшетуский.

– На шведа! На смерть! – подхватил Клодзинский.

И они пошли дальше с криком: «К нам! Сюда! Измена!» – а за ними двинулись уже сотни шляхты с саблями наголо.

Но подавляющее большинство осталось на месте, да и из тех, кто последовал за ротмистрами, кое-кто, заметив, что их немного, стал оглядываться и отставать.

Тем временем снова отворилась дверь дома, в котором шел совет, и на пороге показался познанский воевода, Кшиштоф Опалинский, а рядом с ним справа генерал Вирц, слева Радзеёвский. За ними следовали: Анджей Кароль Грудзинский, воевода калишский, Максимилиан Мясковский, каштелян кшивинский, Павел Гембицкий, каштелян мендзижецкий, и Анджей Слупецкий.

Кшиштоф Опалинский держал в руке пергаментный свиток со свешивающимися печатями; голову он поднял высоко, но лицо у него было бледное, а взгляд неуверенный, хоть воевода и силился изобразить веселость. Он обвел глазами толпу и в мертвой тишине заговорил ясным, хотя несколько хриплым голосом:

– Братья шляхтичи! В нынешний день мы отдались под покровительство его величества короля шведского. *Vivat Carolus Gustavus rex!*<sup>24</sup>

Молчание было ответом воеводе; вдруг раздался чей-то одинокий голос:

– Veto!<sup>25</sup>

Воевода повел глазами в сторону этого голоса и сказал:

– Не сеймик тут у нас, и ни к чему здесь veto. А кому хочется покричать, пусть идет на шведские пушки, которые наведены на нас и за час могут сровнять с землею весь наш стан. – Он умолк на минуту. – Кто сказал: veto? – спросил он.

Никто не отозвался.

Воевода снова заговорил еще внушительней:

– Все вольности шляхты и духовенства будут сохранены, подати не будут увеличены и взиматься будут так же, как и раньше. Никто не понесет обид и не будет ограблен; войска его

---

<sup>24</sup> Да здравствует король Карл Густав! (лат.).

<sup>25</sup> Запрещаю! (лат.).

королевского величества не имеют права становиться на постой в шляхетских владениях или взымать другие поборы, кроме тех, которые взыскивались на польские регулярные хоругви...

Он умолк и жадно внимал ропоту шляхты, словно хотел постичь его значение, затем махнул рукой.

– Кроме того, генерал Виттенберг от имени его королевского величества слово мне дал и обещание, что, если вся страна последует нашему спасительному примеру, шведские войска вскоре двинутся на Литву и Украину и кончат войну лишь тогда, когда все земли и все замки будут возвращены Речи Посполитой.

– Vivat Carolus Gustavus rex! – закричали сотни голосов.

– Vivat Carolus Gustavus rex! – загремело во всем стане.

На глазах всей шляхты воевода познанский повернулся тогда к Радзеёвскому и сердечно его обнял, затем обнял и Вирца; после этого все вельможи стали обниматься. Их примеру последовала шляхта, и радость стала всеобщей. «Виват» кричали так, что эхо разносилось по всей округе. Но воевода познанский попросил у милостивой братии еще минуту молчания и сказал с сердечностью в голосе:

– Братья шляхтичи! Генерал Виттенберг просит нас сегодня в свой стан на пир, дабы мы за чарами заключили братский союз с храбрым народом.

– Vivat Виттенберг! Vivat, vivat, vivat!

– А затем, – прибавил воевода, – мы разъедемся по домам и с Божьей помощью начнем жатву с мыслью о том, что в нынешний день мы спасли отчизну.

– Грядущие века воздадут нам справедливость! – сказал Радзеёвский.

– Аминь! – закончил воевода познанский.

Но тут он заметил, что множество глаз устремились куда-то поверх его головы.

Он повернулся и увидел своего шута, который, встав на цыпочки и держась рукою за дверной косяк, писал углем на стене дома, над самой дверью:

«Mane – Tekel – Fares».<sup>26</sup>

Небо покрылось тучами, надвигалась гроза.

---

<sup>26</sup> Сочтено – взвешено – измерено (халдейск.).

## Глава XI

В деревне Бужец, лежащей в Луковской земле, на границе воеводства Подляского, и принадлежавшей в ту пору Скшетуским, в саду, который раскинулся между домом и прудом, сидел на скамье старик; в ногах у него играли два мальчика: один пяти, другой четырех лет, черные и загорелые, как цыганята, румяные и здоровые. Старик с виду тоже был еще крепок, как тур. Годы не согнули его широких плеч; глаза, верней, один глаз, так как на другом у него было бельмо, светился благодушием; борода побелела, но с виду старик был бравый, с румяным, кипящим здоровьем лицом, украшенным на лбу широким шрамом, сквозь который проглядывала черепная кость.

Оба мальчика, ухватившись за ушки его сапог, тянули их в разные стороны, а он глядел на пруд, озаренный солнечными лучами, в котором то и дело всплескивали рыбы, возмущая зеркальную гладь.

– Рыбы играют, – ворчал он про себя. – Небось еще получше заиграете, как воду спустят или стряпуха возьмется чистить вас ножом.

Тут он обратился к мальчикам:

– Отвяжитесь вы, сорванцы, и смотрите мне, оторвет который ушко, так я ему все уши оборву. Экие осы! Ступайте вон кувыркаться на траве и оставьте меня в покое! Ну, тебе, Лонгинек, я не удивляюсь, ты еще мал, но Яремка должен уже быть поумней. Вот возьму да и брошу надоеду в пруд!

Но мальчишки, видно, совсем завладели стариком, потому что ни один из них не испугался его угрозы; напротив, старший, Яремка, начал еще сильнее тянуть голенище за ушко, затопал ногами и закричал:

– Ну, дедушка, давай поиграем, ты будешь Богун и украдешь Лонгинка!

– Отвяжись ты, жук, говорю тебе, сопливец, карапуз ты этакий!

– Ну, дедушка, ты будешь Богун!

– Я тебе задам Богуна, вот погоди, позову мать!

Яремка поглядел на дверь, которая вела из дома в сад, но, увидев, что она затворена и матери нигде нет, повторил в третий раз, подняв мордашку:

– Ну, дедушка, ты будешь Богун!

– Замучают меня эти карапузы, право! Ладно, я буду Богун, но только в последний раз. Наказание Господне! Только, чур, больше не надоедать!

С этими словами старик, кряхтя, поднялся со скамьи, схватил вдруг маленького Лонгинка и с диким криком понесся по направлению к пруду.

Однако у Лонгинка был храбрый защитник в лице Яремки, который в таких случаях назывался не Яремкой, а паном Михалом Володыёвским, драгунским ротмистром.

Вооруженный липовым прутом, заменявшим в случае надобности саблю, пан Михал пустился опрOMETRY за тучным Богуном, тотчас догнал его и стал безо всякой пощады хлестать по ногам.

Лонгинек, игравший роль мамы, визжал, Богун визжал, Яремка-Володыёвский визжал; но отвага в конце концов победила, и Богун, выпустив из рук свою жертву, бросился бегом снова под липу и, добежав до скамьи, повалился на нее, еле дыша.

– Ах, разбойники!.. – повторял он только. – Просто чудо будет, коли я не задохнусь!..

Однако его мученья на этом не кончились: через минуту явился Яремка, раскрасневшийся, с растрепанной гривой, похожий на маленького задорного ястребка, и, раздувая ноздри, стал еще больше приставать к старику:

– Ну, дедушка, ты будешь Богун!

После долгих упрасиваний оба мальчика торжественно поклялись, что теперь это уж наверняка в последний раз, и история повторилась сначала с теми же подробностями. Потом старик уселся с обоими мальчиками на скамью, и тут Яремка опять к нему привязался:

– Дедушка, скажи, кто был самый храбрый?

– Ты, ты! – ответил старик.

– Вырасту, стану рыцарем!

– Непременно, хорошая у тебя кровь, солдатская. Дай-то Бог, чтобы ты был похож на отца, был бы ты тогда храбрец и меньше бы надоедал. Понял?

– Скажи, дедушка, сколько батя убил врагов?

– Я тебе сто раз уже говорил. Скорее листья перечесть на этой липе, чем всех тех врагов, которых мы с вашим отцом истребили. Будь у меня столько волос на голове, сколько я один их уложил, луковские цирюльники богатство бы нажили на подбривке одной моей чуприны. Будь я проклят, если совр...

Тут Заглоба, – а это был он, – спохватился, что не годится при младенцах ни заклинать, ни проклинать, и хотя, за отсутствием других слушателей, он любил и детям рассказывать о своих старых победах, однако же примолк на этот раз, потому что рыба в пруду стала всплескивать с удвоенной силой.

– Надо велеть садовнику, – сказал старик, – на ночь верши поставить; много хорошей рыбы сбилось у самого берега.

Но тут отворилась дверь из дома в сад, и на пороге показалась женщина, прекрасная, как полуденное солнце, высокая, сильная, черноволосая, с темным румянцем на щеках и бархатными глазами. Третий мальчик, трехлетний, черный, как агат, держался за ее подол; прикрыв глаза рукою, она стала всматриваться в тот угол сада, где росла липа.

Это была Елена Скшетуская, урожденная княжна Булыга-Курцевич.

Увидев под липой Заглобу с Яремкой и Лонгинком, она сделала несколько шагов ко рву, наполненному водой, и крикнула:

– Эй, хлопцы! Вы там, верно, надоедаете дедушке?

– Вовсе не надоедают! Они очень хорошо себя вели, – ответил Заглоба.

Мальчики подбежали к матери, а она спросила у старика:

– Батюшка, ты чего хочешь сегодня выпить: дубнячка или меду?

– На обед была свинина, вроде бы медку лучше.

– Сейчас пришло. Только не дремли ты на воздухе, непременно схватишь лихорадку.

– Сегодня тепло и ветра нет. А где же Ян, доченька?

– Пошел на ток.

Елена Скшетуская называла Заглобу отцом, а он ее доченькой, хотя они вовсе не были родственниками. Ее семья жила в Приднепровье, в бывшем княжестве Вишневецком, а откуда он был родом, про то знал один только Господь Бог, потому что сам он рассказывал об этом поразному. Но когда она была еще девушкой, Заглоба оказал ей большие услуги и не раз спасал ее от страшных опасностей, поэтому и она, и ее муж почитали его как отца, да и вся округа очень старика уважала и за острый ум, и за необычайную храбрость, которую он много раз показал в казацких войнах.

Имя его было славно во всей Речи Посполитой, сам король любил его рассказы и острые шутки, и вообще о нем больше говорили, чем даже о самом Скшетуском, хотя Скшетуский в свое время вырвался из осажденного Збаража и пробился сквозь толпы казацких войск.

Через минуту после ухода Елены казачок принес под липу сулейку и кубок. Пан Заглоба налил, затем закрыл глаза и с превеликим удовольствием отведал медку.

– Знал Господь Бог, для чего пчел сотворил! – пробормотал он себе под нос.

И стал медленно попивать медок, глубоко при этом вздыхая и поглядывая и на пруд, и на дубравы, и боры, что тянулись по ту сторону пруда, далеко-далеко, насколько хватает глаз.



Был второй час пополудни, на небе ни облачка. Липовый цвет бесшумно опадал на землю, а в листве распевала целая капелла пчел, которые тут же стали садиться на края кубка и собирать сладкую жидкость мохнатыми лапками.

С отдаленных, окутанных мглой тростников над большим прудом поднимались порою стада уток, чирков или диких гусей и летали в прозрачной лазури, похожие на черные крестики; порою караван журавлей, громко курлыча, тянулся высоко в небе, и так тихо было кругом, и спокойно, и солнечно, и весело, как бывает в первых числах августа, когда хлеба уже созрели, а солнце словно золотом заливает землю.

Глаза старика то поднимались к небу, следя за стаями птиц, то снова устремлялись вдаль, но все дремотней, потому что меду в сулейке оставалось все меньше, и веки все тяжелели, а пчелы, как нарочно, на разные голоса напевали свою песенку, и от этого еще больше клонило к послеобеденному сну.

– Да, да, послал Господь Бог для жатвы погожие деньки, – пробормотал Заглоба. – И сено вовремя убрали, и с жатвой быстро управимся. Да, да!..

Тут он закрыл глаза, затем снова открыл их на мгновение, пробормотал: «Замучили меня детишки!» – и уснул крепким сном.

Спал он довольно долго; разбудило его через некоторое время легкое дуновение прохладного ветерка, говор и шаги двух мужчин, торопливо приближавшихся к липе. Один из них был Ян Скшетуский, знаменитый герой Збаража, который, вернувшись с Украины от гетманов, уже месяц лечился дома от упорной лихорадки; второго Заглоба не знал, хотя ростом, осанкой и даже чертами лица он живо напоминал Яна.

– Позволь, батюшка, – обратился Ян к Заглобе, – представить тебе моего двоюродного брата, пана Станислава Скшетуского из Скшетушева, ротмистра калишского.

– Ты, пан Станислав, так похож на Яна, – сказал Заглоба, моргая глазами и стряхивая с ресниц остатки сна, – что, где бы я тебя ни встретил, сразу бы сказал: «Скшетуский!» Ах, какой же гость в доме!

– Мне очень приятно познакомиться с тобою, милостивый пан, – ответил Станислав, – тем более что имя твое мне хорошо знакомо, – все рыцари Речи Посполитой с уважением его повторяют и ставят тебя за образец.

– Не хвалясь, могу сказать, что делал все, что мог, пока была сила в костях. Я бы и сейчас не прочь повоевать, ибо *consuetudo altera natura*<sup>27</sup>. Однако чем это вы оба так огорчены, что Ян даже побледнел.

– Станислав привез страшные вести, – ответил Ян. – Шведы вступили в Великую Польшу и уже всю ее захватили.

Заглоба вскочил со скамьи, точно на добрых четыре десятка лет был моложе, широко раскрыл глаза и невольно схватился за бок, ища саблю.

– Как так? – воскликнул он. – Как так? Всю захватили?

– Воевода познанский и другие предали ее под Уйстем врагу, – ответил Станислав Скшетуский.

– Ради Христа!.. Что ты говоришь? Они сдались?!

– Не только сдались, но и подписали договор, в котором отреклись от короля и от Речи Посполитой. Отныне там должна быть не Польша, а Швеция...

– Милосердный Боже! Раны Господни! Светопреставление! Что я слышу? Мы с Яном еще вчера толковали о том, что нам грозятся шведы, слух прошел, что они уже идут: но мы были уверены, что все это кончится ничем, разве только наш король и повелитель, Ян Казимир, отречется от титула короля шведского.

– А между тем все началось с потери провинции, и Бог весть чем кончится.

---

<sup>27</sup> привычка – вторая натура (*лат.*).

– Перестань, пан Станислав, а то меня удар хватит! Как же так? И ты был под Уйстем? И ты смотрел на все это? Это же просто самая подлая измена, неслыханная в истории!

– И был, и смотрел, а была ли это измена, ты сам рассудишь, когда я тебе все расскажу. Мы стали станом под Уйстем, шляхетское ополчение да ратники, всего тысяч пятнадцать, и заняли рубежи по Нотецу ab incursione hostili<sup>28</sup>. Правда, войска у нас было мало, а ты, пан, искушенный солдат и лучше нас знаешь, может ли заменить его ополчение, да еще великопольской шляхты, давно отвыкшей от войны. И все-таки, будь у нас военачальник, мы могли бы, как бывало, дать отпор врагу и, уж во всяком случае, задержать его, пока Речь Посполитая не пришлет подмогу. Но не успел показаться Виттенберг, не успела пролиться первая капля крови, как наши тотчас затеяли переговоры. Потом явился Радзеёвский и до тех пор уговаривал, пока не навлек на нас несчастья и позора, какому доселе не было примера.

– Как же так? Ужели никто не воспротивился? Никто не восстал? Никто не бросил этим негодьям в лицо обвинения в измене? Ужели все согласились предать отчизну и короля?

– Гибнет честь, а с нею Речь Посполитая, ибо почти все согласились. Я, два пана Скорашевских, пан Цисвицкий и пан Клодзинский делали все, что могли, чтобы поднять шляхту на врага. Пан Владислав Скорашевский чуть ума не лишился; мы носились по стану от повета к повету, и, видит Бог, не было таких заклинаний, какими мы не молили бы шляхту. Но разве могли помочь заклинания, когда большая часть шляхты предпочитала ехать с ложками на пир, который посулил ей Виттенберг, нежели с саблями идти на бой. Видя это, честные люди разъехались кто куда: одни по домам, другие в Варшаву. Скорашевские отправились в Варшаву и первыми привезут весть королю, а у меня нет ни жены, ни детей, и я приехал к брату в надежде, что мы вместе двинемся на врага. Счастье, что застал вас дома.

– Так ты прямо из Уйстя?

– Прямо. По дороге только тогда останавливался, когда надо было дать отдых коням, и то одного загнал. Шведы уже, наверно, в Познани, а оттуда разольются скоро по всему нашему краю.

Все умолкли. Ян сидел в угрюмой задумчивости, опершись руками на колени, уставя глаза в землю, пан Станислав вздыхал, а Заглоба, еще не охладевший, остолбенело глядел на братьев.

– Дурное это предзнаменование, – мрачно произнес Ян. – В старину у нас на десять побед приходилось одно поражение, и весь мир дивился нашей отваге. Сегодня мы терпим одни поражения, нас вероломно предают, и к тому же не только отдельные лица, но и целые провинции. Боже, сжался над отчизной!

– О Господи! – воскликнул Заглоба. – Видал я свету, слышу, понимаю, а все не верится...

– Что ты думаешь делать, Ян? – спросил Станислав.

– Да уж, конечно, дома не останусь, хоть меня все еще трясет лихорадка. Жену с детьми надо будет устроить где-нибудь в безопасном месте. Пан Стабровский – мой родич, он королевский ловчий в Беловеже. Окажись в руках врагов вся Речь Посполитая, и то им в пущу не пробиться. Завтра же отправлю туда жену с детьми.

– Не лишняя это предосторожность, – заметил Станислав. – Хоть отсюда до Великой Польши далеко, как знать, не обоймет ли пламя в скором времени и здешние края.

– Надо будет дать знать шляхте, – сказал Ян, – пусть собирается и думает об обороне, здесь ведь никто еще ничего не знает. – Тут он обратился к Заглобе: – А как ты, отец, с нами пойдешь или поедешь с Еленой в пущу?

– Я? – воскликнул Заглоба. – Пойду ли я? Разве только ноги мои пустят корни в землю, тогда не пойду, да и то попрошу выкорчевать. Уж очень мне хочется еще разок отведать шведского мяса, все равно как волку баранины! Ах, прохвосты! Ах, негодяи! В чулочках щего-

<sup>28</sup> откуда мог вторгнуться враг (лат.).

ляют! Блохи на них учиняют набег, скачут им по икрам, ноги-то у них и свербят, вот и не сидится им дома, лезут в чужие земли... Знаю я их, собачьих детей, я еще при пане Конецпольском с ними дрался, и если уж вы хотите знать, кто взял в плен Густава Адольфа, так спросите об этом покойного пана Конецпольского. Я вам больше ничего не скажу. Знаю я их, но только и они меня знают! Проведали они, негодяи, как пить дать, что Заглоба постарел. Погодите же! Я вам еще покажу! Всемогуший Боже, почему же ты без ограды оставил несчастную Речь Посполитую, так что все соседские свиньи лезут к нам и три лучшие провинции уже сожрали! Вот оно дело какое! Да! Но кто же в том повинен, как не изменники? Не ведала чума, кого скосить, так лучших людей скосила, а изменников оставила. Пошли же, Господи, новый мор на воеводу познанского и на воеводу калишского, особенно же на Радзеёвского со всем его родом! А коли хочешь, чтобы в пекле народу прибыло, пошли туда всех, кто подписал сдачу под Уйстем. Заглоба постарел? Постарел, говорите? Вот увидите! Ян, давай скорее совет держать, что же нам делать, а то мне не терпится в седло!

– Да, надо держать совет, куда направиться. На Украину к гетманам трудно пробиться, их враг отрезал от Речи Посполитой, и дорога для них свободна только в Крым. Счастье, что татары сейчас на нашей стороне. Я так думаю, что нам надо ехать в Варшаву, к королю, защищать дорогого нашего повелителя!

– Вот только бы успеть! – подхватил Станислав. – А то король, наверно, спешно собирает хоругви и, пока мы приедем, выступит против неприятеля, а может статься, они уже и встретятся.

– И то может статься.

– Поедем тогда в Варшаву, только поскорее, – решил Заглоба. – Послушайте, друзья мои! Это верно, что врагу страшны наши имена, но втроем-то мы немного сможем сделать, так вот вам мой совет: давайте кликнем охотников из шляхты, чтобы привести к королю хоть маленькую хоругвь. Шляхту мы легко уговорим, ей все равно идти, когда придут вицы о созыве ополчения. Мы скажем, что тот, кто раньше по доброй воле вступит в хоругвь, доброе дело сделает для короля. С большими силами и успеть можно больше, вот и примут нас с распростертыми объятиями.

– Не дивись, пан, моим словам, – сказал Станислав, – но после всего того, что довелось мне увидеть, до того мне противно это ополчение, что лучше самому идти, нежели вести с собою толпу людей, которые не умеют воевать.

– Это ты, пан, здешней шляхты не знаешь. Тут ты не найдешь таких, кто бы не служил в войске. Люди все бывалые, добрые солдаты.

– Разве что так.

– Да уж так! Однако стойте! Ян знает, что если я пораскину умом, так непременно найду средство. Потому-то мы и сошлись так близко с воеводой русским, князем Иеремией. Пусть Ян подтвердит, сколько раз этот величайший из воителей следовал моему совету, и всегда от этого оставался в выигрыше.

– Говори уж, отец, что хотел сказать, а то время даром теряем, – прервал его Ян.

– Что я хотел сказать? А вот что я хотел сказать: не тот защищает отчизну и короля, кто за полы короля держится, а тот, кто врага бьет, а лучше всего тот бьет, кто служит у великого полководца. Зачем нам идти в Варшаву, где кто его знает, что ждет нас, – может, король уже уехал в Краков, во Львов или в Литву; мой совет, не мешкая, отправиться под знамена великого гетмана литовского, князя Януша Радзивилла. Настоящий это князь и воитель. Его винят в гордости, но уж шведам он наверняка не станет сдаваться. Это, по крайности, полководец и гетман хоть куда. Жарко там, правда, будет, придется с двумя врагами драться, зато пана Михала Володыёвского увидим, он служит в литовском войске, и опять, как в старое время, соберемся все вместе. Коли плох мой совет, пусть первый же швед схватит меня за португею и утащит в плен.

– Как знать? Как знать? – с живостью воскликнул Ян. – Может, так оно и лучше будет.  
– Да, кстати, и Еленку с детьми проводим, нам ведь придется ехать через пушу.  
– Да и служить будем не с ополченцами, а в войске, – прибавил Станислав.  
– И не шуметь будем, как на сеймике, да кур и творог поедасть в деревнях, а с врагом будем драться.

– Ты, пан, я вижу, не только муж битвы, но и совета, – заметил Станислав.

– А что? А?

– Верно, верно! – подтвердил Ян. – Это самый дельный совет. Как в старину, пойдем вместе с Михалом. Ты, Станислав, познакомишься с самым великим воителем в Речи Посполитой, сердечным моим другом и братом. Пойдемте теперь к Еленке, надо ей сказать, чтобы она тоже собиралась в путь.

– А разве она уже знает о войне? – спросил Заглоба.

– Знает, знает, Станислав при ней все мне рассказывал. Слезами заливается, бедняжка... Но когда я сказал ей, что надо идти, она тотчас ответила мне: «Иди!»

– Хорошо бы завтра тронуться в путь! – воскликнул Заглоба.

– Завтра и выедем еще затемно, – сказал Ян. – Ты, Станислав, с дороги, верно, весьма fatigatus<sup>29</sup>, ну ничего, до утра отдохнешь немного. Я еще сегодня вышлю лошадей в Белую, в Лосицы, в Дрогичин и в Бельск, чтобы везде была свежая подстава. А за Бельском и пуща рядом. Повозки с припасом отправим тоже сегодня. Жаль мне уезжать из родного угла, но на то воля Божья! Одно меня утешает, что я буду спокоен за жену и деток: лучшей крепости, чем пуща, во всем свете не сыщешь. Пойдемте домой, пора готовиться в поход.

Они ушли.

Станислав, сильно утомленный дорогой, подкрепился на скорую руку и отправился спать, а Ян с Заглобой занялись подготовкой к походу. У Яна во всем был такой порядок, что повозки и люди в ночь уже тронулись в путь, а на следующий день вслед за ними покатила коляска с Еленой, детьми и старой девой, приживалкой. Станислав и Ян с пятью слугами сопровождали коляску верхом. Подвигались быстро, так как в городах путников ждала свежая подстава.

Не останавливаясь, даже на ночлег, они на пятый день доехали до Бельска, а на шестой день углубились в пушу со стороны Гайновщизны.

Их сразу охватил сумрак необъятного леса, который в ту пору занимал несколько десятков квадратных миль, с одной стороны сливаясь далеко-далеко с пущами Зелёнкой и Роговской, а с другой – с прусскими борами.

Нога захватчика никогда не попирала этих темных дебрей, в которых человек незнакомый мог заблудиться и плутать до тех пор, пока не упал бы от изнурения или не стал пищей хищных зверей. По ночам в пуще раздавался рык зубров и медведей, мешаясь с воем волков и хриплым лаем рысей. Опасные тропы вели через чащобы и поляны, мимо ветролома и бурелома, болот и страшных сонных озерец к разбросанным там и сям селеньям поташников, смолокуров и загонщиков, из которых многие за всю свою жизнь ни разу не выходили из пуши. Только в Беловеж вела дорога пошире, которую называли Сухой дорогой; по ней короли ездили на охоту. Туда-то из Бельска и направлялись со стороны Гайновщизны Скшетуские.

Стабровский, королевский ловчий, старый одинокий холостяк, постоянно, как зубр, сидевший в пуще, принял гостей с расprostертыми объятиями, а детей чуть не задушил поцелуями. Жил он с одними загонщиками, шляхтича в лицо не видал, разве что на королевской охоте, когда в пушу приезжал Двор.

Он управлял в пуще всем охотничьим хозяйством и всеми смолокурами. Весть о войне, о которой он узнал только из уст Скшетуского, очень удручила старика.

<sup>29</sup> устал (лат.).

Часто так бывало, что в Речи Посполитой пылала война, умирал король, а в пушу и слух об этом не доходил; один только ловчий привозил новости, когда возвращался от подскарбия литовского, которому раз в год обязан был представлять счета по хозяйству.

– Ох, и скучно же будет вам тут, ох, и скучно! – говорил Стабровский Елене. – Зато такого надежного убежища на всем свете не сыщешь. Никакому врагу не пробраться через эти дебри, а если он и отважится на это, загонщики с налету перестреляют ему всех людей. Легче завоевать всю Речь Посполитую, – избави Бог от такой беды! – нежели пушу. Двадцать лет живу я тут и то ее не знаю; есть тут такие места, куда и доступу нет, где только зверь живет да, может, злые духи прячутся от колокольного звона. Но мы живем по-божьи, в селенье у нас часовня, и раз в год из Бельска к нам наезжает ксендз. Как в раю вам тут будет, коли скука не одолеет. Зато топить есть чем...

Ян был рад-радешенек, что нашел для жены такое убежище; однако Стабровский напрасно удерживал его и потчевал.

Переночевав у ловчего, рыцари на следующий же день тронулись на рассвете в путь; в лесном лабиринте вели их провожатые, которых дал им ловчий.

## Глава XII

Когда Ян Скшетуский со своим двоюродным братом Станиславом и Заглобой после утомительного пути прибыл наконец из пуши в Упиту, Михал Володыёвский чуть с ума не сошел от радости: он давно не имел о друзьях никаких вестей, а об Яне думал, что тот с королевской хоругвью, в которой он служил поручиком, находится на Украине у гетманов.

Маленький рыцарь по очереди заключал друзей в объятия, выпускал, и снова обнимал, и руки потирал; а когда они сказали, что хотят служить у Радзивилла, еще больше обрадовался от одной мысли, что они не скоро расстанутся.

– Слава Богу, собираемся все вместе, старые бойцы Збаража, – говорил он. – И воевать охота, когда рядом друг.

– Это была моя мысль, – сказал Заглоба. – Они хотели скакать к королю. Ну, а я сказал им: а почему бы нам не тряхнуть стариной с паном Михалом? Коли Бог пошлет нам такое счастье, как с казаками да с татарами, так скоро не один швед будет на нашей совести.

– Это тебя Бог надоумил! – воскликнул пан Михал.

– Мне то удивительно, – вмешался в разговор Ян, – что вы уже знаете про Уйсте и про войну. Станислав сломя голову скакал ко мне, мы сюда тоже летели во весь опор, думали, будем первыми вестниками беды.

– Наверно, евреи занесли сюда эту весть, – заметил Заглоба. – Они всегда первые обо всем дознаются, а связь у них такая, что чихнет кто-нибудь утром в Великой Польше, а вечером в Жмуди и на Украине ему скажут: «Будь здоров!»

– Не знаю, как все было, но мы уже два дня обо всем знаем, – сказал пан Михал. – Все тут в смятении. В первый день мы еще не очень этому верили, но на второй день никто уже не сомневался. Более того, еще войны не было, а уже словно птицы о ней в воздухе пели: все вдруг сразу и безо всякого повода заговорили о ней. Наш князь воевода, видно, тоже ждал ее, да и знал больше других, кипел как в котле и в последнюю минуту примчался в Кейданы. По его приказу вот уже два месяца набирают людей в хоругви. Я набирал, Станкевич и некий Кмициц, хорунжий оршанский; слышал я, что он уже готовенькую хоругвь отправил в Кейданы. Из всех нас он первый успел.

– А ты, Михал, хорошо знаешь князя воеводу виленского? – спросил Ян.

– Как же мне его не знать, коли я у него всю последнюю войну воевал.

– Что известно тебе об его замыслах? Достойный он человек?

– Воитель он весьма искусный, – как знать, после смерти князя Иеремии не самый ли великий во всей Речи Посполитой. Правда, последний раз его разбили в бою, но ведь и людей у него было шесть тысяч против восьмидесяти. Пан подскарбий и пан воевода витебский поносят его за это всячески, говорят, будто это он от спеси бросился на могучего врага со столь малыми силами, не хотел будто делить с ними победы. Бог его знает, как было дело. Но сражался он храбро и жизни своей не щадил. Я сам видал, и одно только могу сказать, что, будь у него больше войска и денег, ни один бы враг не унес оттуда ног. Думаю, он теперь возьмется за шведов; мы, наверно, и ждать их здесь не станем, двинемся в Лифляндию.

– Из чего ты это заключаешь?

– Есть на то две причины: первое, после цибиховской битвы захочет князь дела свои поправить, слава-то его поколебалась тогда, а второе – любит он войну...

– Это верно, – сказал Заглоба, – я давно его знаю, мы ведь с ним в школе учились, и я за него делал уроки. Он всегда любил войну и потому больше со мной дружил, нежели с прочими, я ведь тоже предпочитал латыни коня да копьецо.

– Да уж это вам не воевода познанский, совсем это другой человек, – сказал Станислав Скшетуский.

Володыёвский стал расспрашивать его, как было дело под Уйстем; он за голову хватался, слушая рассказ Скшетуского.

– Ты прав, пан Станислав, – сказал он, когда Скшетуский кончил свой рассказ. – Наш Радзивилл на такие дела не способен. Это верно, что гордыня у него дьявольская, ему сдается, что во всем свете нет рода выше, чем радзивилловский! И то верно, что он не терпит непокорства и на пана Госевского, подскарбия, гневается за то, что тот не пляшет под радзивилловскую дудку. На короля он тоже сердит за то, что тот не так скоро, как ему хотелось, дал ему булаву великого гетмана литовского. Все это верно, как верно и то, что он не хочет вернуться в лоно истинной веры и предпочитает ей бесстыдную кальвинистскую ересь, что католиков притесняет, где только можно, что строит еретикам кирпичи. Зато могу поклясться, что он скорее пролил бы последнюю каплю своей гордой крови, нежели подписал такую постыдную сдачу, как под Уйстем... Придется нам повоевать немало, ибо не виршеплет, а воитель поведет нас в поход.

– Это мне и на руку! – воскликнул Заглоба. – Мы больше ничего и не желаем. Пан Опалинский виршеплет, вот оно сразу и вышло наружу, какая ему цена. Самые плевые это людишки! Стоит такому вырвать из гусиной гузки перо, и уж он воображает, что у него ума палата, других учит, собачий сын, а как дойдет дело до сабли, его и след простыл. Я сам смолodu кропал вирши, чтобы покорять женские сердца, и пана Кохановского перещеголял бы с его фразками; но потом солдатская натура одержала верх.

– Я еще вот что скажу вам, – продолжал Володыёвский, – коли уж шляхта зашевелилась, народу соберется пропасть, только бы денег достало, это ведь самое важное дело.

– О, Боже, только не ополченцы! – воскликнул пан Станислав. – Ян и пан Заглоба уже знают, что я о них думаю, а тебе, пан Михал, я одно скажу: по мне, уж лучше обозником быть в регулярной хоругви, нежели предводителем всего шляхетского ополчения.

– Народ здесь храбрый, – возразил Володыёвский, – искушенные воители. Взять хотя бы хоругвь, которую я набрал. Всех, кто хотел вступить, я не мог принять, а среди тех, кого принял, нет ни одного, кто бы не служил в войске. Я покажу вам эту хоругвь; право, не скажи я вам об этом, вы бы все равно признали в них старых солдат. Каждый в огне в два кулака кован, как старая подкова, а в строю стоят, как римские *triarii*<sup>30</sup>. С ними шведам так не разделаться, как под Уйстем с великопольской шляхтой.

– Я надеюсь, все еще с Божьей помощью переменится, – сказал Скшетуский. – Говорят, шведы добрые солдаты; но ведь они никогда не могли устоять против нашего регулярного войска. Мы их всегда били, – это уж дело проверенное, – мы их били даже тогда, когда их вел в бой самый великий их полководец.

– Сказать по правде, очень мне это любопытно, какие из них солдаты, – заметил Володыёвский. – Плохо то, что отчизна несет бремя еще двух войн, а то бы я не прочь повоевать со шведами. Испробовали мы и татар, и казаков, и еще Бог весть кого, надо бы теперь и шведов испробовать. В Короне с людьми может быть трудно; все войско с гетманами на Украине. А у нас я наперед могу сказать, как все будет. Князь воевода оставит воевать тут пана подскарбия Госевского, гетмана польного, а сам займется шведами. Что говорить, тяжело нам придется! Будем, однако, надеяться, что Господь не оставит нас.

– Едем тогда не мешкая в Кейданы! – сказал пан Станислав.

– Да ведь и я получил приказ привести хоругвь в боевую готовность, а самому в течение трех дней явиться в Кейданы, – подхватил пан Михал. – Надо, однако, показать вам этот приказ, из него видно, что князь воевода думает уже о шведах.

---

<sup>30</sup> Триарий – в римских легионах воин-ветеран; триарии стояли в третьем ряду и в решающий момент вступали в бой (лат.).

С этими словами Володыёвский открыл ключом шкатулку, стоявшую на скамье под окном, достал сложенную вдвое бумагу и, развернув, начал читать:

– «Милостивый пан Володыёвский, полковник!

С великою радостью прочитали мы твое донесение о том, что хоругвь уже готова и в любую минуту может двинуться в поход. Держи ее, милостивый пан, в боевой готовности, ибо страшная приходит година, какой еще не бывало, сам же спешно явись в Кейданы, где мы будем ждать тебя с нетерпением. Ежели до слуха твоего дойдут какие-либо вести, ничему не верь, покуда не узнаешь обо всем из наших уст. Мы поступим так, как повелевает нам Бог и совесть, невзирая на то, что людская злоба и неприязнь могут о нас измыслить. Но вместе с тем мы рады тому, что приходят такие времена, когда явным станет, кто истинный и преданный друг дома Радзивиллов и даже *in rebus adversis*<sup>31</sup> готов ему служить. Кмициц, Невяровский и Станкевич уже привели свои хоругви; твоя же пусть остается в Упите, ибо там она может понадобиться, а может, вам придется двинуться на Подлясье с двоюродным братом моим, ясновельможным князем Богуславом, конюшим литовским, коему вверено начальство над значительною частью наших сил. Обо всем этом ты подробно узнаешь от нас, а покуда повелеваем незамедлительно выполнить приказы и ждем тебя в Кейданах.

*Януш Радзивилл,  
князь Биржанский и Дубинковский,  
воевода Виленский,  
Великий гетман Литовский».*

– Да! По письму видно, что новая война! – сказал Заглоба.

– А коли князь пишет, что поступит, как повелевает ему Бог и совесть, стало быть, будет бить шведов, – прибавил пан Станислав.

– Мне только то удивительно, – заметил Ян Скшетуский, – что он пишет о верности не отчизне, а дому Радзивиллов, – ведь отчизна значит больше, нежели Радзивиллы, и спасать надо в первую очередь ее.

– Это у них такая повадка княжья, – возразил Володыёвский, – хоть и мне это сразу не понравилось, ибо и я служу не Радзивиллам, а отчизне.

– Когда ты получил это письмо? – спросил Ян.

– Сегодня утром, и после полудня хотел ехать. Вы вечером отдохнете с дороги, а я завтра, наверно, ворочусь, мы и двинемся тотчас с хоругвью, куда прикажут.

– Может, на Подлясье? – высказал предположение Заглоба.

– К князю конюшему! – повторил пан Станислав.

– Князь конюший Богуслав тоже сейчас в Кейданах, – возразил Володыёвский. – Любопытный человек, вы к нему получше присмотритесь. Славный воитель, а рыцарь и того славей, но польского в нем ни на грош. Одевается по-иноземному, говорит по-немецки, а то и по-французски лопочет так, точно орехи грызет, час можешь слушать его разговор и ничего не поймешь.

– Князь Богуслав под Берестечком храбро сражался, – заметил Заглоба, – да и пехоту выставил добрую, немецкую.

– Кто ближе его знает, не очень его хвалит, – продолжал Володыёвский. – Он только немцев и французов любит; да и нет ничего удивительного, – мать-то у него немка, дочь бранденбургского курфюрста; его покойный отец не только не взял за нею никакого приданого, но и сам должен был еще приплатить, – видно, у этих князьков карманы тощие. Но Радзивил-

---

<sup>31</sup> в несчастье (*лат.*).



лам важно иметь *suffragia*<sup>32</sup> в Священной Римской империи, князьями которой они состоят, потому-то они с такой радостью роднятся с немцами. Мне об этом пан Сакович сказал, старый слуга князя Богуслава, которому тот дал староство Ошмянское. Он и пан Невяровский, полковник, ездили с князем Богуславом за границу, в разные заморские края, и на поединках всегда бывали у него секундантами.

– Сколько же у него было поединков? – спросил Заглоба.

– Как волос на голове! Пропасть он погубил заграничных князей да графов, французских и немецких; говорят, человек он горячий и храбрый и за всякое слово вызывает на поединок.

Станислав Скшетуский, вызванный из задумчивости, вмешался в разговор:

– Слышал и я про князя Богуслава, от нас недалеко до Бранденбурга, где он вечно пропадает у курфюрста. Помню, еще отец вспоминал, как отец князя Богуслава женился на немецкой княжне и как народ роптал, что такой знатный дом роднится с иностранцами; но, может, оно и к лучшему, ведь теперь курфюрст, как родич Радзивиллов, должен помогать Речи Посполитой, а от него сейчас многое зависит. А то, что ты говоришь про тощие карманы, это неправда. Конечно, продай всех Радзивиллов, так за них купишь курфюрста со всем его княжеством; однако нынешний курфюрст Фридрих Вильгельм поднакопил уже немало денег, и отборного войска у него двадцать тысяч, так что он смело может выступить с ним против шведов, а как ленник Речи Посполитой он обязан выступить, если только есть в нем Бог и помнит он все благодеяния, которые Речь Посполитая оказала его дому.

– А выступит ли он? – спросил Ян.

– Черная это была бы неблагодарность и вероломство, если бы он не выступил! – ответил Станислав.

– Трудно ждать от чужих благодарности, особенно от еретика, – заметил пан Заглоба. – Я помню этого вашего курфюрста еще подростком, всегда он был молчун: все как будто слушал, что ему дьявол на ухо шепчет. Я ему в глаза это сказал, когда мы с покойным паном Конечпольским были в Пруссии. Он такой же лютеранин, как и шведский король. Дай-то Бог, чтоб они еще союза не заключили против Речи Посполитой...

– Знаешь, Михал, – обратился вдруг Ян к Володыёвскому. – Не стану я нынче отдыхать, поеду с тобой в Кейданы. Ночью теперь лучше ехать, днем жара, да и очень мне хочется разрешить все сомнения. Отдохнуть еще будет время, не двинется же князь завтра в поход.

– Тем более что он велел задержать хоругвь в Упите, – подхватил пан Михал.

– Вот это дело! – воскликнул Заглоба. – Поеду и я с вами!

– Так едемте все вместе! – сказал пан Станислав.

– Завтра к утру и будем в Кейданах, – сказал Володыёвский, – а дорогой и в седле можно сладко подремать.

Спустя два часа рыцари, подкрепившись, тронулись в путь и еще до захода солнца доехали до Кракинова.

В пути пан Михал рассказал друзьям о здешних местах, о славной лауданской шляхте, о Кмицице и обо всем, что случилось тут в последнее время. Признался он и в своей любви, по обыкновению несчастной, к панне Биллевич.

– Одно хорошо, – что война на носу, – говорил пан Михал, – а то пропал бы я с тоски. Иной раз подумаешь, – такое уж, видно, мое счастье, придется, пожалуй, умереть холостяком.

– Ничего нет в том обидного, – сказал Заглоба, – ибо препочетное это состояние и угодное Богу. Я решил остаться холостяком до конца жизни. Жаль мне иногда, что некому будет передать славу и имя, – детей Яна я как родных люблю, но все-таки не Заглобы они, а Скшетуские.

<sup>32</sup> Избирательный голос. В данном случае – при избрании монарха (лат.).

– Ах, негодник! – воскликнул Володыёвский. – Вовремя собрался принять решение, все равно что волк, который дал обет не душить овец, когда у него выпали все зубы.

– Неправда! – возразил Заглоба. – Давно ли мы с тобой, пан Михал, были на выборах короля в Варшаве. На кого же оглядывались тогда все дамы, если не на меня? Помнишь, как ты жаловался, что на тебя ни одна и не взглянет? Но коли уж припала тебе охота жениться, не огорчайся. Придет и твой черед. И искать нечего, найдешь как раз тогда, когда искать не будешь. Нынче время военное, каждый год погибает много достойных кавалеров. Повоюем еще со шведами, так девки совсем подешевеют, на ярмарках будем их покупать на дюжины.

– Может, и мне суждено погибнуть, – сказал пан Михал. – Довольно уж мне скитаться по свету. Нет, не в силах я описать вам красоту и достоинства панны Билевич. Уж так бы я любил ее, уж так бы голубил, как самого милого друга! Так нет же! Принесли черти этого Кмицица! Он ей зелья подсыпал, как пить дать, а то бы она меня не прогнала. Вон поглядите! Из-за горки уж видны Водокты; но дома никого нет, уехала она Бог весть куда. Мой бы это был приют, тут бы провел я остаток своих дней. У медведя есть своя берлога, у волка есть свое логово, а у меня только эта вот кляча да это вот седло, в котором я сижу...

– Видно, ранила она твое сердце, – сказал Заглоба.

– Как вспомню ее или, проезжая мимо, увижу Водокты, все еще жалко мне... Хотел клин клином выбить и поехал к пану Шиллингу, – у него дочка красавица. Я ее как-то в дороге издали видел, и очень она мне приглянулась. Поехал я, и что же вы думаете? Отца не застал дома, а панна Кахна решила, что это к ним не пан Володыёвский приехал, а мальчишка, его слуга. Так я разобиделся, что больше туда ни ногой.

Заглоба рассмеялся.

– Ну тебя совсем, пан Михал! Вся беда в том, что тебе надо найти жену под стать себе, такую же крошку. А куда девалась эта маленькая бестия, которая была фрейлиной у княгини Вишневецкой, на ней еще покойный пан Подбипытка – упокой, Господи, его душу! – хотел жениться? Та была бы как раз под стать тебе, совсем малюточка, хоть глазки у нее так и сверкали!

– Это Ануся Борзобогатая-Красенская, – сказал Ян Скшетуский. – Все мы в свое время в нее влюблялись, и Михал тоже. Бог его знает, что с нею сейчас.

– Вот бы отыскать да утешить! – воскликнул пан Михал. – Вспомнили вы ее, и у меня на душе стало теплей. Благороднейшей души была девушка. Дай-то Бог повстречаться с нею!.. Эх, и добрые это были старые лубенские времена, да никогда уж они не воротятся. Не будет, пожалуй, больше и такого военачальника, каким был наш князь Иеремия. Знали мы тогда, что каждая встреча с врагом принесет нам победу. Радзивилл великий воитель, но куда ему до Иеремии, да и служишь ему не с таким усердием, – нет у него отцовской любви к солдату, неприступен он, мнит себя владыкою, хоть Вишневецкие были не хуже Радзивиллов.

– Не стоит говорить об этом, – промолвил Ян Скшетуский. – В его руках теперь спасение отчизны, и да ниспошлет ему Бог свое благословение, ибо он готов отдать за нее жизнь.

Такой разговор вели рыцари между собою, едучи ночью, и то вспоминали дела минувших дней, то толковали о нынешней тяжелой године, когда на Речь Посполитую обрушились сразу три войны.

Потом стали они читать молитвы на сон грядущий, Богородице и святым помолились, а как кончили, сон сморил их, и они задремали, покачиваясь в седлах.

Ночь была ясная, теплая, тысячи звезд мерцали в небе; едучи нога за ногу, друзья сладко спали, и только когда забрезжил свет, первым проснулся пан Михал.

– Откройте глаза, друзья мои, Кейданы уж видно! – крикнул он.

– А? Что? – пробормотал Заглоба. – Кейданы? Где?

– Вон там! Башни видны.

– Красивый город, – заметил Станислав Скшетуский.

– Очень красивый, – подтвердил Володыёвский. – Днем вы это еще лучше увидите.

– Это вотчина князя воеводы?

– Да. Раньше город принадлежал Кишкам; отец князя Януша взял его в приданое за Анной, внучкой витебского воеводы, Кишки. Во всей Жмуди нет города лучше, а все потому, что сюда евреев не пускают, разве по особому позволению Радзивиллов. Меды тут хороши.

Заглоба протер глаза.

– Э, да тут почтенные люди живут. А что это за высокое здание вон там, на холме?

– Это замок, его недавно возвели, уже в княжение Януша.

– Он укреплен?

– Нет, это роскошная резиденция. Его не стали укреплять, ведь сюда со времен крестоносцев никогда не заходил враг. Острый шпиль, вон там, видите, посередине города, – это соборный костел. Крестоносцы построили этот костел еще в языческие времена, потом его отдали кальвинистам; но ксендз Кобылинский снова отсудил его у князя Кшиштофа.

– Ну и слава Богу!

Ведя такой разговор, рыцари подъехали к первым домикам предместья.

Заря тем временем все разгоралась, всходило солнце. Рыцари с любопытством разглядывали незнакомый город, а Володыёвский продолжал свой рассказ:

– Это вот Еврейская улица, здесь евреи живут, которые получили на то позволение. По этой улице мы доедем до самой рыночной площади. Ого, люди уже встают и выходят из домов. Взгляните-ка, сколько лошадей возле кузниц, и челядь не в радзивилловском платье. Верно, в Кейданах какой-нибудь съезд. Тут всегда полно шляхты и знати, иной раз и из чужих краев приезжают гости, – это ведь столица еретиков всей Жмуди, они здесь под защитой Радзивиллов свободно отправляют свои службы и суеверные обряды. О, вот и площадь! Обратите внимание, какие часы на ратуше! Лучше, пожалуй, нет и в Гданьске. А вон та молельня с четырьмя башнями – это кирка реформатов, они каждое воскресенье кошунствуют там, а вот лютеранская кирка. Вы, может, думаете, что здешние горожане – поляки или литвины? Вовсе нет! Одни немцы да шотландцы, и больше всего тут шотландцев! Пехотинцы из них первейшие, особенно лихо рубятся они бердышами. Есть у князя шотландский полк из одних кейданских охотников. Э, сколько на площади повозок с коробами! Наверно, какой-нибудь съезд. Во всем городе нет ни одного постоянного двора, заехать можно только к знакомым; ну, а шляхта – та в замке останавливается; там боковое крыло дворца длиною в несколько десятков локтей предназначено только для приезжих. Год целый будут тебя учтиво принимать за счет князя; но кое-кто живет там постоянно.

– Удивительно мне, что гром не грянул и не спалил эту еретическую молельню! – сказал Заглоба.

– А вы знаете, было такое дело. Там промежду четырех башен купол был как шапка, ну, однажды как ударило в этот купол, так от него ничего не осталось. В подземелье здесь покоится отец князя конюшего Богуслава, тот самый Януш, который поднял рокош против Сигизмунда Третьего. Собственный гайдук раскроил ему череп, так что он и жил грешил, и погиб занапрасно.

– А что это за обширное строение, похожее на каменный сарай? – спросил Ян.

– Это бумажная мануфактура, ее князь основал, а рядом книгопечатня, в которой еретические книги печатают.

– Тьфу! – плюнул Заглоба. – Чума бы взяла этот город! Что ни вздохни, то еретического духу полно брюхо наберешь. Люцифер может быть здесь таким же господином, как и Радзивилл.

– Милостивый пан! – воскликнул Володыёвский. – Не хули Радзивилла, ибо в скором времени отчизна, быть может, будет обязана ему спасением.

Они ехали дальше в молчании, глядя на город и дивясь порядку, царившему в нем: все улицы были вымощены булыжником, что в те времена было большой редкостью.

Миновав рыночную площадь и Замокую улицу, путники увидели на возвышенности роскошную резиденцию, недавно построенную князем Янушем, которая и в самом деле не была укреплена, но размерами превосходила не только дворцы, но и замки. Здание стояло на холме и обращено было на город, который как бы лежал у его подножия. Расположась покоем с двумя крыльями пониже, оно образовало огромный двор, огражденный спереди железной решеткой с высокими частыми зубцами. Посредине решетки поднимались могучие, сложенные из камня ворота с гербами Радзивиллов и гербом города Кейданы, представлявшим лапу орла с черным крылом на золотом поле и с красной подковой из трех крестов. В воротах была караульня, и шотландские драбанты стояли на страже, но не для охраны, а для парада.

Время было раннее, однако во дворе уже царило движение, и перед главным корпусом проходил муштру полк драгун в голубых колетах и шведских шлемах. Длинный строй замер с рапирами наголо, а офицер, проезжая перед фронтом, что-то говорил солдатам. Вокруг строя и дальше, у стен дома, толпы челяди в пестром платье глазели на драгун и обменивались замечаниями и наблюдениями.

– Клянусь Богом, – сказал пан Михал, – это пан Харламپ муштрует свой полк!

– Как? – воскликнул Заглоба. – Неужели тот самый, с которым ты должен был драться во время выборов короля в Липкове?

– Он самый. Но мы с той поры живем в мире и согласии.

– И впрямь он! – подтвердил Заглоба. – Я признал его по носу, который торчит из-под шлема. Хорошо, что забрала вышла из моды, а то он ни одного не смог бы застегнуть; но на нос этому рыцарю нужен все-таки особый доспех.

Тем временем Харламп заметил Володыёвского и рысью подскочил к нему.

– Как поживаешь, Михалек? – вскричал он. – Хорошо, что приехал!

– А еще лучше, что первого встретил тебя. Вот пан Заглоба, с которым ты познакомился в Липкове, да нет, раньше, в Сеннице, а это вот Скшетуские: пан Ян, ротмистр королевской гусарской хоругви, герой Збаража...

– О, да ведь это славнейший рыцарь в Польше! – вскричал Харламп. – Здорово, здорово!

– А вот пан Станислав, ротмистр калишский, – продолжал Володыёвский. – Он прямо из Уйстя.

– Из Уйстя? Так ты, пан, был свидетелем страшного позора. Мы уже знаем, что там случилось.

– А я сюда и приехал в надежде, что уж тут-то такого позора не будет.

– Будь уверен. Радзивилл – это тебе не Опалинский.

– Мы вчера в Упите то же самое говорили.

– Рад приветствовать вас и от своего имени, и от имени князя воеводы. Князь обрадуется, когда вас увидит, ему такие рыцари очень нужны. Пойдемте же ко мне, в арсенал, у меня там квартира. Вам переодеться надо и подкрепиться, а я тоже к вам присоединюсь, ученье я уж закончил.

С этими словами Харламп снова подскочил к строю и коротко и зычно скомандовал:

– Налево, кругом! Марш!

Копыта зацокали по мостовой. Строй вздвоил ряды, раз, другой, пока не построился наконец по четыре в ряд и медленным шагом не стал удаляться по направлению к арсеналу.

– Добрые солдаты, – молвил Скшетуский, глазами знатока глядя на точные движения драгун.

– В драгунах одна шляхта служит да путные боярские дети, – сказал Володыёвский.

– Боже мой, оно и видно, что это не ополченцы! – воскликнул пан Станислав.

– Так Харламп у них поручиком? – спросил Заглоба. – А мне что-то помнится, он в панцирной хоругви служил и носил на плече серебряную петлицу.

– Да, – ответил Володыёвский, – но вот уже года два он командует драгунским полком. Старый это солдат, стреляный.

Харламп тем временем отослал драгун и подошел к нашим рыцарям.

– Пожалуйте за мной. Вон там, позади дворца, арсенал.

Через полчаса они сидели впятером за грымзовым пивом, щедро забеленным сметаной, и вели разговор о новой войне.

– А что у вас здесь слышно? – спрашивал Володыёвский.

– У нас что ни день, то новость, люди теряются в догадках, вот и пускают все новые слухи, – ответил Харламп. – А по-настоящему один только князь знает, что будет. Замысел он какой-то обдумывает: и веселым притворяется, и с людьми милостив, как никогда, однако же очень задумчив. По ночам, толкуют, не спит, все ходит тяжелым шагом по покоям и сам с собой разговаривает, а весь день держит совет с Гарасимовичем.

– Кто он такой, этот Гарасимович? – спросил Володыёвский.

– Управитель из Заблудова, с Подлясья; невелика птица и с виду такой, будто дьявола в запазухе держит; но у князя он в чести и, похоже, знает все его тайны. Я так думаю, жестокая и страшная война будет у нас со шведами после всех этих советов, и ждем мы все ее с нетерпением. А пока гонцы с письмами носятся: от герцога курляндского, от Хованского и от курфюрста. Поговаривают, будто князь ведет переговоры с Москвой, хочет вовлечь ее в союз против шведов; другие толкуют, будто вовсе этого нет; но сдаётся мне, ни с кем не будет союза, а только война – и с шведом и с Москвой. Войск прибывает все больше, и шляхте, которая всей душой преданна дому Радзивиллов, письма шлют, чтобы съезжалась сюда. Везде полно вооруженных людей... Эх, друзья, кто виноват, тот и в ответе будет; но руки у нас по локоть будут в крови: уж коли Радзивилл пойдет в бой, он шутить не станет.

– Так, так! – потирая руки, проговорил Заглоба. – Немало крови пустил я шведам этими руками, но и еще пушу немало. Немного солдат осталось в живых из тех, кто видел меня под Пуцком и Тишяной, но кто еще жив, никогда меня не забудет.

– А князь Богуслав здесь? – спросил Володыёвский.

– Да. Нынче мы ждем еще каких-то важных гостей: верхние покои убирают, и вечером в замке будет пир. Михал, попадешь ли ты сегодня к князю?

– Да ведь он сам вызвал меня на сегодня.

– Так-то оно так, да сегодня он очень занят. К тому же... право, не знаю, можно ли сказать вам об этом... а впрочем, через какой-нибудь час все об этом узнают! Так и быть, скажу... Неслыханные дела у нас тут творятся...

– Что такое? Что такое? – оживился Заглоба.

– Должен вам сказать, что два дня назад к нам в замок приехал пан Юдицкий, кавалер мальтийский, о котором вы, наверно, слыхали.

– Ну как же! – сказал Ян. – Это великий рыцарь!

– Вслед за ним прибыл гетман польный Госевский. Очень мы удивились, – все ведь знают, как соперничают и враждуют друг с другом гетман польный и наш князь. Кое-кто обрадовался, – дескать, мир теперь между гетманами, кое-кто толковал, будто это шведское нашествие заставило их помириться. Я и сам так думал, а вчера оба гетмана заперлись с паном Юдицким, все двери позапирали, так что никто не слышал, о чем они держат совет, только пан Крепштул, который стоял на страже под дверью, рассказывал нам, что очень они кричали, особенно гетман польный. Потом сам князь проводил гостей в их опочивальни, а ночью, можете себе представить, – тут Харламп понизил голос, – к их дверям приставили стражу.

Пан Володыёвский даже привскочил.

– О, Боже! Да не может быть!

– Истинная правда! У дверей стоят шотландцы с ружьями, и приказ им дан под страхом смерти никого не впускать и не выпускать.

Рыцари переглянулись в изумлении, а Харламп, не менее изумленный значением собственных слов, уставился на них, словно ожидая разрешения загадки.

– Стало быть, пан подскарбий взят под арест? Великий гетман арестовал гетмана польного? – произнес Заглоба. – Что бы это могло значить?

– Откуда мне знать. И Юдицкий, такой рыцарь!

– Должны же были офицеры князя говорить об этом между собою, строить догадки... Ты разве ничего не слыхал?

– Да я еще вчера ночью у Гарасимовича спрашивал...

– Что же он тебе ответил? – спросил Заглоба.

– Он ничего не хотел говорить, только прижал палец к губам и сказал: «Они изменники!»

– Какие изменники? Какие изменники? – схватился за голову Володыёвский. – Ни пан подскарбий Госевский не изменник, ни пан Юдицкий не изменник. Вся Речь Посполитая знает, что это достойные люди, что они любят отчизну.

– Сегодня никому нельзя верить, – угрюмо произнес Станислав Скшетуский. – Разве Кшиштоф Опалинский не слыл Катонем? Разве не обвинял он других в пороках, преступлениях, стяжательстве? А как дошло до дела – первый изменил отчизне, и не один, целую провинцию заставил изменить.

– Но за пана подскарбия и пана Юдицкого я головой ручаюсь! – воскликнул Володыёвский.

– Ни за кого, Михалек, головой не ручайся, – предостерег его Заглоба. – Не без причины же их арестовали. Козни они умышляли, как пить дать! Как же так? Князь готовится к великой войне, ему всякая помощь дорога, кого же он может арестовать в такую минуту, как не тех, кто ему мешает в этом деле? А коли так, коли эти двое и впрямь мешали ему, – слава Богу, что умысел их упредили. В подземелье сажать таких. Ах, негодяи! В такое время строить козни, входить в сношения с врагом, восставать против отчизны, чинить помехи великому вождю в его начинаниях! Пресвятая Богородица, мало для них ареста!

– Странно мне все это, очень странно, прямо в голове не укладывается! – сказал Харламп. – Я уж о том не говорю, что они знатные вельможи, арестовали ведь их без суда, без сейма, без воли Речи Посполитой, а ведь этого сам король не имеет права делать.

– Клянусь Богом, не имеет! – крикнул пан Михал.

– Князь, видно, хочет завести у нас римские обычаи, – заметил Станислав Скшетуский, – и во время войны стать диктатором.

– Да пусть будет хоть диктатором, лишь бы шведов бил, – возразил Заглоба. – Я первый подаю *votum*<sup>33</sup> за то, чтобы ему вверить диктатуру.

– Только бы, – после минутного раздумья снова заговорил Ян Скшетуский, – не пожелал он стать протектором, как англичанин Кромвель, который не поколебался поднять святотатственную руку на собственного повелителя.

– Ба, Кромвель! Кромвель еретик! – крикнул Заглоба.

– А князь воевода? – сурово спросил Ян Скшетуский.

Все смолкли при этих словах, на мгновение со страхом заглянув в темное грядущее, только Харламп тотчас распалился:

– Я смолodu служу под начальством князя воеводы, хоть и не намного моложе его; в юности своей он был моим ротмистром, потом стал гетманом польным, а нынче он великий гетман. Я лучше вас его знаю, я люблю его и почитаю, а потому попрошу не равнять его с Кром-

---

<sup>33</sup> голос (*лат.*).

велем, а то как бы мне не пришлось наговорить вам таких слов, какие хозяину дома говорить не пристало!..

Харламп свирепо встопорщил тут усы и стал исподлбоя поглядывать на Яна Скшетуского; увидев это, Володыёвский бросил на него такой холодный и быстрый взгляд, точно хотел сказать:

«Попробуй только пикни!»

Усач тотчас утихомирился, так как весьма уважал пана Михала, да и небезопасно было затевать с маленьким рыцарем ссору.

– Князь кальвинист, – продолжал он уже гораздо мягче, – но не он ради ереси оставил истинную веру, он рожден в ереси. Никогда не станет он ни Кромвелем, ни Радзеёвским, ни Опалинским, хоть бы земля расступилась и поглотила Кейданы. Не такая это кровь, не такой род!

– Да коли он дьявол с рогами во лбу, так оно и лучше, будет чем шведов бодать, – сказал Заглоба.

– Однако арестовать пана Госевского и кавалера Юдицкого? Ну и ну! – покачал головой Володыёвский. – Не очень-то обходителен князь с гостями, которые ему доверились.

– Что ты говоришь, Михал! – возразил Харламп. – Он обходителен, как никогда. Он теперь рыцарям как отец родной. Помнишь, раньше он вечно ходил насупясь, знал одно только слово: «Служба!» К королю легче было приступить, чем к нему. А теперь его всякий день увидишь с поручиками и шляхтой: ходит, беседует, каждого спросит про семью, про детей, про имение, каждого по имени назовет, справится, не терпит ли кто обиды по службе. Он мнит, что среди владык нет ему равных, а меж тем вчера – нет, третьего дня! – ходил под руку с молодым Кмицицем. Мы глазам своим не поверили. Оно конечно, Кмициц знатного рода, но ведь молокосос и жалоб на него, сдается, пропасть подано в суд; да ты об этом лучше меня знаешь.

– Знаю, знаю, – сказал Володыёвский. – А давно тут Кмициц?

– Нынче его нет, он вчера уехал в Чейкишки за пехотным полком, который стоит там. В такой милости Кмициц теперь у князя, как никто другой. Когда он уезжал, князь проводил его глазами, а потом и говорит: «Этот молодец для меня на все готов, черту хвост прищепит, коли я велю!» Мы сами это слышали. Правда, хоругвь привел Кмициц князю, что другой такой нет во всем войске. Не люди и кони – огненные змеи.

– Что говорить, солдат он храбрый и в самом деле на все готов! – сказал пан Михал.

– В последней войне он, сдается, такие показывал чудеса, что за его голову цену назначили, – был предводителем у охотников и воевал на свой страх.

Дальнейший разговор прервало появление нового лица. Это был шляхтич лет сорока; маленький, сухонький, подвижной, он так и извивался ужом; личико у него было с кулачок, губы тонкие, усы жидкие, глаза с косинкой. Он был в одном тиковом жупане с такими длинными рукавами, что они совершенно закрывали ему кисти рук. Войдя, он согнулся вдвое, затем выпрямился вдруг, точно подброшенный пружиной, затем снова согнулся в низком поклоне, завертел головой так, точно силился извлечь ее у себя из под мышки, и заговорил скороговоркой, голосом, напоминавшим скрип заржавленного флюгера:

– Здорово, пан Харламп, здорово! Ах, здорово, пан полковник, твой покорнейший слуга!

– Здорово, пан Гарасимович, – ответил Харламп. – Чего тебе надо?

– Бог гостей дал, знаменитых гостей! Я пришел предложить свои услуги и спросить, как звать приезжих.

– Пан Гарасимович, да разве они к тебе приехали в гости?

– Ясное дело, не ко мне, я и недостойн такой чести... Но дворецкого нет, я его замещаю, потому и пришел с поклоном, низким поклоном!

– Далеко тебе до дворецкого, – отрезал Харламп. – Дворецкий – персона, большой пан, а ты, с позволения сказать, заблудовский подстароста.

– Слуга слуг Радзивилла! Да, пан Харламп. Я не отпираюсь, упаси Бог! Но про гостей князь узнал, он-то и прислал меня спросить, кто такие, так что ты, пан Харламп, ответишь мне, сейчас же ответишь, даже если бы я был не подстароста заблудовский, а простой гайдук.

– Я б и мартышке ответил, приди она ко мне с приказом, – отрубил Носач. – Слушай же, пан, да запиши фамилии, коли ум у тебя короток и запомнить ты их не можешь. Это пан Скшетуский, герой Збаража, а это его двоюродный брат, Станислав.

– Всемогущий Боже, что я слышу! – воскликнул Гарасимович.

– Это пан Заглоба.

– Всемогущий Боже, что я слышу!

– Коли ты, пан, так смутился, когда услышал мою фамилию, – сказал Заглоба, – представь же себе, как должны смутиться враги на поле боя.

– А это пан полковник Володыёвский, – закончил Харламп.

– Славная сабля и это, к тому же радзивилловская, – поклонился Гарасимович. – У князя голова пухнет от работы; но для таких рыцарей он найдет время, непременно найдет. А покуда чем могу служить, дорогие гости? Весь замок к вашим услугам и погреб тоже.

– Слыхали мы, кейданские меды хороши, – не преминул вставить слово Заглоба.

– О да! – ответил Гарасимович. – Хороши меды в Кейданах, хороши! Я пришлю сейчас на выбор. Надеюсь, дорогие гости не скоро нас покинут.

– А мы затем сюда приехали, чтобы уж больше не оставить князя воеводу, – сказал пан Станислав.

– Похвальное намерение, тем более похвальное, что ждут нас такие черные дни.

При этих словах пан Гарасимович весь как-то скрючился и стал как будто на целый локоть ниже.

– Что слышно? – спросил Харламп. – Нет ли новостей?

– Князь во всю ночь глаз не сомкнул, два гонца прискакали. Дурные вести, и с каждым часом все хуже. Carolus Gustavus вслед за Виттенбергом вступил уже в пределы Речи Посполитой, Познань уже занята, вся Великая Польша занята, скоро занята будет Мазовия; шведы уже в Ловиче, под самой Варшавой. Наш король бежал из Варшавы, оставив ее безо всякой защиты. Не нынче-завтра шведы вступят в столицу. Толкуют, будто король и сражение большое проиграл, будто хочет бежать в Краков, а оттуда в чужие края просить помощи. Плохо дело! Кое-кто, правда, говорит, что это хорошо, шведы, мол, не насильничают, свято блюдут договоры, податей не взыскивают, вольности хранят и в вере препятствий не чинят. Потому-то все охотно переходят под покровительство Карла Густава. Провинился наш король, Ян Казимир, тяжело провинился... Все пропало, все для него пропало! Плакать хочется, но все пропало, пропало!

– Что это ты, пан, черт тебя дерит, вьешься, как выюн, когда его в горшок кладут, – гаркнул Заглоба, – и о беде говоришь так, будто рад ей?

Гарасимович сделал вид, что не слышит, и, подняв глаза к потолку, снова повторил:

– Все пропало, навеки пропало! Трех войн Речи Посполитой не выдержать! Все пропало! Воля Божья! Воля Божья! Один только наш князь может спасти Литву.

Не успели еще отзвучать эти зловещие слова, как пан Гарасимович исчез за дверью с такой быстротой, точно сквозь землю провалился, и рыцари остались сидеть в унынии, придавленные тяжкими вестями.

– С ума можно сойти! – крикнул наконец Володыёвский.

– Это ты верно говоришь, – поддержал его Станислав. – Хоть бы уж Бог дал войну, войну поскорее, чтобы не теряться в догадках, чтобы душу не брала унылость, чтобы только сражаться.



– Придется пожалеть о первых временах Хмельницкого, – сказал Заглоба, – были тогда у нас поражения, но, по крайности, изменников не было.

– Три такие страшные войны, когда у нас, сказать по правде, и для одной мало сил! – воскликнул Станислав.

– Не сил у нас мало, а пали мы духом. От подлости гибнет отчизна. Дай-то Бог дожждаться здесь чего-нибудь лучшего, – угрюмо проговорил Ян.

– Я вздохну с облегчением только на поле боя, – сказал Станислав.

– Поскорей бы уж увидеть этого князя! – воскликнул Заглоба.

Его желание скоро исполнилось, – через час снова явился Гарасимович, кланяясь еще униженной, и объявил, что князь желает немедленно видеть гостей.

Рыцари были уже одеты и потому тотчас собрались к князю. Выйдя с ними из арсенала, Гарасимович повел их через двор, где толпились военные и шляхта. Кое-где в толпе громко обсуждали те же, видно, новости, которые рыцарям принес подстароста заблудовский. На всех лицах читалась живая тревога, какое-то напряженное ожидание. Отчаянно размахивая руками, гремели в толпе витии. Слышались возгласы:

– Вильно горит! Вильно спалили! Одно пепелище осталось!

– Варшава пала!

– Ан нет, еще не пала!

– Шведы уже в Малой Польше!

– В Серадзе им дадут жару!

– Нет, не дадут! Пойдут по примеру Великой Польши!

– Измена!

– Беда!

– О, Боже, Боже! Не знаешь, куда руки приложить да саблю!

Вот какие речи, одна другой страшнее, поражали слух рыцарей, когда они вслед за Гарасимовичем с трудом протискивались сквозь толпу военных и шляхты. Знакомые приветствовали Володыёвского:

– Как поживаешь, Михал? Плохо дело! Погибаем!

– Здорово, пан полковник! Что это за гостей ты ведешь к князю?

Чтобы не задерживаться, пан Михал не отвечал на вопросы, и рыцари дошли так до главного замкового здания, где стояли на страже княжеские янычары в кольчугах и высоченных белых шапках.

В сенях и на главной лестнице, уставленной апельсиновыми деревьями, давка была еще больше, чем во дворе. Тут обсуждали арест Госевского и кавалера Юдицкого; все уже открылось, и умы были возбуждены до крайности. Все диву давались, терялись в догадках, негодовали или хвалили князя за прозорливость; все надеялись, что сам князь раскроет загадку, и потому потоки людей текли по широкой лестнице наверх, в залу аудиенций, где князь в эту минуту принимал полковников и знать. Драбанты, стоявшие вдоль каменных перил, сдерживали напор, то и дело повторяя: «Потише, потише!» – а толпа подвигалась вперед или приостанавливалась на минуту, когда драбант алебардой преграждал путь, чтобы передние могли пройти в залу.

Наконец в растворенных дверях блеснул лазурный свод, и наши знакомцы вошли внутрь. Взоры их привлекло прежде всего возвышение в глубине, где толпился избранный круг рыцарей и знати в пышных и пестрых одеждах. Выдавшись из ряда, впереди стояло пустое кресло с высокой спинкой, увенчанной золоченой княжеской шапкой, из под которой ниспадал синелый бархат, опушенный горностаем.

Князя еще не было в зале; но Гарасимович, ведя по-прежнему за собой рыцарей, протиснулся сквозь толпу собравшейся шляхты к маленькой двери, укрытой в стене сбоку возвышения; там он велел им подождать, а сам исчез за дверью.

Через минуту он вернулся и доложил, что князь просит рыцарей к себе.

Оба Скшетуские, Заглоба и Володыёвский вошли в небольшую, очень светлую комнату, обитую кожей с тиснением в золотые цветы, и остановились, увидев в глубине, за столом, заваленным бумагами, двух человек, поглощенных разговором. Один из них, еще молодой, в иноземной одежде и в парике, длинные букли которого ниспадали ему на плечи, шептал что-то на ухо старшему, а тот слушал, насупя брови, и кивал время от времени головой, до того увлеченный предметом разговора, что не обратил внимания на вошедших.

Это был человек лет сорока с лишним, огромного роста, широкоплечий. Одет он был в пурпурный польский наряд, застегнутый у шеи драгоценными аграфами. Лицо у него было большое, и черты дышали спесью, важностью и силой. Это было львиное лицо воителя и в то же время гневливого владыки. Длинные, обвислые усы придавали ему угрюмый вид, и все оно, крупное и сильное, было словно высечено из мрамора тяжелыми ударами молота. Брови в эту минуту были насуплены от напряженного внимания; но легко было угадать, что, если он насупит их в гневе, горе людям, горе войскам, на которых обрушится гроза.

Таким величием дышал весь облик этого человека, что рыцарям, глядевшим на него, казалось, что не только эта комната, но и весь замок для него слишком тесен; первое впечатление не обмануло их: перед ними сидел Януш Радзивилл, князь биржанский и дубинковский, воевода виленский и великий гетман литовский, кичливый и могучий властелин, которому не только мало было всех титулов и всех необъятных владений, но тесно было даже в Жмуди и Литве.

Младший собеседник князя, в длинном парике и иноземном наряде, был князь Богуслав, двоюродный его брат, конюший Великого княжества Литовского.

Минуту он все еще что-то шептал на ухо гетману, наконец громко произнес:

– Так я поставлю на документе свою подпись и уеду.

– Раз уж иначе нельзя, тогда езжай, князь, – ответил Януш, – хотя лучше было бы, если бы ты остался, ведь неизвестно, что может случиться.

– Ясновельможный князь, ты все уже обдумал зрело, а там надо вникнуть в дела; засим предаю тебя в руки Господа.

– Да хранит Господь весь наш дом и умножит славу его.

– Adieu, mon frere!<sup>34</sup>

– Adieu!

Оба князя протянули друг другу руки, после чего конюший поспешно удалился, а великий гетман обратился к прибывшим.

– Прошу прощения за то, что заставил вас ждать, – сказал он низким, протяжным голосом, – но меня сейчас рвут на части, минуты нет свободной. Я уж знаю ваши имена и рад от всей души, что в такую годину Господь посылает мне таких рыцарей. Садитесь, дорогие гости. Кто из вас пан Ян Скшетуский?

– К твоим услугам, ясновельможный князь, – проговорил Ян.

– Так ты, пан, староста... погоди-ка... забыл...

– Я никакой не староста, – возразил Ян.

– Как не староста? – прикинулся удивленным князь, нахмуря свои густые брови. – Тебе не дали староства за подвиг под Збаражем?

– Я никогда об этом не просил.

– Тебе и без просьб должны были дать. Как же так? Что ты говоришь? Никакой не дали награды? Совсем забыли? Мне странно это. Впрочем, я не то говорю, никого это не должно удивлять, ибо теперь жалуют только тех, у кого спина, как ивовый прут, легко гнется. Скажи на милость, так ты не староста! Благодарение Создателю, что ты сюда приехал, ибо у нас память

---

<sup>34</sup> Прощай, брат! (*фр.*)

не так коротка, и ни одна заслуга не останется у нас без награды, в том числе и твоя, пан полковник Володыевский.

– Я ничего еще не заслужил...

– Предоставь мне судить об этом, а пока возьми вот этот документ, уже заверенный в Россиенах, по которому я отдаю тебе в пожизненное владение Дыдкемы. Неплохое это имение, сотня плугов каждую весну выходит там в поле на пахоту. Прими от нас его в дар, больше мы дать не можем, а пану Скшетускому скажи, что Радзивилл не забывает ни своих друзей, ни тех, кто под его водительством верой и правдой послужил отчизне.

– Ясновельможный князь... – в замешательстве пробормотал пан Михал.

– Не надо слов, и ты уж прости, что так мало я даю, но друзьям своим скажи, что не пропадет тот, кто свою судьбу разделит с судьбою Радзивиллов. Я не король, но если б я им был, – Бог свидетель! – я не забыл бы никогда ни Яна Скшетуского, ни Заглобы...

– Это я! – сказал Заглоба, живо подавшись вперед, ибо его уже разбирало нетерпение, почему это его до сих пор не помянули.

– Я догадываюсь, что это ты, мне говорили, что ты человек уже немолодой.

– Я с твоим отцом, ясновельможный князь, в школу ходил, а у него сызмальства была склонность к рыцарству, да и я предпочитал латыни копьецю, потому и пользовался его благосклонностью.

Станислав Скшетуский, мало знавший Заглобу, удивился, услышав такие речи, – ведь еще накануне, в Упите, Заглоба говорил, что в школу ходил вовсе не с покойным князем Кшиштофом, а с самим Янушем, что было заведомой неправдой, так как князь Януш был намного моложе его.

– Вот как! – сказал князь. – Так ты, пан, родом из Литвы?

– Из Литвы, – не моргнув глазом, ответил Заглоба.

– Тогда я догадываюсь, что и ты не получил никакой награды, ибо мы, литвины, уже привыкли к тому, что нас кормят черною неблагодарностью. О, Боже, если бы я всем вам дал то, что вам полагается по праву, у меня самого ничего не осталось бы. Но такова уж наша доля! Мы отдаем кровь, жизнь, имущество, и никто нам за это даже спасибо не скажет. Да! Что поделаешь! Что посеешь, то и пожнешь. Так Бог велит и правда... Так это ты, пан, зарубил преславного Бурляя и под Збаражем снес три головы с плеч?

– Бурляя я зарубил, ясновельможный князь, – ответил Заглоба. – Говорили, будто его никто не может одолеть в единоборстве, вот я и хотел показать молодым, что не перевелись еще богатыри в Речи Посполитой. Что ж до трех голов, то и такое в пылу боя могло приключиться; но под Збаражем это кто-то другой сделал.

Князь умолк на минуту.

– Не тяжело ли вам, – снова заговорил он, – пренебрежение, каким вам отплатили?

– Оно конечно, досадно, – ответил Заглоба, – да что поделаешь, ясновельможный князь!

– Утешьтесь же, ибо все переменится. За одно то, что вы приехали ко мне, я в долгу перед вами, и хоть я не король, но посулами не плачу.

– Ясновельможный князь, – живо и несколько даже надменно ответил на эти слова Ян Скшетуский, – не за наградами и не за богатствами мы сюда приехали. Враг напал на отчизну, и мы хотим грудью встать на ее защиту под начальством столь славного воителя. Брат мой, Станислав, видел под Уйстем смятение и страх, позор и измену, а в конце торжество врага. Здесь мы будем служить отчизне и трону под водительством великого полководца и верного их защитника. Не победы и не торжество ждут здесь врага, но поражение и смерть. Вот почему мы прибыли сюда и предлагаем тебе свою службу. Мы, солдаты, хотим сражаться и рвемся в бой.

– Коли таково ваше желание, то и оно будет исполнено, – сказал значительно князь. – Вам не придется долго ждать, хотя сперва мы двинемся на другого врага, ибо отомстить надо нам за спаленное Вильно. Не нынче-завтра мы двинемся туда и, даст Бог, все до последней отпла-

тим обиды. Не буду вас больше задерживать; и вы нуждаетесь в отдыхе, и мне надо работать. А вечером приходите в покои, может, и позабавитесь перед походом, ибо перед войной под наше крыло съехалось в Кейданы множество дам. Пан полковник Володыёвский, принимай же дорогих гостей, как у себя дома, и помните, друзья, – что мое, то ваше!.. Пан Гарасимович, скажи панам братьям, собравшимся в зале, что я не выйду, времени нет, а сегодня вечером они обо всем узнают. Будьте здоровы и будьте друзьями Радзивилла, ибо и для него от этого многое зависит.

С этими словами могущественный и кичливый властелин как равным подал по очереди руку Заглобе, обоим Скшетуским, Володыёвскому и Харлампю. Угрюмое его лицо осветила сердечная и милостивая улыбка, недоступность, всегда окружавшая его, как темное облако, исчезла совершенно.

– Вот это полководец! Вот это воитель! – говорил Станислав, когда они на обратном пути снова пробивались сквозь толпу шляхты, собравшейся в зале аудиенций.

– Я бы за него в огонь бросился! – воскликнул Заглоба. – Вы заметили, что он на память знает все мои подвиги? Жарко станет шведам, когда взревет этот лев, а я ему стану вторить. Другого такого владыки нет во всей Речи Посполитой, а из прежних один только князь Иеремия да отец наш, пан Конецпольский, могли бы с ним поспорить. Это тебе не какой-нибудь каштелянишка, который первым в роду уселся в сенаторское кресло и штанов на нем еще не протер, а уж нос дерет и шляхту зовет младшей братией, и свой портрет велит тотчас намалевать, чтоб и за едою видеть свое сенаторство перед собой, коль за собой его не углядит. Пан Михал, ты разбогател! Ясное дело, кто о Радзивиллов потрется, тотчас вытертый кафтан позолотит. Вижу, награду здесь получить легче, чем у нас кварту гнилых груш. Сунул руку в воду с закрытыми глазами, ан щука у тебя в руке. Вот это князь, всем князьям князь! Дай Бог тебе счастья, пан Михал! Смутился ты, как красная девица после венца, ну да ничего! Как это твое имя называется? Дудково, что ли? Языческие названия в здешнем краю. Хлопни об стенку горстью орехов и получишь коль не название деревеньки, так имечко шляхтича. Ну да был бы кус поболее, а языка не жалко, он без костей.

– Признаться, смутился я страшно, – сказал пан Михал. – Ты вот, пан, толкуешь, будто здесь легко награду получить, а ведь это неправда. Я не раз слышал, как старые офицеры ругали князя за скупость, а теперь он что-то стал неожиданно осыпать всех милостями.

– Заткни же этот документ себе за пояс, сделай это для меня! И как станет кто жаловаться на неблагодарность князя, вытащи документик из-за пояса и ткни ему в нос. Лучше доказательства не сыщешь.

– Одно только ясно мне, – промолвил Ян Скшетуский, – что князь сторонников ищет и, верно, замыслы какие-то обдумывает, для которых нужна ему помощь.

– Да разве ты не слыхал об этих замыслах? – ответил ему Заглоба. – Разве не сказал князь, что мы должны выступить в поход, чтобы отомстить за спаленное Вильно? На него наговорили, будто это он ограбил Вильно, а он хочет показать, что ему не только чужого не надо, но что он и свое готов отдать. Вот это амбиция, пан Ян! Дай нам Бог побольше таких сенаторов!

Ведя такой разговор между собою, рыцари снова вышли на замковый двор, куда ежеминутно въезжали то отряды конницы, то толпы вооруженной шляхты, то коляски, в которых ехали окрестные помещики с женами и детьми. Заметив это, пан Михал потащил всех к воротам, чтобы поглазеть, кто едет к князю.

– Как знать, пан Михал, день у тебя сегодня счастливый, – снова заговорил Заглоба. – Может, среди шляхтянок и твоя суженая едет. Погляди, вон подъезжает открытая коляска, а в ней сидит кто-то в белом...

– Не панна это едет, а тот, кто может обвенчать меня с нею, – сказал быстроглазый Володыёвский. – Я издали узнал, это епископ Парчевский едет с ксендзом Белозором, виленским архидиаконом.

– Неужто они посещают князя? Ведь он кальвинист.

– Что делать? Когда этого требуют державные дела, приходится заниматься дипломатией.

– Ну и пропасть же народу, ну и шум! – весело сказал Заглоба. – Совсем я в деревне покрылся плесенью! Тряхну тут стариной. Не я буду, коль сегодня же не приволокнусь за какой-нибудь красоткой!

Дальнейшие слова Заглобы прервали солдаты из стражи; выбежав из караульни, они выстроились в два ряда, отдавая воинские почести епископу; тот проехал мимо, благословляя на обе стороны солдат и собравшуюся шляхту.

– Тонкий политик князь, – заметил Заглоба, – ишь какие почести оказывает епископу, а ведь сам не признает церковных властей. Дай-то Бог, чтобы это был первый шаг к обращению в лоно истинной церкви.

– Э, ничего из этого не получится. Уж как старалась его первая жена, а так ничего и не добилась, пока не умерла с горя. Но почему это шотландцы не уходят с поста? Видно, опять проследует кто-то из сановников.

В отдалении показалась в это время целая свита вооруженных солдат.

– Это драгуны Ганхофа, я узнаю их, – сказал Володыёвский. – Да, но посредине кареты едут!

Тут раздалась барабанная дробь.

– О, это, видно, кто-то поважнее жмудского епископа! – воскликнул Заглоба.

– Погоди, пан, вон они уже едут.

– Посредине две кареты.

– Да. В первой пан Корф, воевода венденский.

– Ба! – крикнул Ян. – Да это знакомец из Збаража.

Воевода узнал рыцарей, прежде всего Володыёвского, с которым, видно, чаще встречался; проезжая мимо, он высунулся из кареты и крикнул:

– Приветствую вас, старые товарищи! Вот гостей везем!

В другой карете с гербами князя Януша, запряженной белым четвериком, сидели два осанистых господина, одетых по-иноземному, в широкополых шляпах, из-под которых на широкие кружевные воротники ниспадали светлые букли париков. Один, очень толстый, носил остроконечную белесоватую бородку и усы, кончики которых были расчесаны и закручены вверх; у другого, помоложе, во всем черном, осанка была менее рыцарская, зато чин, пожалуй, повыше, – на шее у него блестела золотая цепь с каким-то орденом. Оба они были, видно, иноземцы, так как с любопытством разглядывали замок, людей и одежды.

– А это что еще за дьяволы? – спросил Заглоба.

– Не знаю, отродясь не видел! – ответил Володыёвский.

Но вот карета проехала мимо и стала огибать двор, чтобы подъехать к главному зданию замка; драгуны остались у ворот.

Володыёвский узнал офицера, который командовал ими.

– Токажевич! – крикнул он. – Здорово!

– Здорово, пан полковник!

– Что за бездельников вы привезли?

– Это шведы.

– Шведы?

– Да, и, видно, важные птицы. Толстяк – это граф Левенгаупт, а тот, потоньше, Бенедикт Шитте, барон фон Дудергоф.

– Дудергоф?! – воскликнул Заглоба.

– А чего им тут надо? – спросил Володыёвский.

– Бог их знает! – ответил офицер. – Мы их от Бирж сопровождаем. Наверно, к нашему князю на переговоры приехали; мы в Биржах слышали, что великий князь собирает войско и хочет учинить набег на Лифляндию.

– Что, шельмы, испугались! – закричал Заглоба. – То на Великую Польшу учиняете набег, короля изгоняете, а тут к Радзивиллу на поклон явились, чтобы не задал вам жару в Лифляндии. Погодите! Такого деру дадите к вашим Дудергофам, что чулки с ног свалятся! Мы сейчас крепко с вами поговорим! Да здравствует Радзивилл!

– Да здравствует Радзивилл! – подхватили шляхтичи, стоявшие у ворот.

– *Defensor patriae!*<sup>35</sup> Защита наша! На шведа, братья, на шведа!

Образовался круг. Шляхта со двора валила к воротам; увидев это, Заглоба вскочил на выступающий цоколь ворот и стал кричать:

– Слушайте, братья! Вот что скажу я тем, кто меня не знает: я старый герой Збаража, этой вот старой рукой я зарубил Бурляя, самого великого гетмана после Хмельницкого; кто не слышал про Заглобу, тот в первую казацкую войну, верно, горох лушил, или кур шупал, или телят пас, чего такие достойные кавалеры, как вы, надеюсь, не делали.

– Это великий рыцарь! – раздался многочисленный голоса. – Равного ему нет во всей Речи Посполитой! Слушайте!..

– Слушайте же! Пора бы моим старым костям на отдых; лучше бы мне на печке лежать, творог есть со сметаной, в саду гулять да яблоки собирать, над жнецами стоять да девок по спинам похлопывать. Пожалуй, и враг для своего же добра оставил бы меня в покое, ибо и шведы и казаки знают, что тяжелая у меня рука, и дай-то Бог, чтобы имя мое было так же известно вам, братья, как известно оно *hostibus*.<sup>36</sup>

– А что это за петух так тонко поет? – спросил вдруг чей-то голос.

– Не мешай, чтоб тебя Бог убил! – закричали другие.

Но Заглоба расслышал.

– Вы уж простите этому петушку! – крикнул старик. – Он еще не знает, где хвост, где голова.

Раздался взрыв хохота, и выскочка, смутившись, стал выбираться из толпы, чтобы уйти от насмешек, которые посыпались на него.

– Вернемся к делу! – продолжал Заглоба. – Итак, *repeto*<sup>37</sup>, надо бы мне отдохнуть; но родина в беде, враг попирает нашу землю, и вот я здесь, чтобы вместе с вами дать отпор *hostibus* именем родины-матери, которая всех нас вскормила. Кто сегодня не встанет на ее защиту, кто не поднимется на ее спасение, тот не сын ей, а пасынок, тот недостоин ее любви. Я, старик, иду и, коли будет на то воля Господня и придется мне погибать, из последних сил буду кричать: «На шведа, братья, на шведа!» Дадим же клятву не выпустить сабли из рук, покуда не прогоним врага из родного края!

– Мы и без клятвы готовы! – раздался многочисленный голоса. – Пойдем, куда поведет нас гетман, учиним набег на врага, где понадобится.

– Братья, видали, два немца приехали в раззолоченной карете! Они знают, что с Радзивиллом шутки плохи! Они будут ходить за ним по покоям, в локоток его целовать, чтобы он их не трогал. Но князь на совете, с которого я возвращаюсь, заверил меня от имени всей Литвы, что не будет никаких переговоров, никаких пергаментов, только война и война!

– Война! Война! – как эхо повторили слушатели.

---

<sup>35</sup> Защитник родины! (*лат.*)

<sup>36</sup> врагам (*лат.*).

<sup>37</sup> повторяю (*лат.*).

– Но и полководец, – продолжал Заглоба, – действует смелее, когда он уверен в своих солдатах; так покажем же ему, что мы думаем. Нуте-ка! Пойдем к княжеским окнам да крикнем: «Эй, на шведа!» За мной!

С этими словами он спрыгнул с цоколя и двинулся вперед, а за ним повалила шляхта; подойдя к самым окнам дворца, она шумела все громче, так что шум этот слился в конце концов в один общий оглушительный крик:

– На шведа! На шведа!

Через минуту из сеней выбежал в крайнем замешательстве Корф, воевода венденский, за ним Ганхоф, полковник княжеских рейтар; они вдвоем стали успокаивать, унимать шляхту, просили ее разойтись.

– Ради всего святого! – говорил Корф. – Наверху прямо стекла дребезжат! Вы не знаете, как некстати собрались тут с вашими кликами. Как можно оскорблять послов, подавать пример неповиновения! Кто наустил вас?

– Я! – ответил Заглоба. – Скажи, пан, ясновельможному князю от имени всех нас, что мы просим его быть твердым, что до последней капли крови мы готовы биться в его войске.

– Спасибо вам всем от имени пана гетмана, спасибо, но только разойдитесь. Опомнитесь, Христом-Богом молю, не то совсем погубите отчизну! Медвежью услугу оказывает тот отчизне, кто сегодня оскорбляет послов.

– Что нам послы! Мы сражаться хотим, а не вести переговоры!

– Меня радует ваш боевой дух! Придет пора и для битвы, и, Бог даст, очень скоро. Отдохните теперь перед походом. Пора выпить горелки, закусить! Какой уж там бой на пустое брюхо!

– Правда, ей-богу, правда! – первым закричал Заглоба.

– Правда, в точку попал. Раз уж князь знает, что мы думаем, нечего нам тут делать!

И толпа начала расходиться; большая часть шляхты направилась в боковые крылья дворца, где было уже накрыто много столов. Заглоба шел впереди, а Корф отправился с полковником Ганхофом к князю, который держал совет с шведскими послами, епископом Парчевским, ксендзом Белозором, Адамом Коморовским и Александром Межеевским, придворным короля Яна Казимира, проводившим время в Кейданах.

– Кто науститель всего этого шума? – спросил князь, на львином лице которого еще видны были следы гнева.

– Да тот славный шляхтич, который недавно прибыл сюда, пан Заглоба! – ответил воевода венденский.

– Рыцарь он храбрый, – ответил князь, – но что-то слишком рано начинает распоряжаться тут.

С этими словами он поманил полковника Ганхофа и стал что-то шептать ему на ухо.

Тем временем Заглоба, довольный собой, торжественным шагом направлялся в нижние залы, а рядом с ним оба Скшетуские и Володыёвский.

– Что, *amici*<sup>38</sup>, – говорил он вполголоса рыцарям. – Не успел я показаться, а уже разбудил в этой шляхте любовь к отчизне. Теперь князю легче будет отправить послов ни с чем, надо только сослаться на наши *suffragia*. Думаю, дело не обойдется без награды, хотя главное для меня честь. Что это ты, пан Михал, стал, как истукан, и воззрился на карету у ворот?

– Это она! – встопорщил пан Михал усики. – Клянусь Богом, это она!

– Кто такая?

– Панна Биллевич.

– Та, которая тебе отказала?

– Да. Поглядите, друзья, поглядите! Ну как тут не пропасть от сожалений.

– Погодите! – сказал Заглоба. – Надо посмотреть поближе.

---

<sup>38</sup> друзья (лат.).

Коляска тем временем, обогнув двор, подъехала к собеседникам. В ней сидел осанистый шляхтич с седеющими усами, а рядом с ним панна Александра, как всегда, красивая, спокойная и строгая.

Пан Михал, сокрушенно глядя на нее, отвесил низкий поклон, метя шляпой землю, но она не заметила его в толпе. А Заглоба, поглядев на тонкие, благородные ее черты, только сказал:

– Панское это дитяtko, пан Михал, слишком уж тонкая штучка для солдата. Что говорить, хороша, но, по мне, лучше такие, что сразу не признаешь: пушка это или баба?

– Ты, пан, не знаешь, кто это приехал? – спросил Володыёвский у стоявшего рядом шляхтича.

– Как не знать, знаю! – ответил шляхтич. – Это пан Томаш Билевич, мечник россиенский. Все его тут знают, он старый слуга и друг Радзивиллов.



## Глава XIII

Князь в тот день не показался шляхте до самого вечера; обедал он с послами и сановниками, с которыми у него был совет. Однако полковники получили приказ привести в боевую готовность надворные радзивилловские, особенно пехотные, полки под командой иноземных офицеров. В воздухе запахло порохом. Замок, хотя и не укрепленный, был окружен войсками, как будто у стен его собирались дать сражение. Похода ждали не позднее следующего утра, и были тому явные приметы: толпы княжеской челяди укладывали на повозки оружие, дорогую утварь и княжескую казну.

Гарасимович рассказывал шляхте, что повозки направляются в Тыкоцин, на Подлясье, так как в неукрепленном кейданском замке казну оставлять опасно. Готовили и обоз со снаряжением, который должен был следовать за войском.

Разнесся слух, будто гетман польный Госевский арестован по той причине, что он отказался соединить свои хоругви, стоящие в Троках, с радзивилловскими и тем самым подверг заведомой опасности все предприятие. Впрочем, приготовления к походу, движение войск, грохот пушек, которые выкатывали из замкового арсенала, и тот беспорядок, который всегда сопутствует первым минутам военных походов, отвлекли внимание от пана Госевского и кавалера Юдицкого и заставили забыть об их аресте.

У шляхты, обедавшей в огромных нижних залах боковых крыльев дворца, только и разговору было что о войне, пожаре в Вильно, полыхавшем уже десять дней и разгоравшемся все больше, о вестях из Варшавы, о наступлении шведов и о самих шведах, против которых, как против вероломных предателей, нападавших на соседа вопреки договору, имевшему силу еще шесть лет, негодовали сердца и умы и все больше ожесточались души. Вести о стремительном наступлении, о сдаче Уйстя, занятии Великой Польши со всеми городами, об угрозе нашествия на Мазовию и неизбежном падении Варшавы не только не возбуждали страха, напротив, они поднимали дух войска, и люди рвались в бой. Все объяснялось тем, что ясны стали причины удачи шведов. До сих пор враг еще ни разу не столкнулся ни с войском, ни с настоящим полководцем. Радзивилл был первым воителем по ремеслу, с которым шведам предстояло померяться силами и в военные способности которого собравшаяся шляхта верила непоколебимо, тем более что и полковники его ручались, что в открытом поле они побьют шведов.

– Непременно побьем! – уверял Михал Станкевич, старый и искушенный воин. – Я помню прежние войны и знаю, что шведы всегда оборонялись в замках, в укрепленных станах, в окопах; никогда не осмеливались они сразиться с нами в открытом поле, они очень боялись конницы, ну а когда, поверив в свои силы, отваживались напасть на нас, мы давали им хороший урок. Не завоевали они Великую Польшу, а отдали им ее измена и слабость ополчения.

– Да! – подтвердил Заглоба. – Квелый это народ, а все потому, что земля у них очень неурожайная и хлеба нет, одни сосновые шишки они мелют и пекут из такой муки лепешки, от которых воняет смолой. Иные по берегу моря ходят и жрут все, что только выбросит на берег волной, да и за эти лакомства дерутся друг с другом. Голь перекатная, потому и нет народа, который был бы так падок до чужого, как они; ведь даже у татар конины *ad libitum*<sup>39</sup>, а они иной раз год целый мяса не видят и с голоду мрут, если только рыбы не наловят много. – Тут Заглоба обратился к Станкевичу: – А когда ты, пан, со шведами встречался?

– Да когда служил под начальством князя Кшиштофа, отца нынешнего пана гетмана.

– А я в войске пана Конечпольского, отца нынешнего хорунжего. В Пруссии мы несколько раз разбили наголову Густава Адольфа и пленных много взяли; с тех самых пор я их насквозь вижу и все ихние уловки знаю. Надивились же на них наши хлопцы! Надо вам сказать, что

<sup>39</sup> сколько угодно (лат.).

эти шведы вечно в воде болтаются и главный прибыток имеют от моря, ну, и ныряльщики они поэтому *exquisitissimi*<sup>40</sup>. Мы им состязаться велели, так что вы на это скажете? Бросишь подлеца в одну прорубь, а он вынырнет в другую, да еще с живой селедкой в зубах!

– Боже мой, что ты говоришь, пан?!

– Чтоб мне с места не встать, коли я собственными глазами сто раз этого не видал да и других чудных ихних обычаев. Помню, так они на прусских хлебах разъелись, что потом не хотели домой ворочаться. Верно говорит пан Станкевич, солдаты из них никудышные. Пехота еще куда ни шло, но конница такая, что унеси ты мое горе! Ведь лошадей у них нет, и они не могут смолodu приучаться к верховой езде.

– Похоже, – вмешался в разговор Щит, – мы сперва не на них пойдем, а мстить за Вильно?

– Да. Я сам посоветовал это князю, когда он спросил, что я об этом думаю, – сказал Заглоба. – Но, покончив с одними врагами, мы тотчас двинемся на других. Эти ихние посланцы, верно, здорово там преют.

– Радужно их принимают, – заметил Заленский, – но только ничего они, бедняги, не добьются, и лучшее тому доказательство – приказы, отданные войскам.

– Боже, Боже! – воскликнул Тварковский, россиенский судья. – Растет опасность, но и нас берет задор. С одним врагом имели дело и то чуть совсем не отчаялись, а теперь вот против двоих идем.

– Что ж, это часто бывает, – заметил Станкевич. – Бьют тебя, бьют, пока тебе не вмоготу станет, смотришь, откуда и силы взялись и отвага. Сколько мы терпели, сколько перенесли?! Понадеялись на короля да на коронное ополчение, не полагались на собственные силы, а теперь вот: либо чужую голову добыть, либо свою отдать, либо обоих врагов бить, либо всем погибать безвозвратно!

– Бог нам поможет! Довольно уж медлить!

– На горло нам наступают!

– Мы им тоже наступим! Покажем коронным, какие у нас солдаты! Не бывать у нас Уйстю, как Бог свят!

И чем больше выпивала шляхта чар, тем больше разгорячалась кровь и поднимался боевой дух. Так на краю пропасти спасение часто зависит от последнего усилия. Поняли это и толпы солдат, и та самая шляхта, которую совсем недавно Ян Казимир отчаянными универсалами звал в Гродно в ряды ополчения. Теперь все сердца, все умы были обращены на Радзивилла, все уста повторяли грозное имя, которому до недавних пор всегда сопутствовала победа. Только он мог собрать распыленные и пробудить дремлющие силы страны и возглавить войско, которое могло бы победоносно кончить обе войны.

После обеда к князю по очереди вызывали полковников: Мирского; поручика панцирной гетманской хоругви, а затем Станкевича, Ганхофа, Харлампа, Володыёвского и Соллогуба. Старые солдаты были удивлены, что их вызывают не всех вместе на совет, а поодиночке; но это было приятное удивление, ибо каждый уходил от князя с какой-нибудь наградой, с каким-нибудь вещественным знаком княжеской милости; взамен князь требовал только преданности и доверия, которые полковники и без того оказывали ему от всей души. Гетман все время спрашивал, не воротился ли Кмициц, и велел дать знать ему, когда хорунжий воротится.

Кмициц воротился поздно вечером, когда залы были уже освещены и гости начали собираться на пир. В арсенале, куда он зашел переодеться, он встретил Володыёвского и познакомился с остальными рыцарями.

– Я очень рад видеть тебя, пан Михал, и твоих знаменитых друзей, – сказал он, крепко пожимая маленькому рыцарю руку. – Все равно как родного брата увидел! Можешь мне верить, я не горазд притворяться. Правда, ты порядком изувечил мне башку, но потом поставил меня

---

<sup>40</sup> отличнейшие (лат.).

на ноги, чего я не забуду до гроба. При всех скажу: кабы не ты, сидеть бы мне сейчас за решеткой. Дай Бог, чтоб такие люди множились, как голуби. Кто иначе думает, тот дурак, и пусть меня черт возьмет, коли я ему ушей не обрежу.

– Э, полно!

– Я за тебя в огонь и в воду, чтоб мне на месте умереть! Выходи, кто не верит!

Тут пан Анджей с вызывающим видом оглядел офицеров; но никто не возражал, ибо все любили и уважали пана Михала. Один только Заглоба сказал:

– Ну и бедовый же парень, черт побери! Вижу, крепко полюблю я тебя за пана Михала, ведь это у меня надо спрашивать, чего он стоит.

– Больше всех нас! – ответил Кмициц со свойственной ему горячностью. Он посмотрел на Скшетуских, на Заглобу и прибавил: – Прошу прощения, я никого не хотел обидеть, я знаю, вы достойные люди и великие рыцари. Не прогневайтесь, я от души желаю заслужить вашу дружбу.

– Пустое! – промолвил Ян Скшетуский. – Что на уме, то на языке.

– Дай-ка я тебя поцелую! – сказал Заглоба.

– Мне не надо два раза повторять такие слова!

И они упали друг другу в объятия. После этого Кмициц крикнул:

– Не миновать нам выпить сегодня!

– Мне не надо два раза повторять такие слова! – как эхо откликнулся Заглоба.

– Убежим сегодня пораньше в арсенал, а об выпивке я позабочусь.

Пан Михал свирепо встопорщил усики.

«Не больно-то ты захочешь пораньше убежать, – подумал он про себя, глядя на Кмицица, – как дознаешься, кто нынче будет в княжеских покоях...»

Он открыл было рот, чтобы сказать Кмицицу о том, что в Кейданы приехал мечник россиенский с Оленькой, но что-то так ему стало тоскливо, что он переменял разговор.

– А где твоя хоругвь? – спросил он у Кмицица.

– Здесь. Готовенькая! Был у меня Гарасимович, приказ принес от князя, чтобы в полночь люди были на конях. Спрашивал я у него: все ли двинемся в поход: говорит – нет! Не пойму, что бы это могло значить. Одни офицеры получили такой же приказ, другие – нет. Но иноземная пехота вся получила.

– Может, часть войска пойдет сегодня в ночь, а часть завтра, – сказал Ян Скшетуский.

– Так или иначе, я здесь с вами выпью, а хоругвь пусть себе отправляется. Я ее потом за какой-нибудь час догоню.

В эту минуту вбежал Гарасимович.

– Ясновельможный хорунжий оршанский! – крикнул он, кланяясь в дверях.

– В чем дело? Пожар, что ли? Здесь я! – ответил Кмициц.

– К князю! К князю!

– Сию минуту, вот только оденусь. Эй, парень! Кунтуш и пояс, не то голову оторву!

Слуга вмиг подал и всю остальную одежду, и через несколько минут Кмициц, разодетый, как на свадьбу, отправился к князю. Так хорош был молодой рыцарь, что все кругом озярял своею красотой. Жупан серебряной парчи, затканной звездами, от которых блеск шел на всю фигуру, был застегнут у шеи крупным сапфиром. На жупан накинул Кмициц кунтуш голубого бархата и повязал его белым драгоценным поясом, который был так тонок, что его можно было протернуть сквозь перстень. Сабля, отливавшая серебром, вся усеянная сапфирами, висела сбоку на шелковой перевязи, а за пояс заткнул рыцарь и знак отличия, ротмистровский свой буздыган. Удивительно, как красил его этот наряд, и трудно было, пожалуй, сыскать рыцаря краше во всей огромной толпе их, собравшейся в Кейданах.

Вздыхнул пан Михал, глядя на него, а когда Кмициц исчез за дверью арсенала, сказал Заглобе:

- Попробуй-ка при нем сунься к девушке!
- Отними мне только тридцать лет! – ответил Заглоба.

Когда Кмициц вошел к князю, тот тоже был одет, и придворный, убиравший его с двумя арапами, уже успел выйти из покоя. Они остались одни.

- Дай Бог тебе здоровья за то, что ты поторопился! – молвил Радзивилл.
- Готов к услугам, ясновельможный князь.
- А хоругвь?
- Как было приказано.
- Народ надежный?
- В огонь пойдут, в пекло!

– Это хорошо! Мне такие люди нужны... И такие, как ты вот, готовые на все... Еще раз повторяю, ни на кого я так не надеюсь, как на тебя.

– Ясновельможный князь, где уж мне при моих-то заслугах со старыми солдатами равняться, но коли надо двинуться на врагов отчизны, я не отстану.

– Я не умаляю заслуг старых солдат, – сказал князь, – хотя могут прийти такие *pericula*<sup>41</sup>, такие черные дни, что поколеблются и самые верные.

– Пусть погибнет напрасною смертью тот, кто в опасности отступится от тебя, ясновельможный князь.

Радзивилл бросил на Кмицица быстрый взгляд.

– А ты... не отступишься?

Молодой рыцарь вспыхнул.

– Ясновельможный князь!

– Что ты хочешь сказать?

– Я покаялся тебе, ясновельможный князь, во всех моих грехах, и такое их множество, что только отцовской твоей доброте я обязан прощением. Но во всех этих грехах нет одного: неблагодарности.

– И вероломства!.. Ты покаялся мне во всех своих грехах, а я не только простил тебя, как отец, но и полюбил тебя, как сына, которого Бог не дал мне и без которого мне порою тяжело жить на свете. Будь же мне другом!

С этими словами князь протянул руку, а молодой рыцарь схватил ее и, не колеблясь, прижал к губам.

Они долго молчали; внезапно князь вперил в Кмицица взгляд.

– Панна Биллевич здесь! – промолвил он.

Кмициц побледнел и пробормотал что-то невнятное.

– Я нарочно послал за нею, чтобы кончился раздор между вами. Ты увидишь ее сейчас, траур после смерти деда у нее уже кончился. Голова у меня пухнет от работы, но я все-таки сегодня поговорил с мечником россиенским.

Кмициц схватился за голову.

– Чем отплачу я тебе, ясновельможный князь, чем отплачу?..

– Я ясно дал понять пану мечнику, что моя это воля, чтобы вы поскорей поженились, и он не станет противиться. Я велел ему исподволь подготовить девушку. Время есть. Все зависит от тебя, а я буду счастлив, коли ты получишь награду из моих рук, и дай тебе Бог дожидаться и многих других наград, ибо ты далеко пойдешь. Грешил ты по молодости лет, но и славу на поле битвы снискал немалую... и все молодые готовы следовать за тобой. Клянусь Богом, ты далеко пойдешь. Не для такого это рода, как твой, править в повете. Ты, верно, знаешь, что ты в родстве с Кишками, а моя мать была из рода Кишков. Тебе нужно только остепениться, а

---

<sup>41</sup> испытания, опасности (лат.).

женитьба для этого наилучшее средство. Бери же девушку, коли она тебе по сердцу, и помни, кто дает ее тебе.

– Ясновельможный князь, я обезумею! Жизнь моя, кровь моя принадлежат тебе! Что должен я сделать, чтобы отблагодарить тебя, что? Говори, ясновельможный князь! Приказывай!

– За добро отплати мне добром. Верь мне и знай: все, что я совершу, я совершу для общего блага. Не отступайся от меня, когда будешь видеть измену и предательство других, когда будет кипеть злоба, когда меня самого...

Тут князь оборвал речь.

– Клянусь! – с жаром воскликнул Кмициц. – Слово рыцаря даю до последнего вздоха стоять за тебя, моего вожда, отца и благодетеля.

При этих словах Кмициц устремил полные огня глаза на князя и ужаснулся, увидев, как изменилось вдруг его лицо. Оно побагровело, жилы вздулись на нем, на высоком лбу выступили капли пота, и взор сверкал необычайно.

– Что с тобой, ясновельможный князь? – с тревогой спросил рыцарь.

– Ничего, ничего!

Радзивилл встал, торопливо подошел к аналойчику и, схватив распятие, заговорил отрывистым, сдавленным голосом:

– На этом кресте поклянись, что не покинешь меня до самой смерти.

Невзирая на весь свой пыл и готовность служить князю, Кмициц минуту смотрел на него с изумлением.

– Поклянись... на этом распятии! – настаивал гетман.

– Клянусь... на этом распятии! – произнес Кмициц, кладя пальцы на крест.

– Аминь! – торжественно произнес князь. Где-то под сводом высокого покоя отзвуком раздалось: «Аминь!» – и воцарилось долгое молчание. Слышно было только дыхание могучей груди Радзивилла. Кмициц не сводил с гетмана изумленных глаз.

– Теперь ты мой! – воскликнул наконец князь.

– Я всегда был твоим, ясновельможный князь, – торопливо ответил молодой рыцарь, – но объясни мне, что случилось? Почему ты в этом усомнился? Или твоей достойной особе грозит опасность? Открыта чья-нибудь измена, чьи-то козни?

– Близится година испытаний, – угрюмо молвил князь, – что до врагов, то разве тебе не ведомо, что пан Госевский, пан Юдицкий и пан воевода витебский рады столкнуть меня в пропасть? Да! Усиливаются враги моего дома, ширится измена, и нависла опасность народного бедствия. Потому я и говорю тебе: близится година испытаний...

Кмициц молчал, однако последние слова князя не рассеяли мрака, которым был объят его ум, и тщетно вопрошал он себя, что в эту минуту может грозить могущественному Радзивиллу. Ведь он возглавил теперь силы гораздо большие, нежели когда-либо раньше. В одних только Кейданах и окрестностях города стояло столько войска, что, будь у князя такие силы, когда он двинулся под Шклов, исход всей войны был бы совершенно иным.

Это верно, что Госевский и Юдицкий питали к князю неприязнь; но оба они были у него в руках, оба были заключены под стражу, что ж до воеводы витебского, то это был слишком достойный человек, слишком честный гражданин, чтобы в канун нового похода против врагов можно было опасаться с его стороны каких-либо препон и козней.

– Видит Бог, ничего не понимаю! – воскликнул Кмициц, который вообще не умел скрывать своих мыслей.

– Ты все поймешь еще сегодня, – спокойно ответил ему Радзивилл. – А теперь пойдем в залу.

И, взяв молодого полковника под руку, он направился с ним к двери.

Они миновали несколько покоев. Издали, из огромной залы, долетали звуки капеллы, которой управлял француз, нарочно привезенный князем Богуславом. Капелла играла менуэт, который тогда танцевали при французском дворе. Мягкие звуки смешивались с шумным говором гостей. Князь Радзивилл приостановился и стал слушать.

– Дай Бог, – промолвил он через минуту, – чтобы все эти гости, которых я принимаю под своим кровом, не перешли завтра в стан моих врагов.

– Ясновельможный князь, – заметил Кмициц, – я надеюсь, среди них нет шведских при-  
спешников.

Радзивилл вздрогнул и остановился.

– Что ты хочешь этим сказать?

– Ничего, ясновельможный князь, я хотел только сказать, что там веселятся достойные воители.

– Пойдем! Время покажет и Бог рассудит, кто из них достойный воитель... Пойдем!

У самой двери стояло двенадцать пажей, прелестных мальчиков в перьях и бархате. Увидев гетмана, они выстроились в два ряда; князь, подойдя к двери, спросил:

– Ясновельможная княгиня уже в зале?

– Да, ясновельможный князь, – ответили мальчики.

– А паны послы?

– Тоже.

– Откройте!

Обе створки дверей распахнулись в мгновение ока, поток света хлынул на гетмана и осветил его мощную фигуру; в сопровождении Кмицица и пажей Радзивилл взойшел на возвышение, где стояли кресла для почетных гостей.

В зале тотчас поднялось движение, все взоры обратились на князя, и клик вырвался из сотен рыцарских грудей.

– Да здравствует Радзивилл! Да здравствует Радзивилл, наш гетман! Да здравствует Радзивилл!

Князь кивал головою и махал рукой, затем стал приветствовать гостей, собравшихся на возвышении, которые встали со своих мест, когда он поднимался. В толпе знати, кроме самой княгини, были два шведских посла, посол московский, воевода венденский, епископ Парчевский, ксендз Белозор, Коморовский, Межеевский, Глебович, староста жмудский и шурин гетмана, молодой Пац, полковники Ганхоф и Мирский, посол герцога курляндского, Вейсенгоф и несколько дам из свиты княгини.

Гетман, как и приличествовало радушному хозяину, сперва приветствовал послов, обменявшись с ними любезностями, потом уже поздоровался с прочими; опустившись после этого в кресло с горностаевым балдахином, он стал глядеть на залу, где все еще раздавались клики:

– Да здравствует Радзивилл, наш гетман! Да здравствует Радзивилл!

Кмициц, укрывшись за балдахином, тоже глядел на толпу. Взор его пробежал по лицам, ища среди них милые черты той, которая в эту минуту владела сердцем и душою рыцаря. Сердце колотилось у него в груди.

«Она здесь! Через минуту я увижу ее, поговорю с нею!» – повторял он в душе. И искал, искал жадно, тревожно. Вон там, поверх перьев веера видны чьи-то черные брови, белое чело и светлые волосы. Это она!

Кмициц затаил дыхание, словно боясь спугнуть видение; но вот дама обмахивается веером, лицо открывается – нет, не Оленька, не она, милая, желанная! Взор его стремится дальше, окидывает прелестные фигуры, скользит по перьям, атласам, по лицам, подобным распустившимся цветкам, и обманывается каждое мгновенье. Не она, нет, не она! Но вот наконец в глубине залы, под окном, мелькнуло что-то белое, и у рыцаря помутилось в глазах – это Оленька, она, милая, желанная!..

Капелла снова начинает играть, толпа движется мимо, кружатся дамы, мелькают нарядные кавалеры, а он, точно ослепнув и оглохнув, ничего не видит, кроме нее, и смотрит так жадно, словно в первый раз ее увидал. Как будто это та же Оленька из Водоктов, и все же не та. В этой огромной зале, в этой толпе она кажется ему меньше, и личико у нее маленькое, совсем какое-то детское. Так бы вот взял ее на руки и прижал к сердцу! И все-таки она все та же, хоть иная; те же черты, те же сладостные уста, те же ресницы, от которых на щеки падает тень, то же ясное чело, спокойное, милое! Воспоминания молнией проносятся в голове пана Анджея: людская в Водоктах, где он впервые ее увидал, тихие покойчики, где они сидели вместе. Какое наслаждение даже только вспоминать об этом! А эта прогулка на санях в Митруны, когда он ее целовал!.. Потом уж люди разлучили их, восстановили ее против него.

«О, чтоб их гром убил! – воскликнул в душе Кмициц. – Чем владел я и что потерял! Какой близкой была она и как теперь далека!»

Сидит в отдалении, как чужая, и даже не подозревает, что он здесь! Гнев, но вместе с тем и безграничное сожаление охватили пана Анджея, сожаление, которое он излил в душе в одном только возгласе, так и не слетевшем с его уст:

«Эх, Оленька, Оленька!»

Много раз пан Анджей упрекал себя за старые свои проступки, порою готов был собственным людям приказать, чтобы растянули его на лавке да всыпали сотню плетей; но никогда не душил его такой гнев, как теперь, когда он снова увидел ее после долгой разлуки, еще более прекрасную, чем всегда, еще более прекрасную, чем он представлял себе. В эту минуту он готов был растерзать себя, но он был на людях, в толпе знати, а потому только стискивал зубы и, словно желая еще сильнее уязвить свою душу, повторял про себя:

«Так тебе и надо, глупец! Так тебе и надо!»

Тем временем звуки капеллы снова смолкли, и пан Анджей услышал голос гетмана:

– Следуй за мной!

Юноша словно пробудился ото сна.

Князь спустился с возвышения и вмешался в толпу гостей. На лице его играла мягкая, добродушная улыбка, которая, казалось, придавала его фигуре еще больше величественности. Это был тот самый надменный властитель, который в свое время, принимая в Непоренте королеву Марию Людвику, удивил, изумил и подавил французских придворных не только роскошью, но и светскостью своего двора; тот самый властитель, о котором с таким восторгом писал Жан Лабуре в отчете о своем путешествии. Теперь он то и дело останавливался около почтенных матрон, степенных шляхтичей и полковников и для каждого находил ласковое слово, удивляя гостей своей памятью и мгновенно покоряя сердца. Взоры присутствующих обращались на него всюду, где только он появлялся. Медленно приблизившись к мечнику россиенскому, князь обратился к старику со следующими словами:

– Спасибо тебе, мой старый друг, за то, что ты приехал, хоть я и вправе сердиться на тебя. Не за сотни миль Биллевичи от Кейдан, а ты в моем доме *gaga avis*.<sup>42</sup>

– Ясновельможный князь, – с низким поклоном ответил мечник, – ущерб наносит отчизне тот, кто отнимает у тебя время.

– А я уж замыслил отомстить тебе и учинить наезд на Биллевичи; надеюсь, ты бы радушно принял старого боевого друга.

Услышав такие речи, мечник покраснел от счастья, а князь между тем продолжал:

– Да вот времени, времени все не хватает! Но когда станешь выдавать свою родичку, внучку покойного пана Гераклиуша, на свадьбу непременно прикачу, это уж долг мой перед вами обоими.

– Пошли Бог счастья девке поскорей! – воскликнул мечник.

<sup>42</sup> редкая птица (лат.).

– А пока представляю тебе пана Кмицица, хорунжего оршанского, из тех Кмицицев, которые Кишкам, а через Кишков и Радзивиллам сродни. Верно, ты слышал эту фамилию от Гераклиуша, он ведь Кмицицев любил, как братьев...

– Здравствуй, здравствуй, пан Кмициц! – дважды повторил мечник, который, узнав из уст князя о том, сколь знатен род Кмицицев, проникся уважением к молодому рыцарю.

– Приветствует тебя, пан мечник, твой покорный слуга, – смело и не без кичливости промолвил пан Анджей. – Пан полковник Гераклиуш был мне отцом и благодетелем, и хоть позже разладилось дело, начатое им, однако ж я не перестал любить всех Биллевичей так, как если бы в жилах их текла моя собственная кровь.

– Особенно, – подхватил князь, запросто положив руку на плечо юноши, – не перестал он любить некую панну Биллевич, в чем давно мне открылся.

– И всякому это скажу, не таясь! – с жаром воскликнул Кмициц.

– Потихе, потихе! – остановил его князь. – Вот видишь, пан мечник, не кавалер это – огонь, потому и накуролесил; но молод он, да и под особым моим покровительством, потому-то питаю я надежду, что, когда мы вдвоем с ним начнем молить прелестный трибунал о прощении, с нас будет снят приговор.

– Ясновельможный князь, ты можешь сделать все, что пожелаешь, – ответил мечник. – Несчастливая принуждена будет воскликнуть, как языческая жрица Александру: «Кто против тебя устоит?»

– А мы, как Александр Македонский, будем довольны этим прорицанием, – засмеялся князь. – Но довольно об этом! Проводи же нас теперь к своей родичке, я тоже буду рад увидеть ее. Надо поправить дело пана Гераклиуша, которое было разладилось.

– К твоим услугам, ясновельможный князь. Она вон там сидит под опекой пани Войниллович, нашей родички. Прошу только прощенья, ежели девушка смутится, – не было у меня времени предупредить ее.

Мечник оказался прав. По счастью, Оленька раньше увидела пана Анджея рядом с гетманом, она могла поэтому оправиться, но в первую минуту едва не лишилась чувств. Она побледнела как полотно, ноги у нее подкосились, она вперила взор в молодого рыцаря, как в призрак, явившийся с того света. Долго не хотела она верить своим глазам. Она-то думала, что этот несчастный скитается где-то по лесам, без крыши над головой, всеми покинутый, преследуемый законом, как дикий зверь, или в темнице с отчаянием во взоре глядит сквозь решетку на веселый мир божий. Бог один знает, какой жалостью к этому потерянному человеку терзалась порой ее грудь, Бог один знает, сколько слез она пролила в одиночестве, оплакивая его долю, такую жестокую, но такую заслуженную, – а меж тем он здесь, в Кейданах, рядом с гетманом, свободный, кичливый, в парче и бархате, с полковничьим буздыганом за поясом, с поднятым челом, с надменным и властным молодым лицом, и сам великий гетман, сам Радзивилл запросто кладет ему руку на плечо. Станные, противоречивые чувства овладели вдруг сердцем девушки: и чувство огромного облегчения, точно гора свалилась с плеч, и как бы досады на то, что напрасны были все ее сожаления, все муки, и разочарование, которое испытывает всякая честная душа при виде полной безнаказанности за столь тяжкие грехи и провинности, и радости, и собственной слабости, и граничащего со страхом удивления перед этим юношей, который сумел выбраться из такой пучины.

Тем временем князь, мечник и Кмициц кончили разговор и направились к ней. Девушка закрыла глаза и подняла плечи, словно птица, которая хочет спрятать голову под крыло. Она была уверена, что они идут к ней. Не глядя, она видела их, слышала, что они приближаются, что уже подошли к ней, что остановились. Она так была в этом уверена, что, не поднимая глаз, встала вдруг и низко поклонилась князю.

Он и в самом деле стоял уже перед ней.



– О, Боже! – воскликнул он. – Не дивлюсь я теперь молодцу, ибо чудный это расцвел цветок... Приветствую тебя, моя панна, приветствую от всей души и сердца дорогую внучку моего Биллевича. Узнаешь ли ты меня?

– Узнаю, ясновельможный князь! – ответила девушка.

– А я бы тебя не узнал, я ведь в последний раз видел тебя девочкой еще не расцветшей и не в таком наряде, как нынче. Подними же эти занавески с глаз! Клянусь Богом, счастлив тот ловец, который выловит такую жемчужину, несчастен, кто владел ею и потерял ее. Вот стоит перед тобою такой несчастливец. Узнаешь ли ты и этого кавалера?

– Узнаю, – прошептала Оленька, не поднимая глаз.

– Великий он грешник, и я привел его к тебе на покаяние. Наложил на него какую хочешь епитимью, но не отказывай ему в отпущении грехов, дабы в отчаянии не совершил он еще более тяжких. – Тут князь обратился к мечнику и пани Войниллович: – Оставим молодых, не годится присутствовать при исповеди, а мне это и моя вера запрещает.

Через минуту пан Анджей и Оленька остались одни.

Сердце колотилось у нее в груди, как у голубя, над которым повис ястреб; но и он был взволнован. Его оставила обычная смелость, горячность и самоуверенность. Долгое время они оба молчали.

Наконец он первый заговорил низким, сдавленным голосом:

– Ты не ждала увидеть меня здесь, Оленька?

– Нет, – прошептала девушка.

– Клянусь Богом, если б татарин стоял около тебя, ты не была бы так испугана. Не бойся! Погляди, сколько здесь народу. Никакой обиды я тебе не нанесу. Да когда б и одни мы были, тебе нечего было бы бояться, я ведь дал себе клятву почитать тебя. Верь мне!

На мгновение она подняла глаза и посмотрела на него.

– Как же мне верить тебе?

– Грешил я, это правда; но все прошло и больше не повторится. Когда после поединка с Володыёвским лежал я на одре между жизнью и смертью, сказал я себе: «Не будешь ты больше брать ее ни силой, ни саблей, ни пулей, заслужишь любовь ее добрыми делами и вымолишь у нее прощение! И у нее сердце не камень, смягчится гнев ее, увидит она, что ты исправился, и простит!» Дал я себе клятву исправиться и исполню ее!.. А тут и Бог послал мне свое благословение: приехал Володыёвский и привез мне грамоту на набор войска. Мог он не отдать мне грамоту, но человек он достойный и вручил мне ее! Не надо было мне теперь и в суды являться, стал я гетману подсуден. Как отцу родному, покаялся я князю во всех грехах, и он не только простил меня, но обещал все дело уладить и защитить меня от недоброжелателей. Да благословит его Бог! Не буду я изгнанником, Оленька, с людьми помирюсь, снова верну свою славу, отчизне послужу, возмещу обиды... Оленька, что же ты на это скажешь? Не скажешь ли ты мне доброго слова?

Он вперил в нее взор и молитвенно сложил руки.

– Могу ли я верить тебе? – спросила девушка.

– Можешь, клянусь Богом, можешь, должна! – ответил Кмициц. – Ты погляди, и князь гетман, и пан Володыёвский поверили мне. Знают они все мои проступки, и все-таки поверили мне. Вот видишь! Почему же ты одна не хочешь мне верить?

– Я видела людские слезы, которые лились по твоей вине. Я видела могилы, которые не поросли еще травой...

– Могилы порастут травой, а слезы я сам оботру.

– Сперва сделай это, пан Анджей.

– Ты мне только надежду подай, что как сделаю я это, то тебя снова найду. Хорошо тебе говорить: «Сперва сделай!» А коли я сделаю, а ты тем временем выйдешь замуж за другого? Сохрани Бог, упаси Бог от такой страсти, не то я ума лишусь! Христом-Богом молю тебя,

Оленька, дай мне слово, что я не потеряю тебя, покуда помирюсь с вашей шляхтой. Помнишь, ты сама мне об этом написала? Я храню твое письмо, и когда у меня очень тяжело на душе, перечитываю его снова и снова. Ничего я больше не прошу, скажи только мне еще раз, что будешь ждать меня, что не пойдешь за другого!

– Ты знаешь, пан Анджей, мне по завещанию нельзя пойти за другого. Я могу только уйти в монастырь.

– Вот это бы угостила! Ради Христа и думать брось о монастыре, а то у меня при одной мысли об этом мороз подирает по коже. Брось, Оленька, не то я при всем народе упаду перед тобой на колени и буду молить не делать этого. Я знаю, ты отказала пану Володыевскому, он сам мне об этом рассказывал. Он-то и толкал меня к тому, чтобы я покори́л твое сердце добрыми делами. Но к чему все эти добрые дела, коли ты уйдешь в монастырь? Ты мне скажешь, что добро надо делать ради добра, а я тебе отвечу, что люблю тебя отчаянно и знать ничего не хочу. Когда ты уехала из Водоктов, я, едва поднявшись с постели, бросился искать тебя. Хоругвь набирал, минуты свободной не было, некогда было ни поесть, ни поспать, а я все искал тебя. Такая уж моя доля, что без тебя нет мне жизни, нет мне покоя! Такая, право, притча со мной! Одними вздыханиями жил. Дознался наконец, что ты у пана мечника в Биллевичах. Так, скажу тебе, как с медведем, боролся с самим собою: ехать, не ехать... Однако ж побоялся ехать, чтоб не напоила ты меня желчью. Сказал наконец себе: ничего хорошего я еще не сделал, не поеду... Но вот князь, дорогой отец мой, сжалился надо мною и послал человека просить вас приехать в Кейданы, чтобы я хоть наглядеться мог на тебя... На войну ведь идем. Я не прошу, чтобы ты завтра же за меня вышла. Но коли доброе слово от тебя услышу, коли только уверюсь, легче мне станет. Единственная ты моя! Не хочу я погибать, но в бою все может случиться, не буду же я прятаться за чужие спины... потому должна ты простить меня, как прощают грехи умирающему.

– Храни тебя Бог, пан Анджей, и да наставит он тебя на путь истинный! – ответила девушка мягким голосом, по которому пан Анджей тотчас понял, что слова его возымели действие.

– Золотко ты мое! Спасибо тебе и на том. А в монастырь не пойдешь?

– Покуда нет.

– Благослови тебя Бог!

И как весною пропадают снега, так между ними стало пропадать недоверие, и они ощутили большую близость, нежели за минуту до этого. На сердце у них стало легче, глаза посветлели. А ведь она ничего ему не обещала, и у него хватило ума ничего не просить. Но она сама чувствовала, что нельзя, нехорошо отрезать ему пути к исправлению, о котором он говорил с такою искренностью, а в искренности его она ни минуты не сомневалась, не такой он был человек, чтобы притворяться. Но главной причиной, почему она не оттолкнула его снова, оставила ему надежду, было то, что в глубине души она все еще любила его. Гора разочарований, горечи и мук погребла эту любовь; но она жила, всегда готовая верить и прощать без конца.

«Нельзя судить о нем по его поступкам, он лучше, – думала девушка, – и нет уж больше тех, кто толкал его на преступления; в отчаянии он может снова оступиться, так пусть же никогда не отчаивается».

И доброе ее сердце обрадовалось тому, что она простила его. На щеках Оленьки заиграл румянец, свежий, как роза, окропленная утреннею росой, живо и радостно засиял ее взор и словно озарил всю залу. Люди проходили мимо и любовались чудной парой, потому что такого кавалера и такую панну днем с огнем не сыскать было во всей этой зале, где собрался весь цвет шляхты и шляхтянок.

К тому же оба они, словно сговорившись, нарядились одинаково: на ней тоже было платье серебряной парчи и голубой кунтуш венецианского бархата. «Верно, брат с сестрою», –

высказывали предположение те, кто не знал их; но другие тотчас возражали: «Не может быть, уж очень он очами ее пожирает».

Тем временем дворецкий дал знак, что пора садиться за стол, и в зале сразу поднялось движение. Граф Левенгаупт, весь в кружевах, шел впереди под руку с княгиней, шлейф которой несли два прехорошеньких пажа; вслед за ними барон Шитте вел пани Глебович и шел епископ Парчевский с ксендзом Белозором, оба хмурые, чем-то очень удрученные.

Князь Януш, в шествии уступивший первое место гостям, но за столом занявший самое высокое место рядом с княгиней, вел пани Корф, жену венденского воеводы, которая вот уже неделю гостила в замке. Так текла целая вереница пар, изгибаясь и переливаясь многоцветною лентою, Кмициц вел Оленьку, которая слегка оперлась на его руку; пылая, как факел, он поглядывал сбоку на нежное ее личико, счастливый, властелин над властелинами, ибо рядом было бесценное его сокровище.

Так, шествуя плавно под звуки капеллы, гости вошли в столовую залу, представлявшую собою как бы целое особое здание. Стол, поставленный покоем, был накрыт на триста персон и ломился под золотом и серебром. Князь Януш, как один из властителей державы и родич стольким королям, занял рядом с княгиней самое высокое место, а гости, проходя мимо, низко кланялись и занимали места по титулу и чину.

Но мнилось гостям, что гетман помнит о том, что это последний пир перед страшной войною, в которой будут решены судьбы великих держав, ибо не было в лице его покоя. Тщетно силился он улыбаться и казаться веселым, вид у него был такой, точно его сжигал внутренний жар. Порою облако повисало на грозном его челе, и сидевшие рядом замечали, как покрывается оно каплями пота; порою пронзительный взор его, скользя по лицам гостей, останавливался на лицах отдельных полковников; потом князь снова сунул львиные брови, словно пронзенный болью или обуянный гневом при виде чьего-то лица. И странное дело! Сановники, сидевшие рядом с ним: послы, епископ Парчевский, ксендз Белозор, Коморовский, Межеевский, Глебович, венденский воевода и другие, – тоже были рассеяны и беспокойны. На двух концах огромного, поставленного покоем стола уже слышался, как всегда на пирах, веселый и шумный говор, а в вершине его пирующие хранили угрюмое молчание, или обменивались шепотом короткими словами, или рассеянно и как будто тревожно переглядывались друг с другом.

Впрочем, в этом не было ничего удивительного, ибо на нижних концах сидели полковники и рыцари, которым близкая война грозила, самое большее, смертью. Легче быть убитым на войне, нежели нести за нее бремя ответственности. Не взволнуется душа солдата, когда, искупив кровью грехи, будет возноситься с поля битвы на небо, и лишь тот тяжело склонит голову, лишь тот будет беседовать в душе с Богом и совестью, кто в канун решительного дня не ведает, чашу какого питья подаст наутро отчизне.

Так на нижних концах и объясняли беспокойство князя.

– Он перед войною всегда такой, потому с собственной душой беседует, – толковал Заглобе старый полковник Станкевич. – Но чем он угрюмей, тем хуже для врага, ибо в день битвы будет наверняка весел.

– Лев и то ворчит перед дракой, чтобы разъяриться, – заметил Заглоба, – что ж до великих воителей, то у всякого свой норов. Ганнибал, сдается, играл в кости, Сципион Африканский читал вирши, пан Конецпольский, отец наш, всегда о бабах любил поговорить, ну а мне перед боем поспать бы часок-другой, да и чару выпить с друзьями я тоже не прочь.

– Поглядите, епископ Парчевский тоже бледен как полотно! – сказал Станислав Скутский.

– Это потому, что он сидит за кальвинистским столом и с едой легко может проглотить что-нибудь нечистое, – пояснил вполголоса Заглоба. – К напиткам, говорят старики, нечистой силе доступа нет, их везде можно пить, а вот еды, особенно супов, надо остерегаться. Так было и в Крыму, когда я сидел там в неволе. Татарские муллы, или по-нашему ксендзы, так умели

приготовить баранину с чесноком, что только отведаешь – и уж готов и от веры отречься, и в ихнего мошенника пророка уверовать. – Тут Заглоба еще больше понизил голос: – Я про князя не говорю, ну а все-таки мой совет вам, друзья, перекрестите еду, береженого Бог бережет.

– Ну что ты, пан, говоришь! Кто перед едой поручил себя Богу, с тем ничего не может стать: у нас в Великой Польше пропасть лютеран и кальвинистов, а я что-то не слыхал, чтоб они наводили чары на пищу.

– У вас в Великой Польше пропасть лютеран и кальвинистов, вот они со шведами тотчас и снюхались, – отрезал Заглоба, – а теперь и вовсе дружбу с ними свели. Я бы на месте князя собак натравил на этих послов, а не набивал им брюхо лакомствами. Вы только поглядите на этого Левенгаупта. Жрет так, точно через месяц ему должны веревку к ноге привязать и гнать на ярмарку. Еще для жены с детишками полны карманы сластей набьет. Забыл я, как ту другую заморскую птицу звать... Как, бишь, его...

– Ты, отец, Михала спроси, – сказал Ян Скшетуский.

Пан Михал сидел недалеко, но ничего не слышал, ничего не видел, так как по левую руку от него сидела панна Эльжбета Селявская, почтенная девица, лет этак сорока, а по правую Оленька Биллевич и рядом с нею Кмициц. Панна Эльжбета трясла над маленьким рыцарем головой, украшенной перьями, и что-то с большой живостью ему рассказывала, а он, глядя на нее отуманенным взором, то и дело поддакивал: «Да, милостивая панна, клянусь Богом, да!» – но не понимал ни слова, ибо все его внимание было устремлено в другую сторону. Он ловил слова Оленьки, шелест ее парчового платья и от сожаленья так топорщил усики, точно хотел напугать ими панну Эльжбету.

«Что за чудная девушка! Что за красавица! – говорил он про себя. – Смилуйся, Господи, надо мною, убогим, ибо нет сироты горше меня. Так хочется мне иметь свою любу, просто вся душа изныла, а на какую девушку ни взгляну, там уж другой солдат на постое. Куда же мне, несчастному скитальцу, деваться?»

– А что ты, пан, думаешь делать после войны? – спросила вдруг панна Эльжбета Селявская, сложив губки сердечком и усердно обмахиваясь веером.

– В монастырь пойду! – сердито ответил маленький рыцарь.

– А кто это на пиру про монастырь толкует? – весело крикнул Кмициц, перегибаясь за спиной Оленьки. – Эге, да это пан Володыёвский!

– А ты об этом не помышляешь? Верю, верю! – сказал пан Михал.

Но тут в ушах его раздался сладкий голос Оленьки:

– Да и тебе, пан, незачем помышлять об этом. Бог даст тебе жену по сердцу, милую и такую же достойную, как ты сам.

Добрейший пан Михал тотчас растрогался:

– Да заиграй мне кто на флейте, и то бы мне не было приятней слушать!

Шум за столом все усиливался и прервал дальнейший разговор, да и дело дошло уже до чар. Гости все больше оживлялись. Полковники спорили о будущей войне, хмурили брови и бросали огненные взгляды.

Заглоба на весь стол рассказывал об осаде Збаража, и слушателей бросало в жар, и сердца проникались отвагой и воодушевлением. Казалось, дух бессмертного Иеремии слетел в эту залу и богатырским дыханием наполнил души солдат.

– Это был полководец! – сказал знаменитый полковник Мирский, который командовал всеми гусарами Радзивилла. – Один раз только я его видел, но и в смертный час буду помнить.

– Юпитер с громами в руках! – воскликнул старый Станкевич. – Будь он жив, не дошли бы мы до такого позора!

– Да! Он за Ромнами приказал леса рубить, чтобы открыть себе дорогу к врагам.

– Он виновник победы под Берестечком.

– И в самую тяжкую годину Бог прибрал его!

– Бог прибрал его, – возвысив голос, повторил Скшетуский, – но остался его завет будущим полководцам, правителям и всей Речи Посполитой: ни с одним врагом не вести переговоров, а всех бить!

– Не вести переговоров! Бить! – повторило десятка два сильных голосов. – Бить! Бить!

Страсти разгорались в зале, кровь кипела у воителей, взоры сверкали, и все больше распалялись подбритые головы.

– Наш князь, наш гетман последует его завету! – воскликнул Мирский.

Но тут огромные часы на хорах стали бить полночь, и в ту же минуту задрожали стены, жалобно задребезжали стекла, и гром салюта раздался во дворе замка.

Разговоры смолкли, воцарилась тишина.

Вдруг с верхнего конца стола послышались крики:

– Епископ Парчевский лишился чувств! Воды!

Поднялось замешательство. Некоторые гости повскакали с мест, чтобы получше разглядеть, что случилось. Епископ не лишился чувств, но так ослаб, что дворецкий поддерживал его сзади за плечи, а жена венденского воеводы брызгала ему в лицо водой.

В эту минуту второй салют потряс стекла, за ним третий, четвертый...

– Vivat Речь Посполитая! Pereant hostes!<sup>43</sup> – крикнул Заглоба.

Однако новые салюты заглушили его слова. Шляхта стала считать залпы:

– Десять, одиннадцать, двенадцать...

Стекла всякий раз отвечали жалобным дребезжанием. От сотрясения колебалось пламя свечей.

– Тринадцать, четырнадцать! Епископ не привык к пальбе. Испугался и только потеху испортил, князь тоже встревожился. Поглядите, какой сидит хмурый... Пятнадцать, шестнадцать... Ну и палят, как в сражении! Девятнадцать, двадцать!

– Тише там! Князь хочет говорить! – закричали вдруг с разных концов стола.

– Князь хочет говорить!

Воцарилась мертвая тишина, и все взоры обратились на Радзивилла, который стоял могучий, как великан, с кубком в руке. Но что за зрелище поразило взоры пирующих!..

Лицо князя в эту минуту показалось гостям просто страшным: оно было не бледным, а синим, деланная, неестественная улыбка судорогой исказила его. Дыхание, всегда короткое, стало еще прерывистей, широкая грудь вздымалась под золотой парчой, глаза были полузакрыты, ужас застыл на этом крупном лице и тот холод, какой проступает в чертах умирающего.

– Что с князем? Что случилось? – со страхом шептали вокруг.

И сердца у всех сжались от зловещего предчувствия; лица застыли в тревожном ожидании.

А он между тем заговорил коротким, прерывающимся от астмы голосом:

– Дорогие гости! Многих из вас удивит, а может быть, и испугает моя здравица... но... кто предан мне и мне верит... кто воистину хочет добра отчизне... кто искренний друг моего дома... тот охотно поднимет свой кубок... и повторит за мною: vivat Carolus Gustavus... с нынешнего дня милостивый наш повелитель!

– Vivat! – подхватили послы Левенгаупт и Шитте и десятка два офицеров иноземных войск.

Однако в зале воцарилось немое молчание. Полковники и шляхта ошеломленно переглядывались, словно вопрошая друг друга, не потерял ли князь рассудка. Наконец с разных концов стола донеслись голоса:

– Не ослышались ли мы? Что все это значит?

Затем снова воцарилась тишина.

---

<sup>43</sup> Да погибнут враги! (лат.)

Неописуемый ужас и изумление отразились на лицах, и все взоры вновь обратились на Радзивилла, а он все стоял и дышал глубоко, точно сбросил с плеч тягчайшее бремя. Краска медленно возвращалась на его лицо; обращаясь к Коморовскому, он сказал:

– Время огласить договор, который мы сегодня подписали, дабы все знали, чего надлежит держаться. Читай, милостивый пан!

Коморовский поднялся, развернул лежавший перед ним свиток и стал читать ужасный договор, который начинался следующими словами:

«Не ведая в нынешнее смутное время меры лучше и благодетельней и потеряв всякое упование на помощь его величества короля, мы, правители и сословия Великого княжества Литовского, вынужденные к тому необходимостью, предаемся под покровительство его величества короля шведского на нижеследующих условиях:

1) Совместно воевать против общих врагов, выключая короля и Корону Польскую.

2) Великое княжество Литовское не будет присоединено к Швеции, но соединено с нею тою же унией, каковая доньше была с Короною Польскою, то есть народ во всем будет равен народу, сенат сенату и рыцари рыцарям.

3) Свобода голоса на сеймах будет невозбранною.

4) Свобода религии будет нерушимой...»

Так читал Коморовский в объятый тишиною и ужасом зале, но когда он дошел до параграфа: «Акт сей подписан нашими скрепляем за нас и потомков наших, клянемся в том и даем поруку...» – ропот пробежал по зале, словно первое дыхание бури всколыхнуло лес. Но буря не успела разразиться: седой как лунь полковник Станкевич воскликнул с мольбою в голосе:

– Ясновельможный князь, мы не верим своим ушам! Раны Христовы! Ведь прахом пойдет все дело Владислава и Сигизмунда Августа! Мыслимое ли это дело – отречься от бра-тв, отречься от отчизны и заключать унию с врагом? Вспомни, князь, чье имя ты носишь, вспомни заслуги, которые оказал ты родине, незапятнанную славу своего рода и порви и растопчи позорный этот документ! Знаю я, что прошу об этом не от одного своего имени, но от имени всех присутствующих здесь военных и шляхты. Ведь и нам принадлежит право решать нашу судьбу. Ясновельможный князь, не делай этого, еще есть время! Смилуйся над собою, смилуйся над нами, смилуйся над Речью Посполитою!

– Не делай этого! Смилуйся! Смилуйся! – раздались сотни голосов.

И все полковники повскакали с мест и пошли к Радзивиллу, а седой Станкевич опустился посреди залы на колени, между двумя концами стола, и все громче несло отовсюду:

– Не делай этого! Смилуйся над нами!

Радзивилл поднял свою крупную голову, и молнии гнева избородили его чело.

– Ужели вам приличествует, – внезапно вспыхнул он, – первыми подавать пример неповиновения? Ужели воинам приличествует отречься от полководца, от гетмана и выступать противу него? Вы хотите быть моею совестью? Вы хотите учить меня, как надлежит поступить для блага отчизны? Не сеймик здесь, и вас позвали сюда не для голосования, а перед Богом я в ответе!

И он ударил себя рукою в грудь и сверкающим взором окинул воителей, а через минуту воскликнул:

– Кто не со мною, тот против меня! Я знал вас, я предвидел, что будет! Но знайте же, меч висит над вашими головами!

– Ясновельможный князь! Гетман наш! – молил старый Станкевич. – Смилуйся над нами и над собою!

Но старика прервал Станислав Скшетуский, – схватившись обеими руками за волосы, он закричал голосом, полным отчаяния:

– Не молитесь его, все напрасно! Он давно вскормил в сердце эту змею! Горе тебе, Речь Посполитая! Горе всем нам!

– Двое вельмож на двух концах Речи Посполитой продают отчизну! – воскликнул Ян. – Проклятие этому дому, позор и гнев Божий!

Услышав эти слова, опомнился Заглоба.

– Спросите у него, – крикнул, негодуя, старик, – что он взял за это от шведов? Сколько они ему отсчитали? Что еще посулили? Это Иуда Искарот! Чтобы тебе умереть в отчаянии! Чтобы род твой угас! Чтобы дьявол унес твою душу! Изменник! Изменник! Трижды изменник!

В беспамятстве и отчаянии Станкевич вырвал из-за пояса свою полковничью булаву и с треском швырнул ее к ногам князя. За ним бросил булаву Мирский, третьим Юзефович, четвертым Гощиц, пятым, бледный как труп, Володыёвский, шестым Оскерко – и покатались по полу булавы, и в то же время в этом львином логове, прямо в глаза льву все больше уст повторяли страшное слово:

– Изменник! Изменник!

Кровь ударила в голову кичливому магнату, он весь посинел и, казалось, сейчас замертво рухнет под стол.

– Ганхоф и Кмициц, ко мне! – взревел он страшным голосом.

В ту же минуту четыре створы дверей с треском распахнулись, и в залу вступили отряды шотландской пехоты, грозные, немые, с мушкетами в руках. От главного входа их вел Ганхоф.

– Стой! – загремел князь. Затем он обратился к полковникам: – Кто со мной, пусть перейдет на правую сторону!

– Я солдат и служу гетману! Бог мне судья! – сказал Харлампыч, переходя на правую сторону.

– И я! – прибавил Мелешко. – Не мой грех будет!

– Я протестовал как гражданин, как солдат обязан повиноваться, – прибавил третий, Невяровский, который поначалу бросил булаву, но теперь, видно, испугался Радзивилла.

За ними перешло еще несколько человек и довольно большая кучка шляхты; только Мирский, старший по чину, и Станкевич, старший по годам, Гощиц, Володыёвский и Оскерко остались на месте, а с ними оба Скшетуские, Заглоба и подавляющее большинство шляхты и хорунжих из разных тяжелых и легких хоругвей.

Шотландская пехота окружила их стеной.

Когда князь провозгласил здравицу в честь Карла Густава, Кмициц в первую минуту вскочил вместе со всеми остальными, он стоял окаменелый, с остановившимися глазами, и повторял побелевшими губами:

– Боже! Боже! Что я наделал!

Но вот тихий голос, который он, однако, явственно расслышал, шепнул ему на ухо:

– Пан Анджей!

Он вцепился руками в волосы:

– Проклят я навечно! Расступись же подо мною, земля!

Панна Александра вспыхнула, глаза ее, словно ясные звезды, устремились на Кмицица:

– Позор тем, кто встает на сторону гетмана! Выбирай! Боже всемогущий! Что ты делаешь, пан Анджей! Выбирай!

– Иисусе! Иисусе! – воскликнул Кмициц.

В это время в зале раздались крики, это полковники бросали булавы под ноги князю, однако Кмициц не присоединился к ним; он не двинулся с места ни тогда, когда князь крикнул: «Ганхоф и Кмициц, ко мне»! – ни тогда, когда шотландская пехота вошла в залу, и стоял, терзаемый мукой и отчаянием, со смутно блуждающим взором, с посинелыми губами.

Внезапно он повернулся к панне Александре и протянул к ней руки.

– Оленька! Оленька! – жалобно простонал он, как обиженный ребенок.

Но она отшатнулась от него с отвращением и ужасом.

– Прочь, изменник! – решительно сказала она.

В эту минуту Ганхоф скомандовал: «Вперед!» – и отряд шотландцев, окруживший узников, направился к дверям.

Кмициц в беспамятстве последовал за ними, сам не зная, куда и зачем он идет.

Пир кончился...



## Глава XIV

В ту же ночь князь долго держал совет с Корфом, воеводой венденским, и с шведскими послами. Он не думал, что оглашение договора приведет к таким последствиям, обманулся в своих ожиданиях, и страшное будущее открылось перед ним. Умышленно огласил он договор на пиру, когда умы разгорячены, согласны на все и готовы на все. Конечно, он ждал сопротивления, но рассчитывал и на приверженцев, а тем временем сила протеста превзошла его ожидания. Кроме нескольких десятков шляхтичей-кальвинистов да кучки офицеров иностранного происхождения, которые как чужестранцы не могли иметь голоса, все высказались против договора, заключенного с королем Карлом Густавом, верней, с фельдмаршалом его и шурином, Понтусом де ла Гарди.

Правда, князь приказал арестовать офицеров, оказавших сопротивление, но что из этого? Что скажут на это регулярные хоругви? Не выступят ли они на защиту своих полковников? Не взбунтуются ли и не захотят ли силой отбить их?

Что останется тогда кичливому князю, кроме нескольких драгунских полков и иностранной пехоты?

А потом останется еще вся страна, вся вооруженная шляхта и Сапега, витебский воевода, грозный противник радзивиловского дома, готовый воевать со всем миром во имя неприкосновенности Речи Посполитой. К нему перейдут полковники, которым не срубишь головы с плеч, и польские хоругви, и Сапега возглавит все силы страны, а он, князь Радзивилл, останется без войска, без приверженцев, без власти... Что тогда будет?..

Это были страшные вопросы, и положение было страшным. Князь хорошо понимал, что тогда договор, который он столько времени тайно готовил, силою вещей потеряет всякое значение, шведы отвернутся тогда от него, а быть может, станут мстить за то, что обманулись в своих ожиданиях. К тому же он отдал им свои Биржи, как залог верности, и тем самым еще больше ослабил себя.

Для могущественного Радзивилла Карл Густав готов обеими руками сыпать награды и почести, от слабого и покинутого он отвернется с еще большим презрением, чем от других. А если изменчивое колесо фортуны пошлет победу Яну Казимиру, тогда гибель ждет его, Радзивилла, властителя, равного которому еще сегодня утром не было во всей Речи Посполитой.

После отъезда послов и венденского воеводы князь сжал обеими руками отягощенное заботами чело и быстрыми шагами начал ходить по покою. Снаружи доносились голоса шотландской стражи и стук карет уезжавшей шляхты. Она уезжала так торопливо, так поспешно, точно чума посетила роскошный кейданский замок. Страшная тревога терзала душу Радзивилла.

Порой ему казалось, что, кроме него, в покое есть еще кто-то и ходит за ним, и шепчет ему на ухо: «Оставлен будешь всеми в нищете, и к тому же отдан на позор!..» Да, он, воевода виленский, великий гетман, уже был раздавлен и унижен! Кто бы мог вчера подумать, что во всей Короне и Литве – да нет, во всем мире! – найдется человек, который осмелился бы крикнуть ему в глаза: «Изменник!» А ведь он услышал это слово и остался жив, и те, кто произнес это слово, тоже живы. Войди он сейчас в пиршественную залу, он, быть может, услышит, как эхо повторяет под ее сводами: «Изменник! Изменник!»

Дикая, неукротимая ярость закипала порой в груди олигарха. Ноздри его раздувались, глаза сверкали, жилы вспухли на лбу. Кто смеет тут противиться его воле? Исступленная мысль рисовала ему картины казней и пыток мятежников, которые осмелились не пойти за ним, как покорные псы идут за хозяином. Он видел их кровь, стекающую с топоров палачей, слышал хруст костей, ломаемых на колесе, и тешился, и любовался, и наслаждался кровавыми видениями.

Но когда трезвый рассудок напоминал ему, что за этими мятежниками стоит войско, что нельзя безнаказанно срубить им головы, снова возвращалась невыносимая, адская тревога и наполняла его душу, и кто-то снова начинал шептать на ухо: «Оставлен будешь всеми в нищете, и к тому же отдан под суд, на позор!..»

Как же так? Стало быть, Радзивилл не может решать судьбу страны, не может сохранить ее за Яном Казимиром или отдать Карлу Густаву, отдать, передать, принести в дар, кому он захочет?

Магнат в изумлении устремил взгляд в пространство.

Так кто же они, Радзивиллы? Кем же они были вчера? Что говорила о них вся Литва? Ужели все это был один обман? Ужели за великого гетмана не встанет князь Богуслав со своими полками, за Богуслава – дядя его, курфюрст бранденбургский, а за всех троих Карл Густав, король шведский, со всей своею победоносною мощью, перед которой еще недавно трепетала вся Германия? Ведь и Речь Посполитая протягивает руки к новому господину, и она сдается при одной вести о приближении северного льва. Кто же противится этой неукротимой силе?

С одной стороны король шведский, курфюрст бранденбургский, Радзивиллы, при нужде и Хмельницкий со всей его мощью, и господарь валашский, и Ракоци семиградский, – чуть не половина Европы! А с другой – витебский воевода с Мирским, с этими тремя шляхтичами, которые приехали из Лукова, и с несколькими взбунтовавшимися хоругвями!.. Что это? Шутки, насмешка?

Князь вдруг громко рассмеялся:

– А, Люцифер их возьми со всем своим бесовским легионом, ошалел я, что ли? Да пусть хоть все уходят к витебскому воеводе!

Однако через минуту лицо его снова омрачилось.

– Эти властители допустят в союз только властителей. Радзивилл, который бросает Литву к ногам шведов, будет желанным союзником. Радзивилл, зовущий на помощь против Литвы, будет презрен ими.

Что делать?

Иноземные офицеры останутся с ним; но силы их недостаточны, и если польские хоругви перейдут к витебскому воеводе, тогда судьбы страны будут в руках Сапеги. Каждый офицер-иноземец выполнит приказ, но никто из них не посвятит себя всего делу Радзивилла, не предается ему со всем жаром души не только как солдат, но и как приверженец.

Не иноземцы нужны, а непременно свои люди, которые могли бы привлечь других знатностью, славою, дерзким примером, готовностью на все... Приверженцы нужны в своей стране хотя бы для видимости.

Кто же из этих своих остался на его стороне? Харлампы, старый, уже непригодный солдат, служака, и только; Невяровский, которого недолюбливают в войске и который не пользуется никаким влиянием, а с ними еще несколько человек, которые значат еще меньше. Никого больше нет, никого такого, за кем пошло бы войско, никого такого, кто мог бы убедить в правоте его дела.

Остается Кмициц, молодой, предприимчивый, дерзкий, покрытый рыцарской славой, носящий знаменитое имя, возглавляющий сильную хоругвь, которую он выставил отчасти даже на собственные средства, человек, как бы созданный вождем всех дерзких и непокорных в Литве и к тому же полный одушевления. Вот если бы он взялся за дело Радзивиллов, взялся с тою верой, какую дает молодость, слепо пошел бы за своим гетманом и стал бы его апостолом! Ведь такой апостол значит больше целых своих полков и целых полков иноземных. Он сумел бы перелить свою веру в сердца молодых рыцарей, увлечь их за собою и толпы людей привести в радзивилловский стан.

Однако и он явно поколебался. Правда, не бросил своей булавы под ноги гетману, но и не стал на его сторону в первую же минуту.

«Не на кого положиться, никому нельзя верить, – угрюмо подумал князь. – Все они перейдут к витебскому воеводе, и никто не захочет разделить со мною...»

– Позор! – шепнула совесть.

– Литву! – ответствовала гордыня.

Свечи оплыли, и в покое потемнело, только в окна лился серебряный свет луны. Радзивилл загляделся на лунные отблески и погрузился в глубокую задумчивость.

Медленно стали мутиться отблески, и люди замаячили во мгле, они все прибывали, и князь увидел, наконец, войска, которые спускались к нему с вышины по широкой лунной дороге. Идут панцирные полки, тяжелые и легкие, идут гусарские полки, реют над ними знамена, а во главе их скачет кто-то без шлема, – видно, победитель возвращается с победоносной войны. Тишина кругом, и князь явственно слышит голос войск и народа:

– Vivat defensor patriae! Vivat defensor patriae!

Войска все приближаются; уже можно различить лицо полководца. Он держит в руке булаву; по числу бунчуков видно, что это великий гетман.

– Во имя Отца и Сына! – кричит князь. – Да ведь это Сапега, это воевода витебский! А где же я? Что же мне суждено?

– Позор! – шепчет совесть.

– Литва! – отвечает гордыня.

Князь хлопнул в ладоши, Гарасимович, бодрствовавший в соседнем покое, тотчас показался в дверях и согнулся кольцом в поклоне.

– Свет! – сказал князь.

Гарасимович снял нагар со свечей, затем вышел и через минуту вернулся со светильником в руке.

– Ясновельможный князь! – сказал он. – Пора на отдых, вторые петухи пропели!

– Я не хочу спать! – ответил князь. – Задремал, и злые грезы меня душили. Что нового?

– Какой-то шляхтич привез письмо из Несвижа от князя кравчего; но я не посмел войти без зова.

– Давай скорее письмо!

Гарасимович подал письмо, князь вскрыл печать и прочел следующее:

«Храни тебя Бог, князь, и упаси от умыслов, кои могут принести нашему дому вечный позор и гибель. За одно таковое намерение не о владычестве, но о власнице надлежит помыслить. Дума о величии нашего дома и у меня на сердце лежит, и наилучшее тому доказательство старания, кои прилагал я в Вене, дабы получить suffragia в сеймах Империи. Но отчизне и повелителю нашему я не изменю ни за какие награды и власть земную, дабы после такого сева не собрать жатвы гнева при жизни и осуждения за гробом. Воззри, князь, на заслуги предков и на незапятнанную славу и опомнись, Христом-Богом молю, покуда есть еще время. Враг осаждает меня в Несвиже, и не знаю я, дойдет ли до твоих рук сие послание; но хотя каждая минута грозит мне гибелью, не о спасении молю я Бога, но о том, дабы удержал он тебя от сих умыслов и наставил на путь истинный. Буде свершилось злое дело, можно еще recedere<sup>44</sup> и скорым исправлением искупить вину. А от меня не жди помощи, заранее упреждаю, что, невзирая на кровные узы, силы свои соединю с паном подскарбием и с воеводою витебским и оружие мое сто раз обращаю против тебя, князь, прежде нежели добровольно приложить руку к сей позорной измене. Поручаю тебя, князь, Господу Богу.

*Михал Казимеж Радзивилл,  
князь Несвижский и Олецкий,  
кравчий Великого княжества Литовского».*

---

<sup>44</sup> отступить (лат.).

Прочитав письмо, гетман опустил его на колени и со страдальческой улыбкой покачал головой.

«И он меня покидает, родная кровь отрекается от меня за то, что пожелал я дом наш украсить неведомым доселе сиянием! Что поделаешь! Остается Богуслав, он меня не предаст. С нами курфюрст и Carolus Gustavus, а кто не пожелал сеять, тот не будет собирать жатву...»

«Позора!» – шепнула совесть.

– Ясновельможный князь, изволишь дать ответ? – спросил Гарасимович.

– Ответа не будет.

– Я могу уйти и прислать постельничих?

– погоди!.. всюду ли расставлена стража?

– Да.

– Приказы хоругвям разосланы?

– Да.

– Что делает Кмициц?

– Он бился головой об стенку и кричал о позоре. В корчах катался. Хотел бежать вслед за Билевичами, но стража его непустила. За саблю схватился, пришлось связать его. Теперь лежит спокойно.

– Мечник россиенский уехал?

– Не было приказа задержать его.

– Забыл! – сказал князь. – Отвори окна, душно мне, задыхаюсь я. Харлампю вели отправиться в Упиту за хоругвью и тотчас привести ее сюда. Выдай ему денег, пусть уплатит людям первую четверть и позволит им выпить... Скажи ему, что после Володыёвского получит в пожизненное владение Дыдкемы. Душно мне... погоди!

– Слушаюсь, ясновельможный князь.

– Что делает Кмициц?

– Я уже говорил, ясновельможный князь, лежит спокойно.

– Да, да, ты говорил... Вели прислать его сюда. Мне надо поговорить с ним. Вели развязать его.

– Ясновельможный князь, это безумец...

– Не бойся, ступай!

Гарасимович вышел; князь вынул из веницейского столика шкатулку с пистолетами, открыл ее, сел за стол и положил шкатулку так, чтобы она была у него под рукой.

Через четверть часа четверо шотландских драбантов ввели Кмицица. Князь приказал солдатам выйти. Остался с Кмицицем один на один.

Казалось, ни кровинки не осталось в лице молодого рыцаря, так он был бледен; только глаза лихорадочно блестели, но внешне был он спокоен, смирен, а может, погружен в безысходное отчаяние.

Минуто оба молчали. Первым заговорил князь:

– Ты поклялся на распятии, что не покинешь меня!

– Я буду осужден на вечные муки, коли не исполню своего обета, буду осужден, коли исполню! – сказал Кмициц. – Мне все едино!

– Коль я на злое дело тебя подвигну, не ты будешь в ответе.

– Месяц назад грозили мне суд и кара за убийства... нынче, мнится мне, невинен я был тогда, как младенец!

– Прежде, нежели ты выйдешь из этого покоя, тебе будут прощены все твои старые вины, – проговорил князь. Внезапно переменяя разговор, он спросил его мягко и просто: – А как, ты думаешь, должен был я поступить перед лицом двух врагов, стократ сильнейших, от которых я не мог защитить эту страну?

– Погибнуть! – жестко ответил Кмициц.

– Завидую вам, солдатам, которым так легко сбросить тяжкое бремя. Погибнуть! Кто глядел в глаза смерти и не боится ее, для того нет ничего проще. Никому из вас и на ум не придет, никто и помыслить не хочет о том, что, если я разожгу теперь пламя жестокой войны и погибну, не заключив договора, камня на камне не останется от всей этой страны. Избави Бог от такой беды, ибо тогда и на небе душа моя не нашла бы покоя. О, *terque quaterque beati*<sup>45</sup> те, кто может погибнуть! Ужели, мнишь ты, мне не в тягость жизнь, не жажду я вечного сна и покоя? Но надо выпить до дна кубок желчи и горечи. Надо спасти эту несчастную страну и ради спасения ее согнуться под новым бременем. Пусть завистники обвиняют меня в гордыне, пусть говорят, будто я изменяю отчизне, дабы вознестись самому, – Бог свидетель, Бог мне судья, жажду ли я возвышения, не отрекся ли бы я от своего замысла, когда бы все могло решиться иначе. Найдите же вы, отступившиеся от меня, средство спасения, укажите путь, вы, назвавшие меня изменником, и я еще сегодня порву этот документ и заставлю воспрянуть ото сна все хоругви, чтобы двинуть их на врага.

Кмициц молчал.

– Но почему ты молчишь? – возвысил голос Радзивилл. – Я ставлю тебя на мое место, ты великий гетман и воевода виленский, и не погибать, – это дело немудрое, – но спасти отчизну ты должен: отвоевать захваченные воеводства, отомстить за Вильно, обращенное в пепел, защитить Жмудь от нашествия шведов, – нет, не Жмудь, всю Речь Посполитую, изгнать из ее пределов всех врагов!.. Сам-третей кинься на тысячи и не погибай, ибо тебе нельзя погибать, но спасай страну!

– Я не гетман и не воевода виленский, – ответил Кмициц, – не мое это дело. Но коли надо сам-третей кинуться на тысячи, я кинусь!

– Послушай, солдат: коль скоро не твое это дело спасти страну, предоставь это мне и верь мне!

– Не могу! – стиснув зубы, ответил Кмициц.

Радзивилл покачал головой.

– Я не надеялся на тех, я ждал, что так оно и будет, но в тебе я обманулся. Не прерывай меня и слушай... Я поставил тебя на ноги, спас от суда и от кары, как сына пригрел на груди. Знаешь ли ты, почему? Я мнил, у тебя смелая душа, готовая к великим начинаньям. Не таю, я нуждался в таких людях. Не было рядом со мною никого, кто отважился бы смело взглянуть на солнце. Были малодушные и робкие. Таким нечего указывать дорогу, кроме той, по которой они и их отцы привыкли ходить, не то они закаркают, что ты уводишь их на окольные пути. А куда, как не до пропасти дошли мы по старым дорогам? Что случилось с Речью Посполитой, которая некогда могла грозить всему миру? – Князь сжал голову руками и трижды повторил: – Боже! Боже! Боже!

Через минуту он продолжал:

– Пришла година гнева Божия, година таких бедствий и такого упадка, что от обычных средств нам не восстать уже с одра болезни, а когда я хочу прибегнуть к новым, кои единственно могут принести *salutem*<sup>46</sup>, меня покидают даже те, на кого я надеялся, которые должны верить мне, которые поклялись в верности мне на распятии. Кровью и ранами Христа! Ужели мнишь ты, что я навечно предался под покровительство Карла Густава, что я и впрямь помышляю соединить нашу страну со Швецией, что этот договор, за который меня прокричали изменником, будет длиться более года? Что ты глядишь на меня изумленными очами? Ты еще более изумишься, когда выслушаешь все. Ты еще более поразишься, ибо случится нечто такое, о чем никто и не помышляет, чего никто не может допустить, чего разум обыкновенного человека

---

<sup>45</sup> О, трижды и четырежды блаженны (*лат.*).

<sup>46</sup> спасение (*лат.*).

объять не в силах. Но не трепещи, говорю тебе, ибо в этом спасение нашей страны, не оставляй меня, ибо если я никого не найду в помощь себе, то, быть может, погибну, но со мною погибнет вся Речь Посполитая и вы все – навеки! Один я могу ее спасти; но для этого я должен сокрушить и растоптать все препоны. Горе тому, кто воспротивится мне, ибо сам Бог моею десницей сотрет его с лица земли, будет ли то воевода витебский, пан подскарбий Госевский, войско или шляхта, противящаяся мне. Я хочу спасти отчизну, и все пути, все средства для этого хороши. Рим в годину бедствий назначал диктаторов, такая, – нет! еще большая власть нужна мне! Не гордыня влечет меня к ней, – кто чувствует в себе силы, пусть возьмет ее вместо меня! Но коль скоро никого нет, я возьму ее, разве только если эти стены ранее не обрушатся на мою голову!..

При этих словах князь поднял вверх руки, словно и впрямь хотел подпереть рушащийся свод, и было в нем нечто столь величественное, что Кмициц широко раскрыл глаза и смотрел на него так, точно никогда раньше его не видал.

– Ясновельможный князь, к чему ты стремишься? – проговорил он наконец. – Чего ты хочешь?

– Я хочу... короны! – крикнул Радзивилл.

– Господи Иисусе!..

На минуту воцарилось немое молчание, лишь на замковой башне пронзительно захохотал филин.

– Послушай, – сказал князь, – пора открыть тебе все. Речь Посполитая гибнет, и гибель ее неминуема. Нет для нее на земле спасения. Надобно спасти от разгрома наш край, самую близкую нам отчизну, дабы потом все возродить, как возрождается феникс из пепла!.. Я свершу сие и корону, которой я жажду, возложу на главу, как бремя, дабы из великой могилы восстала новая жизнь. Не трепещи! Земля не разверзается, все стоит на месте, только близятся новые времена. Я отдал этот край шведам, дабы их оружием усмирить другого врага, изгнать его из наших пределов, вновь обрести утраченные земли и мечом в собственной его столице вынудить у него договор. Ты слышишь меня? В скалистой, голодной Швеции мало людей, мало сил, мало сабель, дабы захватить необъятную Речь Посполитую. Шведы могут раз, другой разбить наше войско; но удержать нас в повиновении они не смогут. Когда бы к каждому десятку наших людей приставить стражем по одному шведу, и то для многих десятков не достало бы стражей. Карл Густав хорошо это знает и не хочет, не может захватить всю Речь Посполитую. Он займет, самое большее, Королевскую Пруссию, часть Великой Польши – и этим удовлетворится. Но дабы безопасно владеть завоеванными землями, он должен расторгнуть союз между нами и Короной, в противном случае ему не укрепиться в захваченных провинциях. Что же станет тогда с нашим краем? Кому его отдадут? Коль скоро я оттолкну корону, которую Бог и фортуна возлагают на мою голову, его отдадут тому, кто в эту минуту им завладел. Но Карл Густав не хочет это делать, дабы не усилить мощь соседа и не создать себе грозного врага. Так будет только тогда, когда я отвергну корону... Ужели имею я право ее отвергать? Ужели могу я допустить, чтобы случилось то, что грозит нам окончательной гибелью? В десятый, в сотый раз вопрошаю я: где иное средство спасения? Пусть же творится воля Господня! Я беру это бремя на свои плечи. Шведы за меня, курфюрст, наш родич, сулит мне помощь. Я избавлю свой край от войны! С побед и расширения его пределов начнется господство моего дома. Расцветут мир и благоденствие, огонь не будет пожирать города и веси. Так будет, так должно быть. И да поможет мне Бог и крест святой, ибо слышу я в себе силу и мощь, дарованные мне небом, ибо желаю блага стране, ибо не кончатся на том мои замыслы!.. И клянусь сими небесными светилами, сими трепетными звездами, что, если только хватит здоровья и сил, я вновь отстрою все здание и сделаю его более могущественным, нежели оно было доньше.

Огнем горели зеницы князя, и весь он окружен был невиданным сиянием.

– Ясновельможный князь! – воскликнул Кмициц. – Немыслимо объять сие умом, голова кружится, глаза не смеют взглянуть вперед!

– А потом, – точно следуя за течением своих мыслей, продолжал князь, – а потом... Яна Казимира шведы не лишат ни державы, ни власти, они оставят ему Мазовию и Малую Польшу. Бог не дал ему потомства. Придет время выборов... Кого же выберут на трон, коль скоро пожелают сохранить союз с Литвою? В какое время Корона достигла могущества и растоптала мощь крестоносцев? В то время, когда на трон ее воссел Владислав Ягелло. Так будет и теперь!.. Никого другого поляки не могут призвать на трон, кроме как того, кто здесь будет владыкой. Не могут и не сделают этого, ибо сдавят им грудь немцы и турки и нечем им станет дышать, да и червь казачества точит им грудь! Не могут! Слеп тот, кто этого не видит, глуп тот, кто этого не понимает! А тогда обе страны вновь соединятся в державу в доме моем! Вот тогда мы посмотрим, удержат ли скандинавские королишки нынешние свои прусские и великопольские завоевания. Тогда я скажу им: «Quos ego!»<sup>47</sup> – и этой стопой придавлю им тощие ребра и создам такую могущественную державу, какой свет не видывал, о какой не писала история, и, быть может, в Константинополь понесем мы крест, огонь и меч и будем грозить врагам, мир храня в своей державе! Боже всемогущий, ты, что обращаешь в небе светила, дай же мне спасти эту страну во славу твою и всего христианства, дай же мне людей, кои постигли бы умысел мой и пожелали приложить руку свою для ее спасения. Вот что я хотел сказать! – Князь воздел руки и очи поднял горе. – Ты мой свидетель! Ты мне судья!

– Ясновельможный князь! Ясновельможный князь! – воскликнул Кмициц.

– Уходи! Покинь меня! Брось мне под ноги буздыган! Нарушь клятву! Назови изменником! Пусть все тернии до единого будут в терновом венце, возложенном на мою главу! Погубите страну, низвергните ее в бездну, оттолкните руку, которая может спасти ее, и идите на суд Божий! Пусть там нас рассудят!

Кмициц бросился перед Радзивиллом на колени.

– Ясновельможный князь! Я с тобою до гроба! Отец отчизны! Спаситель!

Радзивилл положил ему руку на голову, и вновь наступила минута молчания. Только филин по-прежнему хохотал на башне.

– Ты получишь все, к чему стремился и чего жаждал, – торжественно произнес князь. – Ничего тебя не минует, и больше тебе дастся, нежели отец твой с матерью желали тебе! Встань, будущий великий гетман и воевода виленский!..

На небе заря стала брезжить.

---

<sup>47</sup> «Я вас!» – грозный окрик Нептуна, обращенный к ветрам (лат.). – Вергилий. «Энеида».

## Глава XV

Заглоба был уже изрядно под хмелем, когда трижды бросил гетману в лицо страшное слово: «Изменник!» Только час спустя, когда хмель соскочил с лысой его головы и он с обоими Скшетускими и паном Михалом очутился в кейданском замковом подземелье, старик понял, какой опасности подверг и себя, и своих друзей, и очень встревожился.

– Что же теперь будет? – спрашивал он, глядя ословелыми глазами на маленького рыцаря, на которого особенно полагался в трудную минуту.

– К черту, не хочу жить! Мне все едино! – ответил Володыёвский.

– До таких времен мы доживем, до такого позора, какого свет и Корона отроду не видавали! – сказал Ян Скшетуский.

– Если бы дожили, – воскликнул Заглоба, – могли бы подать добрый пример, доблесть пробудить у других! Да вот доживем ли? В этом-то вся загвоздка!

– Страшное, неслыханное дело! – говорил Станислав Скшетуский. – Где еще бывало такое? Помогите, друзья, ум у меня мутится! Две войны, третья казацкая, и измена вдобавок, как чума: Радзеёвский, Опалинский, Грудзинский, Радзивилл. Светопреставление наступает, Страшный суд! Расступись, земля, под ногами. Право же, я с ума схожу!

И, сжав руками затылок, он, как дикий зверь в клетке, заметался по подземелью.

– Помолимся Богу! – сказал он наконец. – Господи, помилуй нас, грешных!

– Успокойся, пан Станислав! – обратился к нему Заглоба. – Не время приходить в отчаяние!

Станислав пришел вдруг в ярость.

– Чтоб тебя Бог убил! – стиснув зубы, крикнул он Заглобе. – Это ты придумал ехать к этому изменнику! Чтобы вас обоих Бог покарал!

– Опомнись, Станислав! – сурово произнес Ян. – Никто не мог предвидеть, что станется. Терпи, не ты один терпишь, и знай, наше место здесь и только здесь... Господи, помилуй не нас, но несчастную нашу отчизну!

Станислав ничего не ответил, только руки ломал, так что трещали суставы.

Все умолкли. Один только пан Михал отчаянно насвистывал сквозь зубы и, казалось, оставался равнодушным ко всему, что творится вокруг, хотя, в сущности, страдал вдвойне: и оттого, что отчизна в горе, и оттого, что сам он оказал неповиновение гетману. Он был солдат до мозга костей, и для него это было страшным делом. Тысячу раз предпочел бы он умереть.

– Не свисти, пан Михал! – попросил Заглоба.

– Мне все едино!

– Как так? Неужели никто из вас не хочет подумать о том, как бы нам спастись? Право же, стоит поломать над этим голову! Неужто гнить в этом подземелье, когда отчизне дорога каждая рука? Когда один честный должен противостоять десяти изменникам?

– Отец прав! – сказал Ян Скшетуский.

– Один только ты не потерял от муки рассудка. Как ты думаешь, что этот изменник решил сделать с нами? Не казнит же он нас, в самом деле?

Володыёвский разразился вдруг отчаянным смехом.

– Отчего же ему не казнить нас, хотел бы я знать? Разве мы ему не подсудны? Разве не у него меч в руках? Вы что, не знаете Радзивилла?

– Что ты там толкуешь? По какому такому праву казнить?

– Меня – по праву гетмана, вас – по праву насильника!

– Но ему пришлось бы ответить за это...

– Перед кем? Перед шведским королем?

– Утешил, нечего сказать!



– А я и не думаю тебя утешать.

Они умолкли, и некоторое время слышались только мерные шаги шотландских пехотинцев за дверью подземелья.

– Ничего не поделаешь! – сказал Заглоба. – Придется пойти на хитрость.

Никто ему не ответил.

– Просто не верится, что нас могут казнить, – снова заговорил через некоторое время Заглоба. – Чтоб за каждое сказанное во хмелю неосторожное слово рубить голову с плеч, да тогда в Речи Посполитой ни один шляхтич не ходил бы с головой па плечах! А *neminem captivabimus*?<sup>48</sup> Это что, пустое дело?

– Вот тебе пример – мы с тобой! – сказал Станислав Скшетуский.

– Это все по неосторожности; но я твердо верю, что князь одумается. Мы люди чужие, и ему никак не подсудны. Должен же он посчитаться с судом общества, нельзя же начинать с насилий, – так и шляхту можно вооружить против себя. Ей-ей, нас слишком много, чтобы всем срубить головы. Офицеры ему подсудны, этого я отрицать не стану; думаю только, что он поопасается войска, которое наверняка поспешит заступиться за своих полковников. А где твоя хоругвь, пан Михал?

– В Упите.

– Ты мне только скажи: ты уверен, что твои люди не предадут тебя?

– Откуда мне знать? Они меня как будто любят, но ведь знают, что гетман надо мною.

Заглоба на минуту задумался.

– Дай-ка мне приказ для них, чтобы они мне во всем повиновались, как тебе, когда я явлюсь к ним.

– Тебе, видно, мнится, что ты уже на свободе!

– Приказ не помешает. Случалось попадать нам в переделки похуже этой, и ничего, с Божьей помощью мы выходили целы и невредимы. Дай приказ мне и обоим панам Скшетуским. Кто первый вырвется на свободу, тотчас отправится за хоругвью и приведет ее, чтобы спасти остальных.

– Ну что ты болтаешь! Пустые это разговоры! Кто отсюда вырвется! Да и на чем напишу я этот приказ? Что, у тебя бумага есть, перья, чернила? Совсем ты разум теряешь.

– Плохо дело! – сказал Заглоба. – Ну дай мне тогда хоть свой перстень!

– Бери, пожалуйста, и оставь меня в покое! – ответил пан Михал.

Заглоба взял перстень, надел его на мизинец и стал расхаживать в задумчивости по подземелью.

Тем временем чадный светильник погас, и узники остались в полной темноте; только сквозь решетку прорезанного высоко окна видны были две звезды, мерцавшие в ясном небе. Заглоба не спускал глаз с этой решетки.

– Будь Подбипятка жив и сиди он с нами здесь, в подземелье, – пробормотал старик, – он бы вырвал решетку, и через час мы были бы уже за Кейданами.

– А ты посадишь меня к окну? – спросил вдруг Ян Скшетуский.

Заглоба и Станислав Скшетуский встали под окном, и через минуту Ян взобрался им на плечи.

– Трещит! Клянусь Богом, трещит! – крикнул Заглоба.

– Ну что ты, отец, говоришь! – остановил его Ян. – Я еще и не рванул решетку.

– Влезайте вдвоем с братом, я вас как-нибудь выдержу. Не раз завидовал я пану Михалу, что такой он ловкий, а теперь вот думаю, что, будь он еще ловчей, проскользнул бы, как *serpens*.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> никого не заключим под стражу (*лат.*).

<sup>49</sup> змея (*лат.*).

Но Ян соскочил с плеч.

– С той стороны стоят шотландцы! – сказал он.

– А чтоб они в соляные столпы обратились, как жена Лота. Темно здесь, хоть глаз выколи. Скоро начнет светать. Думаю, что *alimenta*<sup>50</sup> нам принесут, ибо даже лютеране не морят узников голодом. А может, Бог даст, гетман одумается. По ночам у людей часто просыпается совесть, да и черти смущают грешников. Неужели в это подземелье только один вход? Днем поглядим. Голова у меня что-то тяжелая, ничего не могу придумать, завтра Бог на ум наставит, а сейчас давайте помолимся, друзья, и поручим себя в этой еретической темнице Пресвятой Деве Марии.

Через минуту узники стали читать молитвы на сон грядущий, помолились и Пресвятой Деве, после чего оба Скушетуские и Володыёвский умолкли, подавленные бедой, а Заглоба все ворчал про себя.

– Завтра, как пить дать, скажут нам: *aut, aut!*<sup>51</sup> – переходите на сторону Радзивилла, и он все вам простит, мало того, пожалует наградами! Да? Ну что ж! Перехожу на сторону Радзивилла! А там мы еще посмотрим, кто кого обманет. Так вы шляхту в темницу сажаете, невзирая ни на годы, ни на заслуги? Ну, что ж! Поделом вору и мука! Дурак будет внизу, умник наверху! Я вам поклянусь, в чем хотите, но того, что исполню, вам не хватит и на то, чтобы дырку заплатать. Коль скоро вы нарушаете присягу отчизне, честен тот, кто нарушит клятву, данную вам. Одно скажу, погибель приходит для Речи Посполитой, коль самые высшие ее правители объединяются с врагом. Не бывало еще такого на свете, и верно, что *mentem*<sup>52</sup> можно потерять. Да есть ли муки в аду, которые были бы достаточны для таких изменников? Чего не хватало такому Радзивиллу? Мало, что ли, почестей воздала ему отчизна, что он предал ее, как Иуда, да еще в годину тягчайших бедствий, в годину трех войн? Справедлив, справедлив гнев твой, Господи, пошли только кару поскорее! Да будет так, аминь! Только бы выбраться отсюда поскорее на волю, я тебе, пан гетман, наготовлю приверженцев! Узнаешь ты, каковы *fructa*<sup>53</sup> измены. Ты меня еще будешь за друга почитать, но коль нет у тебя лучше друзей, не охотся никогда на медведя, разве только если тебе шкура недорога!..

Так рассуждал сам с собою Заглоба. Тем временем минул час, другой, и стало светать. Серые отсветы, проникая сквозь решетку, медленно рассеивали тьму, царившую в подземелье, и в сумраке обозначились унылые фигуры рыцарей, сидевших у стен. Володыёвский и оба Скушетуские дремали от усталости; но когда рассвело, с замкового двора донеслись отголоски шагов солдат, бряцанье оружия, топот копыт и звуки труб у ворот, и рыцари повскакали с мест.

– Не очень удачно начинается для нас день! – заметил Ян.

– Дай-то Бог, чтобы кончился удачей, – ответил Заглоба. – Знаете, друзья, что я ночью надумал? Нас, наверно, вот чем угостят: скажут нам: мы, дескать, готовы вам живот даровать, а вы соглашайтесь служить Радзивиллу и помогать ему в его предательском деле. Так нам надо будет согласиться, чтобы воспользоваться свободой и выступить на защиту отчизны.

– Подписать документ о своем вероломстве? Да упаси меня Бог! – решительно возразил Ян. – Пусть даже я потом отрекнусь от предателя, все равно мое имя, к стыду детей, останется среди изменников. Я этого не сделаю, лучше смерть.

– Я тоже! – сказал Станислав.

– А я заранее вас предупреждаю, что сделаю это. На хитрость отвечу хитростью, а там что Бог даст. Никто не подумает, что я сделал это по доброй воле, от чистого сердца. Черт бы побрал эту змею Радзивилла! Мы еще посмотрим, чей будет верх.

---

<sup>50</sup> пишу (*лат.*).

<sup>51</sup> или, или! (*лат.*)

<sup>52</sup> рассудок (*лат.*).

<sup>53</sup> плоды (*лат.*).

Дальнейший разговор прервали крики, долетевшие со двора. В них слышались гнев, угроза и возмущение. В то же время доносились звуки команды, гулкие шаги целых толп и тяжелый грохот откатываемых орудий.

– Что там творится? – спрашивал Заглоба. – А ну, если это пришли нам на помощь?

– Да, это необычный шум, – ответил Володыёвский. – Нуте, подсадите меня к окну, я скорее вас разгляжу, в чем там дело...

Ян Скшетуский подхватил маленького рыцаря за бока и, как ребенка, поднял вверх; пан Михал схватился за решетку и стал пристально глядеть во двор.

– Что-то есть, что-то есть! – с живостью сказал он вдруг. – Я вижу пехоту, это венгерская надворная хоругвь, над которой начальствовал Оскерко. Солдаты его очень любили, а он тоже под арестом; наверно, они хотят узнать, где он. Клянусь Богом, стоят в боевом строю. С ними поручик Стахович, он друг Оскерко.

В эту минуту крики усилились.

– К ним подъехал Ганхоф... Он что-то говорит Стаховичу... Какой крик! Вижу, Стахович с двумя офицерами отходит от хоругви. Наверно, идут к гетману. Клянусь Богом, в войске ширится бунт. Против венгров выставлены пушки и в боевых порядках стоит шотландский полк. Товарищи из польских хоругвей собираются на стороне венгров. Без них у солдат не хватило бы смелости, в пехоте дисциплина железная...

– Господи! – воскликнул Заглоба. – В этом наше спасение! Пан Михал, а много ли польских хоругвей? Уж эти коли взбунтуются, так взбунтуются.

– Гусарская Станкевича и панцирная Мирского стоят в двух днях пути от Кейдан, – ответил Володыёвский. – Будь они здесь, полковников не посмели бы арестовать. Погодите, какие же еще? Драгуны Харлампа, один полк, Мелешко – второй; те на стороне князя. Невяровский тоже объявил, что он на стороне князя, но его полк далеко. Два шотландских полка...

– Стало быть, на стороне князя четыре полка.

– И два полка артиллерии под начальством Корфа.

– Ох, что-то много!

– И хоругвь Кмицица, отлично вооруженная, шесть сотен.

– А Кмициц на чьей стороне?

– Не знаю.

– Вы его не видали? Бросил он вчера булаву или нет?

– Не знаем.

– Кто же тогда против князя? Какие хоругви?

– Первое дело, венгры. Их две сотни. Затем порядочно наберется хорунжих у Мирского и Станкевича. Немного шляхты... И Кмициц, но он ненадежен.

– А чтоб его! Господи Боже мой! Мало! Мало!

– Эти венгры двух полков стоят. Старые солдаты, испытанные. Погодите... У пушек зажигают фитили, похоже, будет бой...

Скшетуские молчали, Заглоба метался, как сумасшедший.

– Бей изменников! Бей, собачьих детей! Эх, Кмициц! Кмициц! Все от него зависит. А он храбрый солдат?

– Сущий дьявол, на все готов.

– На нашей он стороне, как пить дать, на нашей.

– Мятеж в войске! Вот до чего довел гетман! – вскричал Володыёвский.

– Кто здесь мятежник: войско или гетман, который поднял мятеж против своего владыки? – спросил Заглоба.

– Бог их рассудит. Погодите. Опять поднялось движение. Часть драгун Харлампа переходит к венграм. Самая лучшая шляхта служит в этом полку. Слышите, как кричат?

– Полковников! Полковников! – доносились со двора грозные голоса.

– Пан Михал, крикни ты им, ради Бога, чтоб они послали за твоей хоругвью да за панцирными и гусарскими хорунжими.

– Тише!

Заглоба сам начал кричать:

– Да пошлите вы за остальными польскими хоругвями и – в прах изменников!

– Тише!

Внезапно не во дворе, а позади замка раздались короткие залпы мушкетов.

– Господи Иисусе! – крикнул Володыёвский.

– Что там, пан Михал?

– Это, наверное, расстреляли Стаховича и двоих офицеров, которые пошли к гетману, – лихорадочно говорил Володыёвский. – Ясное дело, их.

– Страсти Господни! Тогда нечего надеяться на снисхождение.

Гром выстрелов заглушил дальнейший разговор. Пан Михал судорожно ухватился за решетку и прижался к ней лбом, но с минуту времени ничего не мог разглядеть, кроме ног шотландских пехотинцев, которые выстроились под самым окном. Залпы мушкетов стали все чаще, наконец заговорили и пушки. Сухой треск пуль об стену над подземельем слышался явственно, как стук градин. От залпов сотрясаясь весь замок.

– Михал, прыгай вниз, погибнешь там!

– Ни за что. Пули идут выше, а из пушек стреляют в противоположную сторону. Ни за что не спрыгну.

И Володыёвский, еще крепче ухватившись за решетку, взобрался на подоконник, так что теперь ему не нужно было опираться на плечи Скшетуского. В подземелье стало совсем темно, так как окошко было маленькое и даже щуплый пан Михал совсем заслони́л свет, зато друзья его, оставшиеся внизу, каждую минуту получали свежие вести с поля боя.

– Теперь вижу! – крикнул пан Михал. – Венгры уперлись в стену, стреляют оттуда... Ну и боялся же я, как бы они не забили в угол, – их бы там пушки вмиг уничтожили. Клянусь Богом, хороши солдаты! Без офицеров знают, что делать. Опять дым! Ничего не вижу...

Залпы начали стихать.

– Боже милостивый! Покарай же их поскорее! – кричал Заглоба.

– Ну, что там, Михал? – спрашивал Скшетуский.

– Шотландцы идут в атаку.

– Ах, черт бы их побрал, а нам приходится здесь сидеть! – крикнул Станислав.

– Вот они! Алебардники! Венгры взяли за сабли, рубят! Боже мой, какая жалость, что вы не можете видеть! Какие солдаты!

– И дерутся друг с другом, вместо того чтобы идти на врага.

– Венгры берут верх! Шотландцы с левого фланга отступают. Боже, на сторону венгров переходят драгуны Мелешко! Шотландцы между двух огней. Корф не может стрелять из пушек, чтобы не ударить по шотландцам. Я вижу среди венгров и мундиры хоругви Ганхофа. Венгры пошли в атаку на ворота. Хотят вырваться из замка. Идут как буря! Все крушат!

– Постой, как же так? Лучше бы они замок захватили! – крикнул Заглоба.

– Пустое! Завтра они вернутся с хоругвями Мирского и Станкевича. О! Харламп погиб! Нет! Встает, ранен... Они уже у самых ворот... Но что это? Неужели и шотландская стража переходит на сторону венгров, она отворяет ворота... Пыль клубится по ту сторону ворот. Я вижу Кмицица! Кмициц! Кмициц с конницей валит через ворота!

– На чьей он стороне? На чьей стороне? – кричал Заглоба. Одну минуту, одну короткую минуту пан Михал молчал; шум, лязг оружия и крики раздались в это время с удвоенной силой.

– С ними все кончено! – пронзительно крикнул пан Михал.

– С кем? С кем?

– С венграми! Конница разбила их, топчет, сечет! Знамя в руках Кмицица! Конец, конец!

С этими словами пан Михал соскользнул с подоконника и упал в объятия Яна Скшетуского.

– Бейте меня, бейте! – кричал он. – Это я мог зарубить этого человека и выпустил его живым из рук, я отвез ему грамоту на набор войска! По моей вине он собрал эту хоругвь, с которой теперь будет сражаться против отчизны. Он знал, кого собирает под свое знамя, – собачьих детей, висельников, разбойников, палачей, таких же, как он сам. Если бы мне еще раз встретить его с саблей в руках! Боже, продли мою жизнь, на погибель этому изменнику, клянусь тебе, что теперь он не уйдет живым из моих рук...

Крики, конский топот и залпы все еще звучали с прежнею силой; однако постепенно они начали замирать, и через час тишина воцарилась в кейданском замке, которую нарушали только мерные шаги шотландского патруля и отголоски команды.

– Пан Михал, посмотри еще разок, что там творится, – умолял Заглоба.

– К чему? – отвечал маленький рыцарь. – Человек военный и без того догадается, что там случилось. Да и видел я, как их разбили. Кмищиц празднует тут победу!

– Чтоб его к конским хвостам привязали и размыкали по полю, смутьяна этого, дьявола! Чтоб ему гарем сторожить у татар!

## Глава XVI

Пан Михал был прав: Кмициц праздновал победу! Венгры и часть драгун Мелешко и Харлампа, которая присоединилась к ним, были разбиты, и трупами их был усеян весь кейданский двор. Лишь несколькими десяткам удалось ускользнуть; они рассеялись по окрестностям замка и города, где их преследовала конница. Многие были пойманы, другие бежали, верно, до тех пор, пока не достигли стана Павла Сапеги, витебского воеводы, которому первыми принесли весть об измене великого гетмана и его переходе на сторону шведов, об аресте полковников и сопротивлении, оказанном польскими хоругвями.

Тем временем Кмициц, весь в крови и пыли, явился с венгерским знаменем в руках к Радзивиллу, который принял его с распростертыми объятиями. Но пан Анджей не был упоен победой. Напротив, он был мрачен и зол, точно поступил против совести.

– Ясновельможный князь, – сказал он, – я не хочу слушать похвалы и тысячу раз предпочел бы сражаться с врагами родины, нежели с солдатами, которые могли бы ей послужить. Так, будто собственную кровь я пролил.

– А кто же во всем повинен, как не эти мятежники? – возразил князь. – И я бы предпочел повести их на Вильно, и хотел это сделать... Но они предпочли восстать против власти. Не того хотелось, да так случилось. А карать надо было и надо будет для примера.

– Ясновельможный князь, что ты думаешь делать с пленниками?

– Каждому десятому пуля в лоб. Остальных влить в другие полки. Ты сегодня поедешь к хоругвям Мирского и Станкевича, отвезешь им мой приказ быть готовыми к походу. Принимай начальство над этими двумя хоругвями и хоругвью Володыёвского. Офицеры будут у тебя в подчинении и должны исполнять твои приказы. Я в хоругвь Володыёвского хотел сперва послать Харлампа, да он никуда не годится. Раздумал я.

– А если люди станут противиться? Ведь у Володыёвского лауданцы, которые ненавидят меня лютой ненавистью.

– Ты объявишь им, что Мирский, Станкевич и Володыёвский будут тотчас расстреляны.

– Они могут тогда пойти с оружием на Кейданы, чтобы отбить своих полковников.

– Возьмешь с собой полк шотландской и полк немецкой пехоты. Сперва окружишь хоругви, а потом объявишь приказ.

– Слушаюсь, ясновельможный князь!

Радзивилл оперся руками на колени и задумался.

– Я бы с радостью расстрелял Мирского и Станкевича, да они не только у себя в хоругвях и в войске, но и во всей стране пользуются почетом. Опасаюсь шума и открытого мятежа, пример чему перед нами. По счастью, мятежники благодаря тебе получили хороший урок, и впредь каждая хоругвь семь раз подумает, прежде чем отважится выступить против нас. Надо только действовать решительно, дабы упорствующие не перешли на сторону витебского воеводы.

– Ясновельможный князь, ты говорил только о Мирском и Станкевиче и забыл о Володыёвском и Оскерко.

– Оскерко мне тоже придется пощадить, он человек знатный и с большими родственными связями, ну а Володыёвский – тот родом с Руси, и родни у него здесь нет. Правда, он храбрый солдат! На него я тоже надеялся. Тем хуже для него, что я в нем обманулся. Нелегкая принесла сюда этих чужаков, его друзей, он бы, может, и не поступил так; но после всего, что случилось, ждет его пуля в лоб, так же как и обоих Скшетуских и этого третьего быка, который первым заревел: «Изменник! Изменник!»

Пан Анджей вскочил как ужаленный.

– Ясновельможный князь! Солдаты говорят, что Володыёвский под Цибиховом спас тебе жизнь.

– Он исполнил свой долг, и за это я хотел отдать ему в пожизненное владение Дыдкемы. Теперь он изменил мне, и за это я прикажу его расстрелять.

Глаза Кмицица сверкнули гневом, ноздри раздулись.

– Ясновельможный князь, этому не бывать!

– Как так не бывать! – нахмурился Радзивилл.

– Ясновельможный князь, – с жаром продолжал Кмициц, – молю тебя, пощади Володыёвского, волос не должен упасть с его головы. Прости меня, князь, но я молю тебя! Володыёвский мог не отдать мне грамоту на набор войска, ведь ты ему ее прислал, ему предоставил решить дело. А он отдал мне ее! Спас меня из пучины... Я потому и стал тебе подсуден. Он не задумался спасти меня, хотя тоже добивался руки панны Биллевич! Я в долгу перед ним и дал себе клятву отблагодарить его! Ясновельможный князь, ты сделаешь это для меня. Ни его, ни его друзей не должна настигнуть кара. Волос не должен упасть у них с головы и, клянусь Богом, не упадет, покуда я жив! Молю тебя, ясновельможный князь!

Пан Анджей просил и руки молитвенно складывал, но в голосе его невольно звучали гнев, угроза и возмущение. Неукротимая натура брала верх. Он стоял над Радзивиллом, похожий на рассерженную хищную птицу, и сверкал взорами. Лицо гетмана тоже исказилось от гнева. До сих пор перед его железною волей и деспотизмом трепетало все в Литве и на Руси, никто никогда не смел ему противиться, никто не смел просить о милосердии для осужденных, а теперь Кмициц просил только для виду, а на деле требовал. И положение было такое, что немислимо было отказать ему.

Едва став на путь измены, деспот почувствовал, что ему не однажды придется подчиняться людям и обстоятельствам, что он будет зависеть от собственных клеветов, еще менее значительных, что Кмициц, которого он хотел обратить в верного пса, будет скорее ручным волком, который, если его раздражить, готов схватить зубами руку господина.

От всего этого вскипела гордая радзивилловская кровь. Он решил не поддаваться, ибо прирожденная мстительность тоже толкала его на сопротивление.

– Володыёвский и те трое будут казнены! – сказал он, возвысив голос.

Но этим он только подлил масла в огонь.

– Не разбей я венгров, не они были бы казнены! – крикнул Кмициц.

– Как? Ты уже попрекаешь меня своею службой? – грозно спросил Радзивилл.

– Ясновельможный князь! – порывисто сказал Кмициц. – Я не попрекаю... Я прошу тебя, молю!.. Немислимое это дело! Эти люди славны во всей Польше! Не бывать этому! Не бывать! Я для Володыёвского не буду иудой! Я на все для тебя готов, но не отказывай мне в этой милости.

– А если я откажу?

– Тогда вели расстрелять меня! Я не хочу жить! Пусть меня гром убьет! Пусть черти живьем в пекло унесут!

– Опомнись, несчастный, кому ты это говоришь?

– Ясновельможный князь, не доводи меня до крайности!

– Просьбам я мог бы внять, на угрозы я не посмотрю.

– Я прошу... молю!.. – Пан Анджей бросился на колени. – Ясновельможный князь, дозволь служить тебе не по принуждению, а по зову сердца, не то я с ума сойду!

Радзивилл ничего не ответил. Кмициц стоял на коленях, он менялся в лице, то бледнел, то краснел. Видно было, что еще минута, и он совершит нечто страшное.

– Встань! – сказал Радзивилл.

Пан Анджей встал.

– Ты умеешь защищать друзей! – произнес князь. – Вот доказательство, что и меня ты сумеешь защитить и никогда мне не изменишь. Но не из плоти сотворил тебя Господь, а из пороха, смотри же, как бы тебе не сгореть. Ни в чем не могу я тебе отказать. Слушай же: Станкевича, Мирского и Оскерко я хочу отослать в Биржи к шведам, пусть едут с ними и оба Скшетуские с Володыёвским. Голов им там не отрубят, а что во время войны они посидят смирно, так оно и лучше.

– Спасибо тебе, ясновельможный князь, отец мой! – воскликнул пан Анджей.

– погоди! – остановил его князь. – Уважил я клятву, которую ты себе дал, уважь же теперь и ты мою... Этого старого шляхтича... забыл, как звать его... этого дьявола рыкающего, который приехал со Скшетускими, я в душе обрек смерти. Он первый назвал меня изменником, он меня заподозрил в продажности, он наущал других, и, может, дело не дошло бы до мятежа, когда бы не его дерзость! – Князь ударил тут кулаком по столу. – Чтобы мне, Радзивиллу, крикнуть в глаза: «Изменник!» В глаза, при всем народе! Да я скорее смерти мог ждать, светопреставления! Нет такой смерти, нет таких мук, которых достоин был бы этот злодей. Не проси меня за него, все будет напрасно.

Но пана Анджее не легко было сломить, если уж он решил чего-нибудь добиться. Однако на этот раз он не сердился и не вспыхивал гневом. Напротив, он снова схватил руку гетмана и стал осыпать ее поцелуями и просить с таким умилением, на какое только был способен:

– Никакой цепью, никакой веревкой ты бы меня не привязал так к себе, как этою милостью. Но не делай дела наполовину, сделай для меня все. Ясновельможный князь, все вчера думали так, как говорил этот шляхтич. Я и сам так думал, пока ты не открыл мне глаза. Да сгори я в огне, коли так не думал. Человек неповинен в том, что он глуп. К тому же этот шляхтич был пьян, и что было у него на уме, об том он и кричал. Он думал, что выступает в защиту отчизны, а за любовь к отчизне негоже карать человека. Он знал, что ему грозит смерть, и все-таки кричал то, что было у него на уме. Мне до него дела нет, но пану Володыёвскому он все равно что брат или отец родной. Страх как горевал бы он об этом шляхтиче, а я этого не хочу. Такая уж у меня натура, что, коль желаю кому добра, душу бы за него отдал. Да если бы кто-нибудь меня пощадил, а друга моего убил, черт бы его побрал с такой милостью. Отец мой, благодетель, милостивец, сделай же все, о чем я молю тебя, отдай мне этого шляхтича, а я хоть завтра, – нет, сегодня, сейчас, – отдам за тебя всю свою кровь!

Радзивилл закусил усы.

– Я вчера в душе обрек его смерти.

– Что решил гетман и воевода виленский, то великий князь литовский и в будущем, дай Бог, король польский может как милостивый монарх отменить...

Пан Анджей говорил от души то, что чувствовал и думал, но если бы он был самым лукавым царедворцем, то и тогда не нашел бы более сильного довода в защиту своих друзей. Надменное лицо магната прояснилось, он даже глаза прикрыл, словно упиваясь самими звуками титулов, которыми еще не обладал.

– Так ты упрашиваешь, – ответил он через минуту, – что ни в чем не могу я тебе отказать. Все поедут в Биржи. Пусть каются у шведов за свои провинности, а потом, коль станется то, о чем ты говорил, проси для них новой милости.

– Ей-ей, попрошу, и дай-то Бог, чтобы поскорее! – ответил Кмициц.

– Ступай же теперь, принеси им добрую весть.

– Для меня, не для них она добрая, они за нее, наверно, спасибо не скажут, к тому же не знают они, что им грозило. Не пойду я к ним, а то они подумают, будто я похваляюсь тем, что за них заступился.

– Поступай как знаешь. Но коли так, не теряя тогда времени и отправляйся за хоругвями Мирского и Станкевича, ибо ждет тебя после этого новая поездка, от которой ты, наверно, не станешь отказываться.



– Какая, ясновельможный князь?

– Поедешь от меня к мечнику россиенскому Биллевичу и позовешь его вместе с родичкой ко мне в Кейданы пережить военное время. Понял?

Кмищиц смешался.

– Не захочет он приехать. В сильном гневе покинул он Кейданы.

– Думаю, гнев его уже остыл; но коли не захотят они по доброй воле приехать, усадишь их в коляску, окружишь драгунами и привезешь. Шляхтич как воск был мягок, когда я беседовал с ним, краснел, как девица, и кланялся земно, однако ж и он испугался власти шведов, как черт кропила, и уехал. Мне он и самому здесь нужен, да и ради тебя. Я еще надеюсь вылепить из этого воска свечу, какую пожелаю, и зажечь ее, кому захочу. Хорошо, коль удастся. А нет, так будет у меня заложником. Сильны Биллевичи в Жмуди, в родстве чуть не со всей тамошней шляхтой. Коль один, к тому же самый старый, будет у меня в руках, прочие семь раз подумают, прежде чем пойти против меня. А ведь за ними и за твоей девушкой стоит весь лауданский муравейник, и явись они к витебскому воеводе в стан, он их встретит с распростертыми объятиями. Очень это важное дело, такое важное, что я уже думаю, не с Биллевичей ли начать.

– В хоругви Володыёвского одни лауданцы.

– Опекуны твоей девушки. Коли так, начни с того, что доставь ее сюда. Только слушай: мечника я берусь обратить в нашу веру, а уж девкой ты сам займись. Обращу мечника, он тебе с девкой поможет. Согласится она, мешкать со свадьбой не станем, тотчас сыграем. А не согласится – бери ее так. Окрутим, и дело с концом. С бабами это самое лучшее средство. Поплачет, поубивается, когда потащат к алтарю, на другой день подумает, что не так страшен черт, как его малюют, а на третий и вовсе будет рада. Как ты вчера с нею расстался?

– Так, будто оплеуху она мне дала!

– Что ж она сказала тебе?

– Изменником меня назвала. Чуть удар меня не хватил.

– Такая отчаянная? Станешь мужем – скажи, что не бабьего ума это дело, баба знай свое веретено. Да смотри, держи ее в узде.

– Ясновельможный князь, ты ее не знаешь, одна у нее мера: добро или зло, – по этой мере она и судит, а уму ее не один муж мог бы позавидовать. Оглянуться не успеешь, а она уже в самую точку попала.

– Ну а ты в ее сети попал. Постарайся же и ты ее поймать.

– Если б то Бог дал, ясновельможный князь! Однажды я попробовал взять ее с оружием в руках, да закаялся, зарок дал себе больше этого не делать. И то, что ты говоришь мне, чтобы против воли к венцу ее вести, – нет, не по душе мне это, я ведь и себе и ей дал зарок силой больше не брать ее. Одна надежда: уверишь ты пана мечника, что мы не только не изменники, но хотим спасти отчизну. Когда он в этом убедится, то и ее убедит, а тогда она и на меня иначе посмотрит. Сейчас я поеду к Биллевичам и привезу их сюда обоих, а то страшно мне, как бы она в монастырь не ушла. Но только скажу тебе, как на духу, большое счастье для меня видеть эту девушку, но легче было бы мне броситься на все шведские полчища, нежели явиться сейчас перед ней, – ведь не знает она добрых моих намерений и почитает меня за изменника.

– Коли хочешь, я могу за ними кого-нибудь другого послать, Харлампа или Мелешко.

– Нет! Лучше уж я сам поеду... Да и Харламп ранен.

– Вот и отлично, Харлампа я хотел послать вчера за хоругвью Володыёвского, чтобы он принял над нею начальство, а в случае нужды и к повиновению принудил, да неумелый он человек, даже собственных людей не мог удержать. Ни к чему мне такие. Так поезжай сперва за мечником и девушкой, а потом уж к хоругвям. В крайности крови не жалеи, ибо нам надо показать шведам, что у нас сила и мы не испугаемся мятежа. Полковников я сейчас же отправлю под стражей; надеюсь, Понтус де ла Гарди почтет это за доказательство моей искренности.

Мелешко их проводит. Тяжело все идет на первых порах! Тяжело! Я уж вижу, что половина Литвы встанет против меня.

– Все это пустое, ясновельможный князь! У кого совесть чиста, тот никого не испугается.

– Я надеялся, что хоть Радзивиллы все примут мою сторону, а ты вот погляди, что пишет мне князь кравчий из Несвижа.

Гетман протянул Кмицицу письмо от Казимежа Михала.

Кмициц пробежал письмо глазами.

– Кабы не знал я твоих намерений, подумал бы, что это честнейший человек на свете. Дай Бог ему добра! Я говорю то, что думаю.

– Поезжай уж! – с легким нетерпением сказал князь.

## Глава XVII

Однако Кмициц не уехал ни в тот день, ни на следующий, так как в Кейданы стали отовсюду приходить грозные вести. Под вечер прискакал гонец с донесением, что хоругви Мирского и Станкевича сами направляются к гетманской резиденции, готовые с оружием в руках вступить за своих полковников, что возмущение в их рядах страшное и что хорунжие послали депутации ко всем другим хоругвям, стоящим неподалеку от Кейдан и даже на Подлясье, в Заблудове, с сообщением об измене гетмана и призывом объединиться для защиты отчизны. Легко было предугадать, что к мятежным хоругвям слетится множество шляхты и они создадут большую силу, против которой трудно будет обороняться в неукрепленных Кейданах, тем более что не на все полки, находившиеся в распоряжении князя Радзивилла, можно было положиться.

Это опрокинуло все расчеты и все замыслы гетмана, но вместо того, чтобы ослабить его дух, казалось, еще больше его воодушевило. Он принял решение лично встать во главе верных шотландских полков, конницы и артиллерии, двинуться навстречу мятежникам и погасить пламя в зародыше. Он знал, что хоругви без полковников – это просто нестройные толпы, которые рассеются перед одним грозным именем гетмана.

Князь принял также решение крови не жалеть и утратить примером не только все войско и всю шляхту, но и всю Литву, чтобы дрогнуть она не смела под железной его пятою. Надо было выполнить все, что замыслил он, и выполнить своими собственными силами.

В тот же день несколько иноземных офицеров выехали в Пруссию для набора новых войск, а Кейданы закипели толпами вооруженных людей. Шотландские полки, иноземные рейтары, драгуны Мелешко и Харлампа и пушкари Корфа готовились к походу. Княжеские гайдуки, челядь, мещане из Кейдан должны были укрепить силы князя, и, наконец, было принято решение ускорить отправку арестованных полковников в Биржи, где держать их было безопасней, нежели в неукрепленных Кейданах. Князь справедливо полагал, что отправка в эту удаленную крепость, где по договору должен был уже стоять шведский гарнизон, разрушит надежды мятежных солдат на освобождение полковников и лишит мятеж всякого смысла.

Заглоба, Скшетуские и Володыёвский должны были разделить участь остальных полковников.

Уже спустился вечер, когда в подземелье, в котором они сидели, вошел офицер с фонарем в руке и сказал:

- Прошу собираться и следовать за мной.
- Куда? – с тревогой в голосе спросил Заглоба.
- Там видно будет. Скорей! Скорей!
- Идем, идем.

Рыцари вышли. В коридоре их окружили шотландские солдаты, вооруженные мушкетерами. Заглоба совсем растрогался.

– Ведь не повели бы они нас на смерть без ксендза, без исповеди? – шепнул он на ухо Володыёвскому.

Затем старик обратился к офицеру:

- Как звать тебя, пан?
- А тебе, пан, зачем мое имя?
- У меня много родных в Литве, да и приятно было бы знать, с кем имеешь дело.
- Не время представляться, глуп, однако же, тот, кто стыдится своей фамилии. Рох Ковальский, коли хочешь знать.

– Достойное семейство! Мужики – добрые солдаты, женщины – добродетельны. Моя бабушка была Ковальская, но оставила меня сиротой, когда я еще на свет не появился. А ты, пан, из Верушей или из Кораблей Ковальских?

– Что это ты, пан, среди ночи мне допрос учиняешь?

– А потому, что мы с тобою, наверно, сродни, ведь вот и вся статья у тебя моя. В костях широк, да и плечи точь-в-точь мои, а я в бабушку уродился.

– Ладно, в дороге поговорим. Времени будет достаточно!

– В дороге? – спросил Заглоба.

Тяжелое бремя свалилось у него с плеч. Отдуваясь, как мех, он тотчас расхрабрился.

– Пан Михал, – шепнул он Володыёвскому, – ну не говорил ли я тебе, что нас не казнят?

Тем временем они вышли на замковый двор. Ночь уже спустилась на землю. Лишь кое-где пылали красные факелы или мерцали фонари, отбрасывая неверные отблески на конных и пеших солдат разного рода оружия. Весь двор был забит войсками. Видно, шли приготовления к походу, так как всюду царил суматоха. Тут и там в темноте маячили копыта и дула мушкетов, конские копыта цокали по мостовой; отдельные всадники проезжали между хоругвями; это офицеры, очевидно, развозили приказы.

Ковальский остановил конвой и узников у огромной хлебной телеги, запряженной четверкой лошадей.

– Прошу садиться! – сказал он.

– Тут уже кто-то сидит, – взбираясь на телегу, сказал Заглоба. – А наши короба?

– Короба под соломой, – ответил Ковальский. – Поскорее! Поскорей!

– Кто же это тут сидит? – спрашивал Заглоба, всматриваясь в темные фигуры, вытянувшиеся на соломе.

– Мирский, Станкевич, Оскерко! – последовал ответ.

– Володыёвский, Ян Скшетуский, Станислав Скшетуский, Заглоба! – ответили наши рыцари.

– Здорово! Здорово!

– Здорово! В хорошей компании поедem. А куда нас везут, не знаете?

– В Биржи! – ответил Ковальский.

С этими словами он дал команду трогать. Полсотни драгун окружили телегу и двинулись в путь.

Узники стали вполголоса разговаривать.

– Шведам нас выдадут! – сказал Мирский. – Я так и думал...

– По мне, уж лучше у врагов сидеть, нежели у изменников! – заметил Станкевич.

– А по мне, – воскликнул Володыёвский, – лучше пуля в лоб, нежели сидеть сложа руки во время такой жестокой войны.

– Не суесловь, пан Михал! – остановил его Заглоба. – Ведь с телеги можно удрать, из Бирж тоже, а вот с пулей во лбу удирать трудновато. Но я знал, что этот изменник не отважится на такое.

– Это чтоб Радзивилл да не отважился! – сказал Мирский. – Видно, ты, пан, издалека приехал и не знаешь его. Уж коли он поклялся кому отомстить, так тот может почитать себя мертвым; я не запомню такого случая, чтобы он кому-нибудь простил самую маленькую обиду.

– А вот не отважился же поднять на меня руку! – настаивал Заглоба. – Как знать, не мне ли и вы обязаны жизнью.

– Это как же так?

– А меня крымский хан очень любит за то, что я открыл заговор на его жизнь, когда сидел у него в неволе в Крыму. Да и наш милостивый король Joannes Casimirus тоже меня любит. Не захотел, собачий сын, Радзивилл, с двумя владыками задираться, они ведь и в Литве могли бы его достать.

– Ну, что это ты, пан, говоришь! Он короля, как черт кропило, ненавидит, так еще больше взъелся бы на тебя, кабы знал, что ты наперсник нашего повелителя, – возразил Станкевич.

– А я думаю, – сказал Оскерко, – что не захотел гетман руки марать в нашей крови, дабы odium<sup>54</sup> на себя не навлечь, и готов поклясться, что этот офицер везет приказ шведам в Биржах тотчас нас расстрелять.

– Ох! – воскликнул Заглоба.

Все на минуту примолкли, а телега между тем уже въехала на кейданскую площадь. Город спал, в окнах не было света, только собаки у ворот яростно лаяли на всадников.

– Все равно, – сказал Заглоба, – мы, что ни говори, выиграли время, а может, и счастливый случай подвернется, а нет, так штуку какую-нибудь придумаем. – Он обратился к старым полковникам: – Вы меня мало знаете, но вы у моих друзей спросите, в каких мне случалось бывать переделках, и все-таки я всегда выходил из них цел и невредим. Скажите мне, что за офицер командует конвоем? Нельзя ли уговорить его отступить от изменника, стать на сторону отчизны и соединиться с нами?

– Это Рох Ковальский из Кораблей Ковальских, – ответил Оскерко. – Я его знаю. С одинаковым успехом ты бы, пан, мог уговорить его лошадь, – право, не знаю, кто из них глупее.

– А за что же его произвели в офицеры?

– Он у Мелешко в драгунской хоругви знаменосец, а для этого большого ума не надо. А в офицеры его потому произвели, что князю кулаки его понравились: он подковы гнет и схватывается с ручными медведями, и не было еще такого, которого бы он не поборол.

– Такой силач?

– Силач над силачами, а уж если начальник скажет ему: разбей лбом стенку – так он, не раздумывая ни минуты, начнет стучать об нее лбом. Приказано ему отвезти нас в Биржи, так отвезет, хоть тут земля расступись.

– Скажите! – воскликнул Заглоба, который с большим вниманием слушал эти речи. – Решительный, однако, парень!

– А все потому, что он столько же решителен, сколько и глуп. На досуге он коли не ест, так спит. Удивительное дело, право же, вы мне не поверите: однажды он проспал в арсенале сорок восемь часов кряду, да еще зевал, когда его стащили с постели.

– Нравится мне этот офицер, ну просто страх как! – сказал Заглоба. – Я всегда люблю знать, с кем имею дело.

С этими словами он повернулся к Ковальскому.

– Подъезжай-ка поближе ко мне! – крикнул он покровительственно.

– Чего? – спросил Ковальский, поворачивая коня.

– Нет ли у тебя горелки?

– Есть.

– Давай!

– Как так: давай?

– Видишь ли, пан Ковальский, кабы это было запрещено, у тебя приказ был бы не давать, а коль нет приказа, так давай.

– Эге! – удивился пан Рох. – Черт возьми! Это что же – заставить хочешь?

– Заставить не заставить, но ведь можно тебе поддержать родича, да еще старого, – стало быть, и следует это сделать, ведь, женись я на твоей матери, за милую душу мог бы стать твоим отцом.

– Какой ты мне, пан, родич!

– Да ведь есть два колена Ковальских. Одни по прозванию Веруши, на их гербе изображен козел на щите с поднятой задней ногой, а у других Ковальских на гербе тот самый корабль, на

---

<sup>54</sup> ненависть, вражда, неприязнь (лат.).

котором их предок Ковальский приплыл морем из Англии в Польшу, вот они-то, по бабушке, мои родичи, и потому у меня на гербе тоже корабль.

– Господи! Да неужто ты и впрямь мой родич?

– Разве ты из Кораблей?

– Из Кораблей.

– Ей-же-ей, моя кровь! – воскликнул Заглоба. – Как хорошо, что мы встретились, я ведь сюда, в Литву, к Ковальским приехал, и хоть я в неволе, а ты и на воле и на коне, я охотно заключил бы тебя в объятия: что ни говори, родичи – это родичи.

– Чем же я, пан, могу помочь тебе? Приказали отвезти тебя в Биржи, я и отвезу. Дружба дружбой, а служба службой.

– Зови меня дядей! – велел Заглоба.

– Возьми, дядя, горелки! – сказал Рох. – Это можно.

Заглоба с удовольствием взял у него баклажку и напился вволю. Через минуту приятное тепло разлилось у него по жилам, в голове прояснилось, и ум прояснился.

– Слезай-ка с коня, – сказал он Роху, – да присядь на телегу, побеседуем, – хочется мне, чтобы ты рассказал мне про родню. Я службу уважаю, но ведь это можно.

Ковальский минуту не отвечал.

– Вроде бы не заказывали, – сказал он наконец.

Вскоре он сидел уже на телеге рядом с Заглобой, вернее, лежал на соломе, которая была постелена на телеге.

Заглоба сердечно его обнял.

– Ну, так как же поживает твой старик? Как, бишь, его зовут? Забыл...

– Тоже Рох.

– Верно, верно, Рох породил Роха. Это по Писанию. Должен он был своего сына тоже назвать Рохом, чтобы всяк молодец был на свой образец. А ты женат?

– Как не женат, женат! Я Ковальский, а вот моя пани Ковальская, другой я не желаю. – С этими словами молодой офицер поднес к глазам Заглобы рукоять тяжелой драгунской сабли и повторил: – Другой я не желаю!

– Правильно! – сказал Заглоба. – Ну просто страх как ты мне по нраву пришелся, Рох, сын Роха. Самое это подходящее дело, когда у солдата нет иной жены, кроме этой; я еще тебе и то скажу, что раньше она вдовой по тебе останется, чем ты вдовцом по ней. Одно только жаль, что молодых Рохов у тебя от нее не будет, потому ты, как я вижу, кавалер бойкий, и жалко будет, коль такой род да погибнет.

– Эва! – сказал Ковальский. – Да нас шестеро братьев!

– И все Рохи?

– Поверишь ли, дядя, у каждого коль не первое имя Рох, так второе; святой Рох наш особый покровитель.

– Давай-ка еще выпьем!

– Давай.

Заглоба опять опрокинул баклажку, однако всю не выпил, отдал офицеру и сказал:

– До дна! До дна! Жаль, что я тебя не вижу! – продолжал он. – Темно, хоть глаз выколи. Собственных пальцев не разглядишь. Послушай, пан Рох, а куда собиралось уходить войско из Кейдан, когда мы уезжали?

– Да против мятежников.

– Один Бог знает, кто тут мятежник: ты или они?

– Я мятежник? Это как же так? Что мне гетман велит, то я и делаю.

– Так-то оно так, да гетман не делает того, что ему наш милостивый король велит: вряд ли он велел ему соединиться со шведами. А не лучше ли тебе шведов бить, чем меня, своего родича, отдавать им в руки?

– Может, и лучше, да ведь приказывают, ты и исполняй!

– Пани Ковальская тоже думает, что лучше. Я ее знаю. Между нами говоря, гетман взбунтовался против короля и отчизны. Ты об этом никому не рассказывай, но так оно на самом деле и есть. И раз вы ему служите, стало быть, тоже бунтуете.

– Не пристало мне слушать такие речи. У гетмана свое начальство, у меня свое, гетман надо мной начальник, и Бог бы меня покарал, если б я ему воспротивился. Неслыханное это дело!

– Справедливые речи... Но ты, Рох, вот об чем подумай: попадись ты в руки этих мятежников, и я был бы на воле, и вины бы твоей в том не было, ибо *nes Hercules contra plures*<sup>55</sup>. Не знаю я, где эти хоругви, но ты-то должен знать... ну что тебе стоит своротить немножко в ту сторону.

– Как так?

– Ну вот так нарочно взять да вбок и своротить? И вины бы твоей не было, если бы нас отбили. И я не лежал бы у тебя на совести, а поверь мне, страшное это бремя иметь на совести родича.

– Э! Что это ты, дядя, толкуешь! Право слово, слезу с телеги и на коня сяду. Не у меня ты будешь на совести, а у пана гетмана. Покуда я жив, не бывать этому!

– На нет и суда нет! – ответил Заглоба. – Это лучше, что ты все начисто говоришь, но я-то раньше стал твоим дядей, чем Радзивилл твоим гетманом. А знаешь ли ты, Рох, что такое дядя?

– Дядя – это дядя.

– Это ты умно рассудил, но ведь если нет отца, так по Писанию дядю надо слушать. Это вроде бы та же родительская власть, против которой, Рох, грешно восставать. Ты и то еще заметь, что ежели кто женился, так отцом легко может стать, а вот в жилах дяди по матери течет та же кровь, что и у нее. Я, правда, не брат твоей матери, но моя бабка была теткой твоей бабки, так что знай, в моей крови все добродетели нескольких поколений; все мы, ясное дело, в этом мире смертны, вот власть и переходит от одних к другим, и ни гетман, ни король не могут ею пренебречь или потребовать, чтобы кто-то противился ей. Истинная правда! Да разве имеет право великий гетман или, скажем, польный гетман приказать не то что шляхтичу и хорунжему, но даже какому-нибудь ледащему обознику, чтобы он посягнул на отца с матерью, на деда или на старую слепую бабку? Отвечай мне, Рох! Разве имеют они право?

– А? – сонным голосом спросил Рох.

– На старую слепую бабку! – повторил Заглоба. – Кому бы захотелось тогда жениться да детей родить или внуков дожидаться? Отвечай мне, Рох!

– Я Ковальский, а вот пани Ковальская! – совсем уже сонным голосом отвечал офицер.

– Ну коли ты так хочешь, ин быть по-твоему! – ответил Заглоба. – Оно и лучше, что у тебя не будет детей, меньше дураков будет на свете. Верно ведь, Рох? – Заглоба напряг слух, ответа не было. – Рох! Рох! – тихонько позвал он.

Рох спал как убитый.

– Спишь?.. – проворчал Заглоба. – погоди-ка, дай я сниму у тебя с головы этот железный горшок, а то тебе в нем неудобно. Епанча тебе шею давит, еще кровь бросится в голову. Какой же из меня был бы родич, когда бы я тебя не спасал.

Тут Заглоба стал тихонько ощупывать голову и шею Ковальского. На телеге все спали мертвым сном; солдаты тоже покачивали головами в седлах; ехавшие впереди тихонько напевали, пристально всматриваясь в темноту; дождя не было, тьма, однако, царила кромешная.

Через некоторое время солдат, ведущий за телегой на поводу коня, увидел в темноте епанчу и блестящий шлем своего офицера. Не останавливая телеги, Ковальский соскочил с нее и махнул рукой, чтобы ему подали скакуна.

<sup>55</sup> и Геркулес бессилен против многих (*лат.*).

Через минуту он уже сидел верхом на коне.

– Пан начальник, где мы остановимся коней пасти? – спросил вахмистр, подъехав к нему.

Не ответив ни слова, пан Рох двинулся вперед; миновав медленно ехавших впереди драгун, он исчез в темноте.

До слуха драгун долетел внезапно цокот копыт мчавшегося во весь опор коня.

– Вскачь несется начальник! – говорили они между собою. – Верно, хочет поглядеть, нет ли поблизости какой корчмы. Пора коней пасти, пора!

Но прошло полчаса, час, два, а Ковальский все, видно, ехал вперед, потому что его не было видно. Лошади очень устали, особенно упряжные, и еле тащились. На небе закатывались звезды.

– Скажите кто-нибудь за начальником, – приказал вахмистр, – надо сказать, что лошади нога за ногу плетутся, а упряжные и вовсе стали.

Один из солдат поскакал вперед, однако через час вернулся один.

– Начальника и след простыл, – сказал он. – Наверно, уж на целую милю умчался вперед. Солдаты стали роптать.

– Ему хорошо, он себе днем отоспался, да и на телеге дрыхнул, – а ты, несчастный, трясись в потемках из последних сил.

– Тут корчма в полуверсте, – сказал солдат, который ездил догонять Роха, – я думал, там его найду, какое там! Послушал, не долетит ли топот... Ничего не слышать. Черт его знает, куда он ускакал.

– Остановимся в корчме и без него, – сказал вахмистр. – Надо коням передохнуть.

Перед корчмой они остановили телегу. Солдаты соскочили с лошадей, одни пошли стучаться в дверь, другие стали отвязывать притороченные к седлам вязки сена, чтобы хоть с рук покормить лошадей.

Когда телега остановилась, узники проснулись.

– Где это мы едем? – спросил старик Станкевич.

– Темно, не разгляжу, – ответил Володыёвский, – но только едем мы не на Упиту.

– А в Биржи из Кейдан надо ехать на Упиту? – спросил Ян Скшетуский.

– Да. Но в Упите стоит моя хоругвь, а князь, видно, опасался, как бы она не восстала, и приказал поэтому везти нас другим путем. Сразу за Кейданами мы свернули на Дальнов и Кроков, а оттуда поедem, наверно, на Бейсаголу и Шавли. Небольшой крюк, зато Упита и Поневеж останутся правее. По дороге нет никаких хоругвей, князь все стянул к Кейданам, чтобы иметь под рукой.

– Собирался пан Заглоба какую-нибудь штуку придумать, а сам спит сладким сном, похрапывает, – сказал Станислав Скшетуский.

– Пускай себе спит. Устал он, видно, пока разговоры разговаривал с этим дураком начальником, к которому навязался в родичи. Видно, хотел переманить его на свою сторону, только пустое это занятие. Кто не отступился от Радзивилла ради отчизны, тот ради какого-то дальнего родича наверняка от него не отступится.

– А они и впрямь родичи? – спросил Оскерко.

– Они? Такие же, как мы, пан, с тобою, – ответил Володыёвский. – Даже то, что пан Заглоба толковал ему про одинаковый герб, и то неправда, я знаю, что прозвание Заглобы Вчеле.

– А где же пан Ковальский?

– С людьми, наверно, или в корчме.

– Я хочу попросить у него позволения сесть на лошадь одного из солдат, – сказал Мирский. – Все члены у меня занемели.



– Ну на это он вряд ли согласится, – заметил Станкевич. – Ночь темная, дай только шпоры коню – и поминай как звали. Разве догонишь!

– Я ему дам слово кавалера, что не сбегу, да, наверно, и светать уже скоро начнет.

– Эй, солдат, а где же ваш начальник? – спросил Володыёвский у ближнего драгуна.

– А кто его знает?

– Как так: кто его знает? Коли я велю кликнуть его, так изволь кликнуть.

– Да мы и сами не знаем, пан полковник, где он, – ответил драгун. – Как слез с телеги и поехал вперед, так по сию пору не воротился.

– Ну когда воротится, скажи ему, что мы хотим поговорить с ним.

– Слушаюсь, пан полковник! – ответил солдат.

Узники умолкли.

Только громкие зевки слышались время от времени на телеге, да рядом лошади хрустели сеном. Солдаты около телеги дремали, опершись на седла. Иные разговаривали вполголоса друг с дружкой или подкреплялись чем придется; выяснилось, что корчма заброшенная и никто в ней не живет.

Уж и ночная тьма стала редеть. Чуть-чуть посерело на востоке темное небо, медленно гасли звезды, светясь неверным мерцающим блеском. Но вот посветлела и кровля корчмы, засеребрились деревья, росшие подле нее. Лошади и люди словно выплывали из ночной тени. Через минуту можно было различить лица и желтые епанчи. Шлемы отразили утренний блеск.

Володыёвский расправил руки и потянулся, отчаянно при этом зевая, затем глянул на спящего Заглобу и, внезапно отшатнувшись, крикнул:

– А чтоб его! Господи Боже мой! Нет, вы только поглядите!

– Что случилось? – спрашивали полковники, открывая глаза.

– Гляньте! Гляньте! – кричал Володыёвский, показывая пальцем на спящего.

Узники посмотрели, и изумление изобразилось на всех лицах: под буркой Заглобы и в его шапке спал сном праведника Рох Ковальский. Заглобы на телеге не было.

– Бежал, клянусь Богом, бежал! – воскликнул изумленный Мирский и огляделся по сторонам, точно все еще не веря своим глазам.

– Ну и хитрюга же, черт его дер! – крикнул Станкевич.

– Снял с этого дурака шлем и желтую епанчу и бежал на его же собственной лошади!

– Как в воду канул!

– Он и посулился, что найдет уловку и убежит.

– Только его и видели!

– О, вы еще не знаете этого человека! – с восторгом говорил Володыёвский. – А я сегодня могу поклясться вам, что он и нас освободит. Не знаю как, когда и каким способом, но, клянусь вам, освободит!

– Право, не верю своим глазам! – говорил Станислав Скшетуский.

Но тут солдаты заметили, что случилось. Поднялся шум. Драгуны бросились к телеге и вытаращили глаза на своего одетого в бурку и рысий колпак начальника, спавшего мертвым сном.

Вахмистр стал без церемонии трясти его.

– Пан начальник! Пан начальник!

– Я Ковальский, а вот... пани Ковальская, – бормотал Рох.

– Пан начальник, арестованный бежал!

Ковальский сел на телеге и раскрыл глаза.

– Что?

– Арестованный бежал, тот толстый шляхтич, который с тобой разговаривал!

Офицер протрезвел.

– Не может быть! – крикнул он неистовым голосом. – Как так? Что случилось? Как мог он бежать?

– В твоём шлеме, пан начальник, и в твоей епанче. Солдаты его не признали, ночь была темная.

– Где моя лошадь? – крикнул Ковальский.

– Нет лошади. Шляхтич на ней бежал.

– На моей лошади? – Ковальский схватился за голову: —

Иисусе Назарейский, Царь иудейский! – Через минуту он крикнул: – Подать сюда этого собачьего сына, этого мерзавца, который подал ему лошадь!

– Пан начальник, солдат ни в чем не виноват! Ночь была темная, зги не видать, а шляхтич снял с тебя шлем и епанчу. Он мимо меня проехал, и я его не признал. Кабы ты не сиделся на телегу, он не смог бы выкинуть такую штуку.

– Бейте меня! Бейте меня! – кричал несчастный офицер.

– Что делать, пан начальник?

– Бей его! Лови!

– Ни к чему это! Он на твоей лошади, пан начальник, а она у нас самая лучшая. Наши очень притомились, а он бежал с первыми петухами. Не догоним!

– Ищи ветра в поле! – воскликнул Станкевич.

Ковальский в ярости повернулся к узникам:

– Вы помогли ему бежать! Я вот вас!

Он сжал огромные кулаки и стал надвигаться на них.

Но тут Мирский грозно сказал:

– Не кричи, не видишь, что ли, что со старшими разговариваешь!

Пан Рох вздрогнул и невольно вытянулся в струнку: в самом деле по сравнению с Мирским он был совершенное ничтожество, да и все эти узники были на голову выше его по званию и по чину.

– Куда велели тебе везти нас, туда и вези, – прибавил Станкевич, – но голоса не смей повышать, потому завтра можешь попасть под начал к любому из нас.

Пан Рох тарашил глаза и молчал.

– Что говорить, пан Рох, сваял ты дурака! – обратился к нему Оскерко. – А что ты толкуешь, будто мы ему помогли, так это глупости: первое – мы спали так же, как и ты, второе – чем другому помогать, каждый бы сам бежал. Ну и сваял же ты дурака! Никто тут не виноват, один ты! Да я бы первый приказал тебя расстрелять! Где это видано, чтобы офицер спал, как сурок, а узник сбежал в его шлеме и епанче, мало того – на его же лошади! Неслыханное дело! От сотворения мира такого еще не бывало!

– Старый лис молодого обошел! – сказал Мирский.

– Господи Иисусе! Да у меня и сабли нет! – крикнул Ковальский.

– А разве сабля ему не пригодится? – улыбнулся Станкевич. – Правильно говорит пан Оскерко: сваял ты дурака, кавалер! Пистолеты у тебя тоже, наверно, были в кобуре?

– Были! – в беспамятстве сказал Ковальский. И вдруг схватился руками за голову. – И письмо князя биржанскому коменданту! Что я, несчастный, буду теперь делать? Пропал я навеки! Пулю мне в лоб!

– Этого тебе не миновать! – строго сказал Мирский. – Как же ты теперь повезешь нас в Биржи? Что будет, ежели ты скажешь, что привез нас как узников, а мы, старшие по чину, скажем, что это тебя надо бросить в подземелье? Как тебе сдается, кому они поверят? Неужто ты думаешь, что шведский комендант задержит нас только на том основании, что пан Ковальский попросит его об этом? Скорее он нам поверит и запрет тебя в подземелье!

– Пропал я! Пропал! – стонал Ковальский.

– Глупости! – сказал Володыёвский.

– Что делать, пан начальник? – спросил вахмистр.

– Пошел ко всем чертям! – рявкнул Ковальский. – Откуда я знаю, что делать? Куда ехать?.. Чтоб тебя громом убило!

– Поезжай, поезжай в Биржи, там увидишь! – сказал Мирский.

– Поворачивай на Кейданы! – заорал Ковальский.

– Чтоб мне свиной щетиной пораста, коли не приставят там тебя к стенке и не расстреляют! – сказал Оскерко. – Как же ты предстанешь перед гетманом? Тьфу! Позор тебя ждет, пуля в лоб и больше ничего!

– А я большего и не стою! – воскликнул несчастный парень.

– Глупости, пан Рох! Мы одни можем тебя спасти! – продолжал Оскерко. – Ты ведь знаешь, что мы готовы были идти за гетманом хоть на край света и погибнуть. Больше было у нас заслуг, чем у тебя, да и чины побольше. Не однажды проливали мы кровь за отчизну и всегда прольем ее с радостью, но гетман изменил отчизне, отдал Литву в руки врага, заключил с ним союз против всемилостивейшего нашего короля, которому мы присягу принесли на верность. Уж не думаешь ли ты, что нам, солдатам, легко было выйти из повиновения, нарушить дисциплину, встать против собственного гетмана? Но кто сегодня с гетманом, тот против отчизны! Кто сегодня с гетманом, тот против его величества короля! Кто сегодня с гетманом, тот изменил королю и Речи Посполитой! Потому-то мы и бросили булавы под ноги гетману, – так велели нам совесть и долг, вера и честь. Кто это сделал? Разве я один? Нет, и пан Мирский, и пан Станкевич, лучшие солдаты, честнейшие люди! Кто остался с гетманом? Смутьяны! Почему же ты не следуешь примеру тех, кто лучше тебя, и умнее, и старше? Хочешь позор навлечь на свое имя? Хочешь, чтобы тебя назвали изменником? Загляни себе в душу, спроси свою совесть, как надлежит тебе поступить: стать ли изменником при изменнике Радзивилле или пойти с нами и драться за отчизну до последнего вздоха, до последней капли крови? Пусть земля расступится и поглотит нас за то, что мы отказались повиноваться князю! Но лучше нашим душам век в преисподней гореть, нежели нам ради корысти Радзивилла изменить королю и отчизне!

Речь эта, казалось, произвела на Роха сильное впечатление. Он вытаращил глаза и разинул рот.

– Чего вы от меня хотите? – спросил он через минуту.

– Чтобы ты пошел с нами к витебскому воеводе, который будет защищать отчизну.

– Ишь ты! А у меня приказ везти вас в Биржи.

– Поди поговори с ним! – сказал Мирский.

– Так вот мы и хотим, чтобы ты не выполнил приказа! Чтобы оставил гетмана и с нами пошел, пойми же ты! – воскликнул, потеряв терпение, Оскерко.

– Вы себе что хотите говорите, а только ничего из этого не выйдет. Я солдат! Чего бы я стоил, если б оставил гетмана. Не моего ума все это дело, не моя воля, его. Согрешит он, так будет в ответе и за себя и за меня, а мое собачье дело ему повиноваться! Человек я простой, чего рукой не сделаю, так где уж головой... Одно только я знаю, должен я повиноваться – и баста!

– Ну и делай, что хочешь! – крикнул Мирский.

– Мой это грех, – продолжал Рох, – что велел я повернуть на Кейданы, потому мне в Биржи ехать велено. Вовсе я с ума свихнулся с этим шляхтичем, который хоть и родич мне, а такое со мною сделал, что и чужой бы не сделал! Добро бы не родич, а то ведь родич! Бога он не боится, что и коня у меня забрал, и лишил меня княжеской милости, и кару навлек на меня. Хорош родич! Ну а вы поедете в Биржи, а там будь что будет!

– Нечего время попусту тратить, пан Оскерко, – сказал Володыёвский.

– А ну поворачивай на Биржи, собаки! – крикнул драгунам Ковальский.

И они снова повернули на Биржи. Одному из драгун пан Рох приказал сесть на телегу, сам вскочил на его лошадь и ехал подле узников, все еще повторяя:

– Родич, да чтоб такое сделать!

Хотя узники не знали, что ждет их впереди, и были очень удручены, однако, услышав эти слова, не могли удержаться от смеха.

– Утешься, пан Ковальский, – сказал наконец Володыёвский. – Не такие, как ты, попадались на удочку этому рыцарю. В хитрости он самого Хмельницкого превзошел, а уж что до уловок, так тут с ним никто не может сравниться.

Ковальский ничего не ответил, только от телеги немного отъехал, боясь насмешек. Стыдно было ему и узников, и собственных солдат, и так он был растерян, что жалко было на него смотреть.

А полковники в это время вели разговор о Заглобе и его удивительном бегстве.

– Удивительное дело! – говорил Володыёвский. – В какую бы переделку ни попал этот человек, всякий раз выйдет цел и невредим. Где не помогут отвага и сила, там он уловку найдет. Другие теряют мужество, когда смерть им заглянет в глаза, или предают себя Богу и ждут, что будет, а он тотчас умом пораскинет и что-нибудь да придумает. Храбр он, когда надо, как Ахиллес, но предпочитает идти по стопам Улисса.

– Не хотел бы я его стеречь, хоть бы в цепи его заковали, – сказал Станкевич. – Это ничего, что сбежит, да ведь на смех же еще тебя поднимет, издеваться будет.

– То-то и оно! – сказал пан Михал. – Теперь он до конца жизни будет потешаться над Ковальским, а не приведи Бог на зубок ему попасть, язык у него – острее во всей Речи Посполитой не сыщешь. А как начнет еще, по своему обычаю, расписывать, так животики со смеху надорвешь.

– А понадобится, так он, говоришь, и рубиться горазд? – спросил Станкевич.

– Еще как горазд! Ведь это он на глазах у всего войска зарубил под Збаражем Бурляя.

– Нет, клянусь Богом, такого человека я еще не встречал! – воскликнул Станкевич.

– Большую услугу оказал он нам своим бегством, – заметил Оскерко, – потому что забрал с собой письма гетмана. Кто его знает, что писал гетман про нас в этих письмах. Не думаю я, чтобы шведский комендант в Биржах поверил не Ковальскому, а нам. Не может этого быть. Мы ведь приедем как узники, а он как начальник конвоя. Но что там не будут знать, что с нами делать, – это как пить дать. На плаху, во всяком случае, не поведут, а это самое главное.

– Да я это так только говорил, – ответил Мирский, – чтобы Ковальский совсем потерялся. Но то, что нас, как ты говоришь, на плаху не поведут, это, право же, плохое утешение. Так повернулось дело, что лучше смерть! Ясно, что теперь разгорится еще одна война, что на этот раз начнется смута, а это уж последний конец. Зачем мне, старику, смотреть на это?

– И мне, я ведь помню другие времена! – воскликнул Станкевич.

– Вы не должны так говорить, ибо милосердие Божие превышает людской злобы, и всемогущая десница Господня может вырвать нас из пучины, когда мы меньше всего этого ожидаем.

– Святые слова! – сказал Ян Скушетуский. – И как ни тяжело нам, солдатам покойного князя Иеремии, жить теперь, ибо мы привыкли к победам, а все же хочется еще послужить отчизне, только бы дал Бог наконец вождя – не изменника, а такого, которому человек мог бы предаться всей душой и всем сердцем.

– Ох, правда, правда! – вздохнул Володыёвский. – Мы бы день и ночь сражались.

– Это, скажу я вам, самая большая беда, – промолвил Мирский, – все мы от этого как впотьмах ходим и сами себя спрашиваем: что делать? И неуверенность гнетет нас, как тяжелый сон. Не знаю, как вы, но меня томит и душит тревога. Как подумаю, что это я бросил булаву к ногам гетмана, что это я причина мятежа и бунта, от ужаса остатки седых волос встают у меня дыбом на голове. Да! Но что же делать пред лицом явной измены? Счастливы те, кому не надо было спрашивать себя об этом и искать в душе ответа!

– Вождя, вождя пошли нам, Боже милосердный! – снова воскликнул Станкевич, поднимая глаза к небу.

– А что, воевода витебский, говорят, человек весьма достойный? – спросил Станислав Скшетуский.

– Да! – ответил Мирский. – Но нет у него булавы ни великого, ни польного гетмана, и пока всемилостивейший король наш не присвоит ему звания гетмана, он может действовать только на свой страх. Одно верно – что не пойдет он ни к шведам, ни к другим врагам.

– Пан Госевский, гетман польный, в плену у Радзивилла.

– А все потому, что он тоже человек достойный, – подхватил Оскерко. – Когда до меня дошла весть об его аресте, я так и обмер и сразу почуял, что дело неладно.

– Был я как-то в Варшаве, – заговорил после минутного раздумья пан Михал, – и пошел в королевский дворец, а всемилостивейший король наш, – он любит солдат и меня хвалил после битвы под Берестечком, – тотчас меня признал и велел прийти на обед. На этом обеде видел я и пана Чарнецкого, собственно и пир-то был в его честь. Выпил тогда немножко всемилостивейший король наш и стал обнимать пана Чарнецкого, а потом и говорит: «Пусть даже такая придет година, что все от меня отступятся, ты останешься мне верен!» Я собственными ушами слышал эти слова, как бы вдохновенные свыше. От волнения пан Чарнецкий слова не мог вымолвить, только повторял: «До последнего вздоха! До последнего вздоха!» А король наш заплакал тогда...

– Как знать, не пророческие ли это были слова, ибо година бедствий уже пришла! – сказал Мирский.

– Пан Чарнецкий великий воитель! – промолвил Станкевич. – Его имя в Речи Посполитой у всех на устах.

– Говорят, – прибавил Скшетуский, – будто татары, которые оказывают помощь пану Ревере Потоцкому в войне с Хмельницким, так любят пана Чарнецкого, что не хотят идти туда, где его нет.

– Истинная правда! – подхватил Оскерко. – Я слышал, как об этом рассказывали в Кейданах при князе гетмане; все мы восхваляли тогда пана Чарнецкого, а князю это очень не понравилось, нахмурился он и говорит: «Пан Чарнецкий коронный обозный, но у меня мог бы быть в Тыкоцине подстаростой».

– Invidia, видно, уже его мучила.

– Ясно, что злодейство не может вынести света добродетели.

Так беседовали между собою арестованные полковники, а потом снова свернули разговор на Заглобу. Володыёвский ручался, что они могут надеяться на помощь старого рыцаря, – не такой он человек, чтобы бросить друзей в беде.

– Я уверен, – говорил пан Михал, – что он бежал в Упиту, где найдет моих людей, если только их еще не разбили или не угнали в Кейданы. С ними он сам двинется нам на помощь, разве только они не захотят идти. Не думаю, однако, чтобы не захотели, в хоругви больше всего лауданцев, а они меня любят.

– Но они все старые слуги Радзивиллов? – заметил Мирский.

– Это верно, но когда дознаются о выдаче Литвы шведам, об аресте гетмана польного, кавалера Юдицкого и вас со мною, отвратятся их сердца от Радзивилла. Достойная это шляхта, а уж пан Заглоба не пожалеет красок, так распишет гетмана, что лучше его никто из нас не сумеет.

– Так-то оно так, – сказал Станислав Скшетуский, – но ведь мы в это время будем уже в Биржах.

– Не может этого быть, ведь мы все время кружным путем едем, чтобы миновать Упиту, а из Упиты дорога прямая, как стрела. Даже, если они выедут на день, на два позже, и то могут попасть в Биржи раньше нас и перерезать отряду путь. Мы сейчас только в Шавли едем, а уж оттуда повернем на Биржи, ну а из Упиты до Бирж, скажу я вам, поближе будет, чем из Шавлей.

– Да, да, поближе, и дорога получше! – подтвердил Мирский.

– Ну вот видите. А мы еще и до Шавлей не доехали.

Только к вечеру рыцари увидели гору, что зовется Салтувес-Калнас, у подножия которой лежат Шавли. По дороге в деревнях и городах, через которые им пришлось проезжать, они всюду заметили, что народ в тревоге. Видно, весть о переходе гетмана на сторону шведов разнеслась уже по всей Жмуди. Кое-где солдат расспрашивали, в самом ли деле край займут шведы; кое-где рыцари видели толпы крестьян, которые с женами, детьми и пожитками покидали деревни и уходили в глубь лесов, покрывавших весь этот край. Иногда крестьяне угрожающе смотрели на драгун, принимая их, видно, за шведов. В шляхетских застянках прямо спрашивали, кто такие и куда едут, а когда Ковальский вместо ответа приказывал дать дорогу, раздавались такие грозные крики, что солдатам приходилось брать мушкеты на изготовку, чтобы проложить себе путь.

Большая дорога, ведущая из Ковно через Шавли на Митаву, была забита телегами и колясками, это семьи шляхтичей спешили укрыться от войны в курляндских владениях. В самих Шавлях, которые были королевским имением, не было никаких гетманских хоругвей, ни надворных, ни регулярных; зато здесь арестованные полковники впервые увидели шведский отряд, состоявший из двадцати пяти рейтар, который выехал из Бирж в разведку. Толпы евреев и горожан глазели на рыночной площади на незнакомых людей, да и полковники с любопытством смотрели на них, особенно Володыевский, который никогда еще не видел шведов; он окидывал их хищным взглядом, как волк стадо овец, и при этом топорщил усы.

Ковальский поговорил с офицером, сообщил, кто он, куда едет и кого сопровождает, и потребовал, чтоб шведский разъезд для большей безопасности присоединился к его отряду. Но офицер ответил, что у него приказ произвести глубокую разведку и что он не может возвращаться в Биржи; он заверил Ковальского, что дорога всюду безопасна, так как небольшие отряды, посланные из Бирж, разъезжают по всем направлениям, а некоторые посланы даже в Кейданы. Отдохнув хорошенько до полуночи и покормив выбившихся из сил лошадей, пан Рох вместе со своими узниками снова тронулся в путь, свернув из Шавлей через Иоганнишкеле и Посвут на восток, чтобы выехать на прямую дорогу, ведущую из Упиты на Поневеж и Биржи.

– Коли пан Заглоба придет нам на помощь, – сказал на рассвете Володыевский, – то на этой дороге ему легче всего будет преградить путь отряду, он из Упиты мог уже подоспеть туда.

– Может, он где-нибудь и ждет нас! – сказал Станислав Скшетуский.

– Я тоже надеялся, пока не увидел шведов, – промолвил Станкевич, – но теперь, сдается мне, нет для нас спасения.

– Это уж теперь его забота, как бы шведов миновать или одурачить, а он на это мастер.

– Да вот беда, не знает он здешних мест.

– Зато лауданцы знают, они ведь пеньку, клепку и смолу возят в самую Ригу, в моей хоругви много таких.

– Шведы под Биржами заняли уже, наверно, все городки.

– Нельзя не сознаться, хороши солдаты, которых мы в Шавлях видали, – говорил маленький рыцарь, – молодцы, как на подбор! А вы заметили, какие у них сытые кони?

– Это очень сильные лифляндские кони, – сказал Мирский. – И у нас хорунжие из гусарских и панцирных хоругвей ищут лошадей в Лифляндии, у нас тут лошаденки малорослые.

– Давай, пан Михал, поговорим лучше о шведской пехоте! – вмешался в разговор Станкевич. – Конница – она хоть с виду и хороша, но не такая храбрая. Бывало, как бросится наша хоругвь, особенно тяжелая, на этих рейтар, так они и пяти минут не выдерживают.

– Вы в прежние времена уже их попробовали, – ответил маленький рыцарь, – а мне только слюнки приходится глотать. Говорю вам: как увидел я их сейчас в Шавлях и эти их желтые, как кудель, бороды, прямо мурашки по пальцам забегали. Эх, рада душа в рай, да грехи не пускают, сиди вот тут на телеге и подыхай!

Полковники умолкли; но видно, не один Володыёвский пылал к шведам такой любовью, ибо до слуха узников долетел вскоре следующий разговор между драгунами, окружавшими телегу.

– Видали этих собачьих детей, этих нехристей? – говорил один из солдат. – Мы с ними драться были должны, а теперь будем им лошадей чистить.

– А чтоб их гром убил! – проворчал другой драгун.

– Помалкивай! Швед тебя на конюшне метлой по лбу будет учить послушанию!

– Либо я его.

– Дурак! Не такие, как ты, хотели против него пойти, а вот видишь, что получилось!

– Самых великих рыцарей везем им все равно что в волчью пасть. Будут они, ироды, глумиться над ними.

– С этой немчурой без еврея и не поговоришь. Вон и в Шавлях начальнику пришлось тотчас послать за евреем.

– А чтоб их чума взяла!

Первый солдат понизил голос и спросил:

– А что это толкуют, будто все лучшие солдаты не хотят служить с ними и идти против своего короля?

– А как же! Разве ты не видал венгров, разве пан гетман не отправился с войском мятежников бить, – кто его знает, что еще будет. Ведь и наших драгун немало перешло на сторону венгров, их, верно, всех расстреляют.

– Вот награда за верную службу!

– К черту такое дело!

– Проклятая служба!

– Стой! – вдруг раздался голос ехавшего впереди пана Роха.

– Ах, пуля тебе в лоб! – проворчал голос подле телеги.

– Что там? – спрашивали друг друга солдаты.

– Стой! – снова раздалась команда.

Телега остановилась. Солдаты придержали лошадей. День был ясный, погожий. Солнце уже взошло, и в сиянии его лучей впереди на дороге виднелись клубы пыли, точно навстречу стада шли или войско.

Вскоре в облаках пыли что-то блеснуло, будто искры рассыпались, они сверкали все явственней, словно свечи пылали в дыму.

– Это сверкают копы! – воскликнул Володыёвский.

– Войско идет.

– Наверное, какой-нибудь шведский отряд.

– У них копы только у пехоты, а там пыль вон как несется. Конница это, наши!

– Наши, наши! – повторили драгуны.

– Стройся! – раздался голос пана Роха.

Драгуны окружили телегу. У Володыёвского горели глаза.

– Это уж наверняка мои лауданцы с Заглобой!

Всадники, ехавшие навстречу, были уже в какой-нибудь полуверсте, и расстояние между ними и телегой сокращалось с каждой минутой, так как мчались они на рысях. Наконец из облака пыли вынесся весь большой отряд, шедший стройными рядами, точно в атаку. Через минуту он стал еще ближе. В первом ряду, чуть правее скакал под бунчуком какой-то могучий рыцарь с булавою в руке. Заметив его, Володыёвский тотчас вскричал:

– Это пан Заглоба! Клянусь Богом, пан Заглоба!

Улыбка прояснила лицо Яна Скшетуского.

– Он! Не кто иной, как он! – подтвердил Ян. – И под бунчуком! Уже успел произвести себя в гетманы. Я бы его всюду узнал по этому озорству. Каким он родился, таким и умрет.

– Дай Бог ему здоровья! – воскликнул Оскерко. Затем он сложил ладони у губ и крикнул: – Пан Ковальский! Это родич к тебе в гости едет!

Но пан Рох не слышал, он как раз сгонял своих драгун. И хоть горсточка людей была у него, а навстречу неслась целая хоругвь, он, надо отдать ему справедливость, не растерялся и не струсил. Он построил драгун в два ряда перед телегой; однако хоругвь развернулась тем временем и по татарскому способу начала заезжать полумесяцем с обеих сторон. Но, видно, с паном Рохом хотели сперва повести переговоры, потому что стали махать знаменем и кричать:

– Стой! Стой!

– Вперед! Шагом марш! – крикнул пан Рох.

– Сдавайтесь! – кричали с дороги.

– Огонь! – скомандовал в ответ Ковальский.

Немая тишина была ответом; ни один драгун не выстрелил.

Пан Рох тоже на минуту онемел, затем в ярости набросился на своих солдат.

– Огонь, собаки! – рявкнул он страшным голосом и одним ударом кулака свалил с лошади ближайшего солдата.

Остальные шарахнулись от разъяренного офицера; но ни один не подчинился команде. И вдруг драгуны бросились наутек и рассеялись в мгновение ока, как стая испуганных куропаток.

– Я бы все-таки этих солдат приказал расстрелять! – проворчал Мирский.

Увидев, что собственные солдаты оставили его, Ковальский повернул коня навстречу хоругви.

– Там моя смерть! – крикнул он страшным голосом.

И ринулся вперед ураганом.

Но не успел он проскакать и половину дороги, как в рядах Заглобы раздался выстрел из дробовика: дробь засвистела на дороге, конь пана Роха зарылся храпом в пыль и рухнул, привалив ездока.

В ту же минуту из хоругви вынесся, как молния, солдат и схватил за шиворот поднимавшегося с земли офицера.

– Это Юзва Бутрым! – воскликнул Володыёвский. – Юзва Безногий!

Пан Рох, в свою очередь, схватил Юзву за полу, и пола осталась у него в руке; тут они сшиблись и трепали друг друга, словно два ястреба, так как силы были оба непомерной. У Бутрыма лопнуло стремя, он свалился наземь и перекувырнулся, однако не выпустил пана Роха, и они, свившись в клубок, катались на дороге.

Подскакали другие солдаты. Сразу два десятка рук схватили Ковальского, который рвался и метался, как медведь в западне, швырял людей, как вепрь-одиноц собак, снова вставал и вовсе не думал сдаваться. Он хотел погибнуть, а между тем слышал десятки голосов, повторявших одно слово: «Живьем! Живьем!»

Наконец, силы оставили его, и он потерял сознание.

А Заглоба уже был у телеги, верней, на телеге и обнимал Скшетуских, маленького рыцаря, Мирского, Станкевича и Оскерко и при этом кричал, задыхаясь:

– А что! Все-таки пригодился Заглоба! Теперь мы дадим жару Радзивиллу! Друзья мои, мы свободны, и у нас солдаты! Сейчас мы отправимся разорять его имения! А что, удался фортель? Не тем, так другим способом я бы все равно вырвался на волю и освободил вас! Совсем запыхался, дух не переведу! На имения Радзивилла, друзья мои, на имения Радзивилла! Вы еще о нем не знаете того, что я знаю!

Дальнейшие изъявления радости прервали лауданцы, которые бежали вразупуски, чтобы приветствовать своего полковника. Бутрымы, Гостевичи Дымные, Домашевичи, Стакьяны, Гаштовты – все столпились у телеги, и могучие глотки непрерывно ревели:

– Vivat! Vivat!



– Спасибо вам за любовь! – сказал маленький рыцарь своим солдатам, когда они поутихли. – Страшное это дело, что мы должны выйти из повиновения гетману и поднять на него руку, но измена явная, и поступить иначе мы не можем! Мы не предадим отчизну и нашего всемилостивейшего короля. *Vivat Joannes Casimirus rex!*

– *Vivat Joannes Casimirus rex!* – подхватили три сотни голосов.

– Учиним наезд на имения Радзивилла! – кричал Заглоба. – Потрясем его кладовые и погреба!

– Коней подать! – крикнул маленький рыцарь.

Солдаты бросились за лошадьми.

– Пан Михал! – обратился тем временем Заглоба к Володыёвскому. – Я вел твоих людей, замещая тебя, и, надо отдать им должное, – что я и делаю с радостью, – они у тебя молодцы! Но теперь ты свободен, и я передаю власть в твои руки.

– Прими, пан, начальство над хоругвью, ты по званию из всех нас самый старший, – обратился пан Михал к Мирскому.

– И не подумаю! Я тут при чем! – ответил старый полковник.

– Тогда ты, пан Станкевич...

– У меня своя хоругвь, и чужую я не стану брать! Оставайся ты, пан, начальником. Ну, что тут разводить церемонии! Ты знаешь людей, они знают тебя, и лучше всего будут сражаться под твоим начальством.

– Так и сделай, Михал, так и сделай, задача-то нелегкая! – говорил Ян Скшетуский.

– Ну что ж, быть по-вашему.

С этими словами пан Михал взял булаву из рук Заглобы, вмиг построил хоругвь для похода и вместе с друзьями двинулся во главе ее вперед.

– Куда же мы пойдем? – спросил Заглоба.

– Сказать по правде, я и сам не знаю, – ответил пан Михал. – Не подумал я еще об этом.

– Надо бы посоветоваться о том, что же нам делать, – сказал Мирский. – И совет нам надо держать незамедлительно. Позвольте только мне сперва принести от нашего имени благодарность пану Заглобе за то, что он не забыл нас и *in rebus angustis*<sup>56</sup> так счастливо спас всех.

– А что? – с гордостью произнес Заглоба, поднимая голову и крутя ус. – Без меня быть бы вам в Биржах! Справедливость велит признать, что уж если никто ничего не придумает, так Заглоба непременно придумает. Пан Михал, не в таких мы с тобой бывали переделках! Помнишь, как я тебя спасал, когда мы с Еленкой от татар бежали, а?

Пан Михал мог бы сказать, что тогда не пан Заглоба его спасал, а он пана Заглобу, однако промолчал, только усы встопорщил.

– Чего там благодарить! – продолжал старый шляхтич. – Сегодня с вами беда, завтра со мной, и уж, наверно, вы меня не оставите. Так я рад, что вижу вас на свободе, будто выиграл самый решительный бой. Оказывается, не состарились еще ни голова, ни рука.

– Так ты тогда сразу поскакал в Упиту? – спросил у Заглобы пан Михал.

– А куда же мне было ехать? В Кейданы? Волку в пасть? Разумеется, в Упиту, и уж будьте уверены, лошади я не жалел, а хорошая была животи́на! Вчера утром я был уже в Упите, а в полдень мы двинулись на Биржи, в ту сторону, где я надеялся встретить вас.

– И мои люди так сразу тебе и поверили? – спросил пан Михал. – Они ведь тебя не знали, только два-три человека видали тебя у меня.

– Сказать по правде, никаких хлопот с этим делом у меня не было. Прежде всего перстень твой, пан Михал, был у меня, да и люди узнали как раз про ваш арест и про измену гетмана. Я у них депутации застал от хоругвей пана Мирского и пана Станкевича, которые предлагали собирать силы против изменника гетмана. Как сказал я им тогда, что вас везут в Биржи, так

---

<sup>56</sup> в трудную минуту (*лат.*).

все равно что палку ткнул в муравейник. Лошади на пастбище были, за ними тотчас послали людей, и в полдень мы уже отправились в путь. Ясное дело, я по праву принял начальство.

– Отец, а бунчук где ты взял? – спросил Ян Скшетуский. – Издали мы подумали, что это сам гетман едет.

– А что! Важен был с виду, не хуже его? Где бунчук взял? Да это с депутациями от восставших хоругвей прибыл к лауданцам и пан Щит с приказом гетмана идти в Кейданы, ну и с бунчуком для пущей важности. Я тотчас велел его арестовать, а бунчук приказал носить над собой, чтобы обмануть шведов.

– Ей-ей, здорово ты это придумал! – воскликнул Оскерко.

– Соломон, да и только! – прибавил Станкевич.

Заглоба надулся, как индейский петух.

– Давайте теперь совет держать, что же нам делать, – сказал он наконец. – Коли хватит у вас терпенья послушать, так я скажу вам, что я по дороге надумал. С Радзивиллом войну начинать я не советую по двум причинам: перво-наперво, он, с позволения сказать, шука, а мы окуни. Окуням лучше к щуке головой не повертываться, а то она проглотить может, – хвостом надо, тут их защищают колющие плавники. Дьявол бы его поскорее на рожон вздел да смолой поливал, чтоб не очень пригорел.

– А второе? – спросил Мирский.

– Второе, – ответил Заглоба, – попадись мы только через какой-нибудь casus<sup>57</sup> ему в лапы, так он нам такого перцу задаст, что всем сорокам в Литве будет о чем стрекотать. Вы поглядите, что он писал в том письме, которое Ковальский вез к шведскому коменданту в Биржи, тогда узнаете пана воеводу виленского, коль скоро до сих пор его не знали!

С этими словами он расстегнул жупан, достал из-за пазухи письмо и протянул Мирскому.

– Да оно не то по-немецки написано, не то по-шведски, – сказал старый полковник. – Кто из вас может прочесть?

Оказалось, что по-немецки знал немного один только Станислав Скшетуский, который часто ездил из дому в Торунь, но и тот по-писаному читать не умел.

– Так я вам tenor<sup>58</sup> расскажу, – сказал Заглоба. – Когда в Упите послали мы на луга за лошадьми, у меня было немного времени, и я велел притащить за пейсы еврея, который слывет там мудрецом, он-то, чуя саблю на затылке, и прочитал expedite<sup>59</sup> все, что там написано, и растолковал мне. Так вот пан гетман советует биржанскому коменданту и для блага его величества короля шведского приказывает, отослав сперва конвой, расстрелять всех нас без исключения, но так, чтобы слух об этом не распространился.

Полковники руками всплеснули, один только Мирский покачал головой и промолвил:

– Я-то его знаю, и странно мне было, просто понять я не мог, как это он нас выпускает живыми из Кейдан. Видно, были на то причины, которых мы не знаем, что не мог он сам приговорить нас к смерти.

– Не опасался ли он людской молвы?

– И то может быть.

– Удивительно, однако, какой злой человек! – заметил маленький рыцарь. – Ведь не хвалясь скажу, что совсем недавно мы вдвоем с Ганхофом спасли ему жизнь.

– А я сперва у его отца, а теперь вот у него уже тридцать пять лет служу! – сказал Станкевич.

– Страшный человек! – прибавил Станислав Скшетуский.

---

<sup>57</sup> случай (лат.).

<sup>58</sup> содержание (лат.).

<sup>59</sup> легко, скоро (лат.).

– Так вот такому лучше в пасть не лезть! – решил Заглоба. – Ну его к дьяволу! Не будем мы ввязываться в бой с ним, зато имения, которые встретятся нам по дороге, accurate<sup>60</sup> ему разорим. Идемте к витебскому воеводе, чтобы защита у нас была и господин над нами, а по дороге будем брать, что удастся, из кладовых, конюшен, хлебов, амбаров и погребов. Очень мне это улыбается, и уж будьте уверены, тут я никому не дам опередить себя. Денег в имениях раздобудем – так тоже с собой прихватим. Чем богаче мы будем, когда явимся к витебскому воеводе, тем ласковей он нас примет.

– Он и без того нас ласково примет, – возразил Оскерко. – Однако дельный это совет идти к нему, лучше сейчас ничего не придумаешь.

– Все мы отдадим за это свои голоса, – прибавил Станкевич.

– Святая правда! – воскликнул пан Михал. – Стало быть, к воеводе витебскому! Пусть же будет он тем вождем, о котором мы просили Бога.

– Аминь! – сказали остальные.

Некоторое время рыцари ехали в молчании, наконец пан Михал заерзал в своем седле.

– А не потрепать ли нам где-нибудь по дороге шведов? – спросил он наконец, глядя на своих товарищей.

– Мой совет такой: встретится случай, так почему же не потрепать? – ответил Станкевич. – Радзивилл, наверно, внушил шведам, что у него вся Литва под пятой и что все охотно предадут Яна Казимира, так пусть же выйдет наружу, что это неправда.

– Верно! – воскликнул Мирский. – Попадется по дороге какой-нибудь отряд – растоптать его. Я согласен и с тем, что на самого князя нападать не следует, не выдержим мы. Великий это воитель! Но, не ввязываясь в бой, стоило бы дня два повертеться около Кейдан.

– Чтобы разорить его имения? – спросил Заглоба.

– Нет! Чтобы людей собрать побольше. К нам примкнет моя хоругвь и пана Станкевича. А если они обе уже разбиты, что весьма возможно, так и тогда солдаты поодиночке будут приставать к нам. Да и из шляхты тоже кое-кто присоединится. Больше людей приведем к пану Сапеге, и ему легче будет что-нибудь предпринять.

Расчет и в самом деле был правильный, и первым доказательством тому могли послужить драгуны пана Роха, которые все, за исключением его самого, без колебаний перешли к пану Михалу. В рядах радзивилловских войск таких людей могло найтись немало. Можно было к тому же надеяться, что при первом ударе по шведам в Жмуди вспыхнет всеобщее восстание.

Володыёвский решил поэтому двинуться в ночь по направлению к Поневежу, в окрестностях Упиты привлечь еще в хоругвь лауданцев, сколько удастся, а затем углубиться в Роговскую пушу, куда, как он предполагал, будут скрываться остатки разбитых Радзивиллом хоругвей. А пока он остановился на отдых на берегу реки Лавечи, чтобы дать подкрепиться людям и покормить лошадей.

Там они простояли до самой ночи, выглядывая из зарослей орешника на дорогу, по которой тянулись все новые и новые толпы крестьян, бежавших в леса от нашествия шведов.

Солдаты, которых Володыёвский время от времени посылал на дорогу, приводили к нему отдельных крестьян, но разузнать от них о шведах удалось немного.

Перепуганные насмерть крестьяне твердили только, что шведы вот-вот придут, но объяснить что-нибудь толком не могли.

Когда совсем стемнело, Володыёвский приказал садиться по коням, но не успели люди тронуться в путь, как до слуха их долетел довольно явственный колокольный звон.

– В чем дело? – спросил Заглоба. – К вечеру слишком поздно.

Володыёвский минуту напряженно прислушивался.

– Это набат! – сказал он.

---

<sup>60</sup> исправно (лат.).

Затем поехал вдоль шеренги.

– Не знает ли кто из вас, – спросил он у солдат, – что за деревня или городок в той стороне?

– Клеваны, пан полковник! – ответил один из Гостевичей. – Мы туда поташ возим.

– Вы слышите звон?

– Слышим! Что-то там стряслось!

Пан Михал кивнул трубачу, и вскоре тихий звук рожка раздался в темных зарослях. Хоругвь тронулась вперед.

Глаза всех были устремлены туда, откуда все громче доносился набат, и недаром люди глядели в темноту: вскоре на горизонте блеснул красный свет и стал разгораться с каждой минутой.

– Зарево! – пробежал шепот по рядам.

Пан Михал наклонился к Скшетускому.

– Шведы! – сказал он.

– Попробуем! – ответил пан Ян.

– Странно мне только, что жгут.

– Наверно, шляхта дала отпор или мужики поднялись, коль они на костел напали.

– Что ж, посмотрим! – сказал пан Михал.

И засопел с удовлетворением.

Но тут к нему подъехал Заглоба.

– Пан Михал!

– Что?

– Я уж вижу, пахнет тебе шведское мясо. Верно, бой будет, а?

– Как Бог даст, как Бог даст!

– А кто будет пленника стеречь?

– Какого пленника?

– Ну не меня же, Ковальского. Видишь ли, пан Михал, это очень важно, чтобы он не убежал. Не забудь, что гетман ничего про нас не знает и ни от кого не дознается, если только ему Ковальский не донесет. Надо верным людям приказать стеречь его, – ведь во время боя легко дать деру, тем более что он и на хитрости может пуститься.

– На хитрости он так же способен, как та телега, на которой он сидит. Но ты прав, надо около него кого-нибудь оставить. А не хочешь ли ты это время постеречь его?

– Гм... Жаль бой пропускать! А впрочем, ночью при огне я почти ничего не вижу. Кабы днем надо было драться, ты бы меня ни за что не уговорил. Но коль скоро *publicum bonum*<sup>61</sup> этого требует, быть по сему!

– Ладно. Я тебе в помощь человек пять оставлю, а вздумает бежать, пустите ему пулю в лоб.

– Не бойся, он у меня шелковым станет! А зарево-то все разгорается. Где мне с Ковальским остановиться?

– Да где хочешь. Нет у меня сейчас времени! – ответил пан Михал.

И проехал вперед.

Пожар разливался все шире. Ветер потянул с той стороны и вместе с набатным звоном донес отголоски выстрелов.

– Рысью! – скомандовал Володыёвский.

---

<sup>61</sup> общее благо (*лат.*).

## Глава XVIII

Подскакав поближе к деревне и убавив ходу, солдаты увидели широкую улицу, так ярко освещенную заревом, что хоть иголки собирай. По обе стороны горело несколько хат, а от них медленно занимались другие, так как дул довольно сильный ветер и нес на соседние крыши искры, – нет! не искры, а целые снопы искр, похожие на огненных птиц. На улице огонь освещал кучки метавшихся людей. Крики их мешались с набатом, несшимся из укрытого в чаще деревьев костела, ревом скотины, лаем собак и редкими выстрелами.

Подъехав еще ближе, солдаты Володыёвского увидели рейтар в широкополых шляпах; их было не очень много. Одни из них стреляли из пистолетов по толпе крестьян, вооруженных цепями и вилами, и теснили их за хаты, на огороды; другие выгоняли рапирами на дорогу волов, коров и овец. Иные так увешались домашней птицей, еще трепыхавшей крыльями в предсмертных судорогах, что их трудно было разглядеть в целых облаках перьев. Человек двадцать держали на поводу по две-три лошади своих товарищей, грабивших, видно, хаты.

Дорога в деревню спускалась по кособогу вниз среди березника, так что лауданцев не было видно, но сами они видели всю картину вражеского набега, освещенную пожаром, в отсветах которого можно было ясно различить иноземных солдат, мужиков, которые защищались, сбившись в беспорядочные кучи, и баб, которых тащили рейтары. Все металось с криками, воплями и проклятиями, будто куклы в святочном вертепе.

Целую гриву огня разметал пожар над деревушкой и гудел все страшней и страшней.

Володыёвский приблизился со своей хоругвью к распахнутым настежь воротам на околице деревушки и дал команду убавить ход. Он мог обрушиться на ничего не подозревавшего врага и смести его одним ударом, но маленький рыцарь решил «попытать шведов» в бою открытом и решительном и потому умышленно действовал так, чтобы его заметили.

Несколько человек рейтар, стоявших на околице у ворот, первыми заметили приближавшуюся хоругвь. Один из них бросился к офицеру, стоявшему с рапирой наголо посреди дороги в большой группе всадников, и стал что-то говорить ему, показывая рукой в ту сторону, откуда спускался со своими людьми Володыёвский. Офицер прикрыл рукой глаза, посмотрел с минуту, затем махнул рукой, и тотчас среди криков и воплей людей и рева скотины послышались громкие звуки рожка.

Вот когда наши рыцари смогли подивиться выучке шведского солдата: не успели раздаться первые звуки рожка, как одни рейтары выбежали из хат, другие побросали награбленный скарб, волов и овец, и все кинулись к лошадям.

В мгновение ока отряд построился в боевые порядки, при виде которых восхитилось сердце маленького рыцаря, – такие молодцы были солдаты. Все как на подбор, рослые, сильные, одетые в кафтаны с кожаными перевязями через плечо, в одинаковые черные шляпы с полями, приподнятыми с левой стороны, все на одинаковых гнедых лошадях, стояли они стеной, с рапирами на плече, бросая быстрые, но спокойные взгляды в сторону дороги.

Но вот из строя выехал офицер с трубачом, желая, видимо, спросить, что это за люди так медленно приближаются к ним.

Он, видно, думал, что это какая-нибудь радзивилловская хоругвь, которая его не тронет. Он стал махать рапирой и шляпой, а трубач все трубил в знак того, что они хотят говорить.

– Ну-ка, пальни по ним который из дробовика, – сказал маленький рыцарь, – чтобы они знали, чего могут ждать от нас!

Раздался выстрел, но было слишком далеко, и дробь не долетела. Офицер, видно, все еще думал, что это какое-то недоразумение, потому что закричал еще громче и стал еще сильнее размахивать шляпой.

– Дайте ему еще раз! – крикнул Володыёвский.

После второго выстрела офицер повернул коня и направился, правда, не очень торопливо, к своим солдатам, которые тоже стали рысью приближаться к нему.

Первая шеренга лауданцев уже въезжала в околицу.

Шведский офицер что-то крикнул; рапиры, которые шведы держали на плече, опустились и повисли на темляках, и все солдаты мгновенно вынули из кобур пистолеты и оперли их о луки седел, держа дулами вверх.

– Отличные солдаты! – проворчал Володыёвский, видя, как быстро и согласно, почти механически выполняют они все движения.

С этими словами он оглянулся, в порядке ли его шеренги, плотнее уселся в седле и крикнул:

– Вперед!

Лауданцы пригнулись к шеем лошадей и помчались стрелой.

Шведы подпустили их и дали вдруг залп из пистолетов, но большого урона лауданцам, укрывшимся за головами лошадей, не нанесли; лишь несколько человек выпустили из рук трензеля и откинулись назад, остальные доскакали и сшиблись с рейтарами.

Легкие литовские хоругви были еще вооружены копьями, которые в коронном войске оставались только у гусар; но Володыёвский, зная, что бой придется вести в тесноте, приказал еще по дороге вдеть копьа в башмаки, и сейчас люди выхватили сабли.

Первым натиском лауданцы не смогли опрокинуть шведов, те только подались назад и, пятясь, стали сечь и колоть их рапирами, а лауданцы яростно теснили их вдоль улицы. Сраженные падали наземь. Все жесточе сшибались противники; крестьяне, вспугнутые лязгом сабель, убежали с широкой деревенской улицы, где жар от пылающих домов был невыносим, хотя от дороги они были отделены садами.

Под все более стремительным напором лауданцев шведы медленно отступали, но еще в полном порядке. Да и рассеяться им было трудно, так как улицу с обеих сторон ограждали высокие плетни. Порой они пытались остановиться, но не могли сдержать натиска.

Удивительный это был бой, в котором из-за тесноты рубились одни первые шеренги, а задние могли только теснить передних. Именно по этой причине бой превратился в жестокую сечу.

Попросив заранее старых полковников и Яна Скшетуского последить в минуту атаки за людьми, Володыёвский сам наслаждался битвой в первом ряду. Ежеминутно чья-то шведская шляпа проваливалась перед ним в темноту, точно ныряла под землю; порою рапира, выбитая из рук рейтара, взлетала со свистом над рядом бойцов, раздавался пронзительный крик и снова проваливалась шляпа; место ее занимала другая, третья, а Володыёвский все продвигался вперед, и маленькие глазки его светились, словно две зловещие искорки; но он не увлекался, не забывался, не махал саблей, как цепом; порою, когда никого нельзя было достать саблей впереди, он повертывал лицо и клинок чуть вправо или влево и мгновенно, движением как будто почти незаметным, выбивал сбоку рейтара из седла, и страшен он был этими движениями, легкими и молниеносными, почти нечеловеческими.

Как женщина, берущая коноплю, уйдя в заросли, совсем тонет в них, но путь ее легко узнать по падающим стеблям, так и он исчезал на мгновение из глаз в толпе рослых солдат; но там, где они падали, как колосья под серпом жнеца, подрезающего стебли у земли, там был именно он. Станислав Скшетуский и угрюмый Юзва Бутрым, по прозвищу Безногий, шли следом за ним.

Наконец задние ряды шведов начали выбираться из улицы на обширный погост, а вслед за ними вырвались из тесноты и передние. Раздалась команда офицера, который хотел, видно, ввести в бой сразу всех своих людей, и колонна рейтар в мгновение ока развернулась в длинную линию, чтобы всем фронтом встретить врага.

Однако Ян Скшетуский, который следил за общим ходом боя и командовал фронтом хоругви, не последовал примеру шведского офицера, вместо этого он обрушился на шведов тесной колонной и, наперев на ослабленную их стену, опрокинул ее в мгновение ока, всадив в нее как бы клин, а затем повернул на всем скаку к костелу, вправо, и зашел в тыл одной половине шведов, а на другую ринулись с резервом Мирский и Станкевич, ведя часть лауданцев и всех драгун Ковальского.

Теперь бой закипел в двух местах, однако длился он недолго. Левое крыло, на которое ударил Скшетуский, не успело сформироваться и рассеялось первым; правое, в котором был сам офицер, дольше оказывало сопротивление, но и оно было слишком растянуто, ряды его стали ломаться, мешаться и, наконец, оно последовало примеру левого.

Погост был обширный, но, на беду, обнесенный высокой оградой, а ворота на другом его конце костельные служки, увидев, что творится, закрыли и подперли жердями.

Рассеявшиеся шведы носились вдоль ограды, а лауданцы преследовали их. Кое-где кучки солдат, иногда человек по двадцать, дрались на саблях и рапирах; кое-где битва превратилась в ряд поединков, и солдат сражался с солдатом, рапира скрещивалась с саблей, порою хлопал пистолетный выстрел. Тут рейтар, уйдя от одной сабли, тотчас, как заяц под свору борзых, попадал под другую. Там швед или литвин, выбравшись из-под рухнувшего под ним скакуна, тотчас падал от удара подстерегавшей его сабли.

Посреди погоста носились разгоряченные лошади без седоков, раздувая от страха храпы и тряся гривами; некоторые грызли друг друга, иные, ослепнув и ошалев, поворачивались задом к дерущимся солдатам и били их копытами.

Выбивая мимоходом из седел рейтар, Володыёвский искал глазами по всему погосту офицера, наконец увидел, что тот обороняется от двух Бутрымов, и подскакал к нему.

– Посторонись! – крикнул он Бутрымам. – Посторонись!

Солдаты послушно отпрянули, маленький рыцарь подскакал к шведу, и они сшиблись так, что лошади под ними присели на зады.

Офицер хотел, видно, прямым ударом клинка свалить противника с лошади; но Володыёвский подставил рукоять своего драгунского палаша, повернул ее молниеносно на полкруга, и рапира выпала из рук офицера. Тот нагнулся было к кобуре, но в ту же минуту от удара палашом по щеке выпустил из левой руки поводья.

– Брать живым! – крикнул Володыёвский Бутрымам.

Лауданцы подхватили и поддержали раненого, который зашатался в седле, а маленький рыцарь помчался в глубь погоста и снова крушил рейтар, словно свечи гасил перед собою.

Но шведы уже везде сдавались шляхте, более искусной в рубке и одиночном бою. Одни из них, хватаясь за острия своих рапир, протягивали противнику рукоятки, другие бросали оружие к ногам; слово «пардон!» все чаще раздавалось на поле боя. Шляхта на это не посмотрела, она получила приказ пана Михала пощадить лишь несколько человек; тогда шведы снова ринулись в бой; отчаянно защищаясь, они умирали смертью, достойной солдата, кровью платя врагу за свою смерть.

Час спустя шляхта уже приканчивала отряд.

Толпы крестьян бросились на погост из деревни и стали хватать лошадей, добывать раненых и грабить убитых.

Так кончилась первая встреча литвинов со шведами.

Тем временем Заглобе, стоявшему поодаль в березнике с паном Рохом, лежавшим на телеге, пришлось слушать горькие упреки своего пленника, который винил его в том, что родич он ему, а так недостойно с ним поступил.

– Погубил ты меня, дядя, совсем, не только пуля ждет меня в Кейданах, но и вечный позор падет на мое имя. Теперь кто захочет сказать: дурак, может говорить: Рох Ковальский.

– Сказать по чести, не много найдется таких, кто стал бы это отрицать, – отвечал ему Заглоба. – Да лучшее доказательство твоей глупости то, что ты удивляешься, как это я да поддел вдруг тебя на удочку, это я-то, который крымским ханом вертел, как хотел. Уж не думал ли ты, щенок, что я позволю тебе отправить меня с достойными людьми в Биржи и бросить в пасть шведам нас, величайших мужей, decus<sup>62</sup> Речи Посполитой?

– Да ведь не по собственной воле я вас вез туда!

– Но ты был слугой палача, а это срам для шляхтича, это позор, который ты должен смыть с себя, не то я отрекусь и от тебя, и от всего рода Ковальских. Быть изменником – это хуже, чем быть палачом, но быть слугой того, кто хуже палача, – это уж самое последнее дело!

– Я гетману служил!

– А гетман сатане! Вот оно что получается! Дурак ты, Рох, запомни это раз навсегда и не спорь, а держись меня, может, тогда из тебя еще получится человек. Знай, не одного я вывел в люди.

Дальнейший разговор прервал треск выстрелов, это в деревне начинался бой. Затем выстрелы смолкли; но шум все еще продолжался, и крики долетали даже в этот укромный уголок в березнике.

– Пан Михал там уже трудится, – сказал Заглоба. – Невелик он, а кусает, как змея. Нащелкают они там этих заморских чертей, как орехов. Лучше бы мне не здесь, а там быть, а из-за тебя только слушать приходится из этого березника. Вот она, твоя благодарность! И это поступок, достойный родича?

– А за что я должен благодарить тебя?

– За то, что не в ярме ты у изменника и не погоняет он тебя, как вола, хоть ты для этого больше всего годишься, потому глуп и здоров, понял? Эх, а бой-то все жарче!.. Слышишь? Это, верно, шведы режут, как телята на пастбище.

Заглоба нахмурился тут, тревога взяла его; вдруг он спросил у Роха, в упор глядя на него:

– Кому желаешь победы?

– Ясное дело, нашим.

– Вот видишь! А почему не шведам?

– А я бы и сам их лупил. Наши – это наши!

– Совесть у тебя просыпается... Но как же ты мог соплеменников везти к шведам?

– У меня был приказ.

– Но теперь-то приказа нет?

– Ясное дело, нет.

– Твой начальник теперь пан Володыёвский, и больше никто!

– Да как будто так!

– Ты должен делать то, что тебе пан Володыёвский велит.

– Вроде как должен.

– Он тебе перво-наперво велит отречься от Радзивилла и служить не ему, а отчизне.

– Как же так? – почесал голову Рох.

– Приказ! – рявкнул Заглоба.

– Слушаюсь! – ответил Рох.

– Вот и хорошо! В первом же бою будешь лупить шведов!

– Приказ есть приказ! – ответил Ковальский и вздохнул с облегчением, точно у него гора свалилась с плеч.

Заглоба тоже был доволен, у него были свои виды на Роха. Они вместе стали слушать отголоски боя, долетавшие до них, и добрый час еще слушали, пока все не стихло.

Заглоба обнаруживал признаки все большего беспокойства.

---

<sup>62</sup> украшение, гордость (лат.).



– Неужто им не повезло?

– Ты, дядя, старый солдат, а говоришь такое! Да ведь если бы шведы их разбили, они бы толпою мимо нас отступали.

– Верно! Вижу, и твой ум кое на что годится.

– Слышишь, дядя, топот? Они не спешат. Посекли, верно, шведов.

– Ох, да наши ли это? Подъехать поближе, что ли?

С этими словами Заглоба спустил саблю на темляк, взял в руку пистолет и двинулся вперед. Вскоре он увидел впереди темную массу, которая медленно двигалась по дороге, в то же время до слуха его донесся шумный говор.

Впереди ехало несколько человек, ведя между собою громкий разговор, и вскоре Заглоба услышал знакомый голос пана Михала.

– Молодцы! – говорил Володыёвский. – Не знаю, как пехота, но конница отличная!

Заглоба дал шпоры коню.

– Ну, как вы там?! Ну, как вы там?! Я уж терпенье потерял, хотел в бой лететь... Не ранен ли кто?

– Все, слава Богу, здоровы! – ответил пан Михал. – Но потеряли больше двадцати хороших солдат.

– А шведы?

– Положили мы их без числа.

– Потешил ты, верно, пан Михал, душу. Ну хорошо ли это было, оставлять меня, старика, тут на страже? Да я прямо рвался в драку, так хотелось мне отведать шведятины. Сырых бы ел, право!

– Можешь получить и жареных, их там десятка два испеклось в огне.

– Пусть их собаки едят. А пленников взяли?

– Ротмистра и семерых рейтар.

– Что же ты с ними думаешь делать?

– Я бы их повесить велел, ведь они как разбойники напали на деревню и резали людей. Но вот Ян говорит, что это не годится.

– А знаете, друзья мои, что мне тут за это время пришло в голову. Незачем вешать их, надо, напротив, поскорее отпустить в Биржи.

– Это почему же?

– Как солдата вы меня знаете, узнайте теперь, какой из меня державный муж. Давайте отпустим шведов, но не станем им говорить, кто мы такие. Нет, давайте скажем им, что мы люди Радзивилла, что изрубили их отряд по приказу гетмана и будем и впредь рубить все отряды, какие встретятся нам по дороге, ибо гетман только хитрит, притворяется, будто перешел на их сторону. Шведы там за голову схватятся, и мы очень подорвем их веру в гетмана. Да пусть у меня конский хвост отрастет, коли эта мысль не стоит побольше вашей победы. Вы себе то заметьте, что мы и шведам навредим, и Радзивиллу. Кейданы далеко от Бирж, а Радзивилл еще дальше от Понтуса. Пока они друг с другом столкнутся, что да как, так ведь между ними до драки может дойти! Мы поссорим изменника с врагами, нападшими на нас, а кто выиграет от этого, если не Речь Посполитая?

– Побей меня Бог, добрый совет, и, наверно, стоит победы! – воскликнул Станкевич.

– Ты, пан, прямой канцлер по уму! – прибавил Мирский. – Расстроятся от этого их ряды, ох, как расстроятся.

– Так и сделаем, – решил пан Михал. – Завтра же я отпущу шведов, а сегодня знать ничего не хочу, страх как я вымахался. Пекло там на дороге, прямо как в печи. Уф, совсем у меня руки занемели. Да и офицер сегодня не может уехать, я его по лицу полоснул.

– Только по-каковски мы им все это скажем? Что ты, отец, посоветуешь? – спросил Ян Скшетуский.

– Я и об этом подумал, – ответил Заглоба. – Ковальский мне говорил, что у него есть два пруссака-драгуна, которые здорово по-немецки лопочут, ну и парни бойкие. Пусть они шведам по-немецки скажут, ну а по-немецки шведы, наверно, умеют, столько-то лет провоевавши в Германии. Ковальский уже наш душой и телом. Хороший парень, и мне от него будет большая корысть.

– Вот и прекрасно! – сказал Володыёвский. – Вы уж будьте так добры, займитесь кто-нибудь этим делом, а то я от усталости и голос потерял. Я уже сказал солдатам, что в этом березняке мы останемся до утра. Поесть принесут нам из деревни, а теперь спать! За стражей мой поручик последит. Право, я уж и вас не вижу, совсем глаза слипаются...

– Тут стог недалеко за березником, – сказал Заглоба, – пойдемте все туда, да и соснем на стогу, как сурки, до утра, а утром в путь... Больше мы сюда не воротимся, разве только с паном Сапегой Радзивилла бить.

## Глава XIX

Так, в одно время с нашествием на Речь Посполитую двух врагов и все более ожесточенной войной на Украине, началась смута в Литве, переполнившая чашу бедствий.

Регулярное литовское войско, и без того настолько немногочисленное, что оно не могло дать отпор ни одному из врагов по отдельности, разделилось на два стана. Одни, главным образом роты иноземцев, остались с Радзивиллом, другие, которых было большинство, объявили гетмана изменником и с оружием в руках выступили против унии с Швецией; но не было у них ни единства, ни вождя, ни обдуманного замысла. Вождем мог бы стать воевода витебский, но он в это время стойко оборонял Быхов и вел отчаянную борьбу с врагом в глубине края и не мог поэтому сразу возглавить движение против Радзивилла.

Тем временем оба врага, вторгшихся в страну, стали слать друг к другу грозные посольства, ибо каждый из них почитал всю страну своим безраздельным владением. Их распря в будущем могла бы принести Речи Посполитой спасение; но захватчики не успели перейти к враждебным действиям друг против друга, как во всей Литве воцарился ужасающий хаос. Радзивилл, обманувшийся в своих надеждах на войско, принял решение силой принудить его к повиновению.

Когда Володыёвский после клеванского боя прибыл со своим отрядом в Поневеж, до него дошла весть о том, что гетман уничтожил хоругви Мирского и Станкевича. Часть их была принудительно влита в радзивилловское войско, часть истреблена или рассеяна. Остатки хоругвей скитались поодиночке или кучками по деревням и лесам, укрываясь от возмездия и погони.

С каждым днем все больше беглецов прибывало в отряд пана Михала, увеличивая его силу и принося в то же время все новые и новые вести.

Самой важной из них была весть о бунте регулярных хоругвей, стоявших на Подлясье, под Белостоком и Тыкоцином. После занятия Вильно московскими войсками эти хоругви должны были охранять подступы к Коронной Польше. Узнав, однако, об измене гетмана, они составили конфедерацию, во главе которой встали два полковника: Гороткевич и Якуб Кмициц, двоюродный брат самого верного приспешника Радзивилла, Анджея.

Имя Анджея со страхом повторяли солдаты. Он был главным виновником разгрома хоругвей Мирского и Станкевича, он беспощадно расстреливал схваченных хорунжих. Гетман слепо ему доверял и в самое последнее время послал его против хоругви Невяровского, которая не пошла за своим полковником и отказалась повиноваться.

Эту последнюю новость Володыёвский выслушал с особым вниманием.

– А что вы скажете, – обратился он затем к вызванным на совет товарищам, – если мы пойдем не под Быхов, к витебскому воеводе, а на Подлясье, к хоругвям, которые объявили конфедерацию?

– На языке у меня были эти слова! – воскликнул Заглоба. – К родной стороне будем поближе, а дома и стены помогают.

– Беглецы слыхали, – сказал Ян Скшетуский, – будто милостивый наш король повелел некоторым хоругвям воротиться с Украины и дать отпор шведам на Висле. Коли это правда, так чем мыкаться здесь, лучше нам пойти к старым друзьям.

– А не знаете, кто должен принять начальство над этими хоругвями?

– Говорят, будто коронный обозный, – ответил Володыёвский, – но это все одни догадки, толком никто не знает, верные вести сюда еще не могли прийти.

– Коли так, – сказал Заглоба, – мой совет пробираться на Подлясье. Там мы можем увлечь за собой мятежные хоругви Радзивилла и привести их к милостивому нашему королю, а уж за это мы наверняка не останемся без награды.

– Что ж, быть по-вашему! – сказали Оскерко и Станкевич.

– Нелегкое это дело – пробираться на Подлясье, – говорил маленький рыцарь, – надо у гетмана сквозь пальцы проскочить, однако попытаемся. Кабы нам посчастливилось схватить по дороге Кмицица, я бы ему на ухо два слова шепнул, от которых он позеленел бы со злости.

– И поделом, – сказал Мирский. – Не удивительно, когда сторону Радзивилла держат старые солдаты, которые весь свой век у него прослужили; но этот смутьян служит из одной корысти, в измене он находит наслаждение.

– Стало быть, на Подлясье? – спросил Оскерко.

– На Подлясье! На Подлясье! – крикнули все хором.

Но трудное это было дело, как и говорил Володыёвский, ибо на Подлясье нельзя было пробраться, обойдя стороною Кейданы, где метался в своем логове лев.

Дороги и лесные тропы, городки и селенья были в руках Радзивилла; чуть подальше Кейдан стоял Кмициц с конницей, пехотой и пушками. Гетман уже знал о бегстве полковников, о мятеже в хоругви Володыёвского и клеванском бое; когда ему донесли об этом бое, князя обуял такой гнев, что опасались за его жизнь, страшный приступ астмы на время пресек его дыхание.

Как же было гетману не разгневаться и не прийти в отчаяние, когда шведы за бой в Клеванах обрушили на него целую бурю. Сразу же после боя там и тут стали пропадать небольшие шведские отряды. Истребляли их на свой страх крестьяне и отдельные шляхтичи; но шведы во всем винили Радзивилла, особенно после того, как офицер и солдаты, которые после клеванского боя были отосланы в Биржи, объявили коменданту, что на них, по приказу самого гетмана, напала его хоругвь.

Через неделю князь получил письмо от биржанского коменданта, а через десять дней от самого Понтуса де ла Гарди, предводителя всех шведских войск.

«Либо нет у вас, ваша светлость, ни власти, ни сил, – писал последний, – а тогда как могли вы заключать договор от имени всей страны! – либо вы питаете коварный умысел привести к гибели войско его королевского величества! Коли так, грозит вам немилость его королевского величества, и в скором времени настигнет вас кара, буде не окажете вы раскаяния и покорности и верною службой не искупите свою вину...»

Радзивилл тотчас послал гонцов с объяснениями; но жгучая игла вонзилась в его кичливую душу и язвила ее все сильнее и сильнее. Он, чье слово недавно потрясало самые основания всего этого края, большего, чем вся Швеция, он, за половину владений которого можно было бы купить всех шведских правителей, он, оказавший сопротивление самому королю, думавший стать равным монархам, победами снискавший себе славу во всем мире и как солнцем сиявший собственной гордыней, должен был теперь слушать угрозы какого-то шведского генерала, должен был слушать уроки покорства и верности. Правда, этот генерал был шурином короля, но кем был сам король, как не похитителем трона, принадлежащего по закону и крови Яну Казимиру?

Гнев гетмана обратился прежде всего на тех, кто явился причиной его унижения, и князь поклялся раздавить Володыёвского, полковников, которые были с ним, и всю лауданскую хоругвь. С этой целью он двинулся против них, и как охотники окружают тенетами лес, чтобы выловить волчий выводок, так и он окружил их и начал преследовать без отдыха.

Тут до него дошла весть о том, что Кмициц разбил хоругвь Невяровского, рассеял или порубил хорунжих, а солдат влил в собственную хоругвь, и князь приказал Кмицицу прислать к нему часть людей, чтобы с большей уверенностью нанести удар.

«Люди, – писал Кмицицу гетман, – жизнь коих ты защищал столь упорно, особенно Володыёвского с этим другим бродягой, по дороге в Биржи бежали. Мы с умыслом послали с ними самого глупого офицера, дабы не могли они переманить его, но и тот либо изменил, либо был ими обманут. Ныне у Володыёвского вся лауданская хоругвь, и беглецы множат его силы. Под Клеванами они изрубили сто двадцать человек шведов, объявив, что учинили сие по нашему приказу, отчего между нами и Понтусом возникло большое недоверие. Все дело может быть

испорчено сими изменниками, коим, не будь твоего покровительства, мы, видит Бог, повелели бы срубить головы. Так приходится нам расплачиваться за нашу снисходительность, хотя уповаем на Бога, что скоро месть их настигнет. Дошли до нас вести, что в Биллевичах, у мечника россиенского, шляхта собирается и козни противу нас строит, – надобно пресечь сие. Всю конницу нам отошлешь, а пехоту отправишь в Кейданы стеречь замок и город, ибо от сих изменников всего можно ждать. Сам с отрядом в несколько десятков сабель отправляйся в Биллевичи и привези в Кейданы мечника с его родичкой. Ныне сие важно не только для тебя, но и для нас, ибо тот, кто имеет мечника в руках, имеет в руках всю лауданскую округу, где шляхта под предводительством Володыёвского поднимается против нас. Гарасимовича мы услали в Заблудов с указаниями, что предпринять там противу конфедератов. Твой двоюродный брат Якуб снискал себе у них большой почет, напиши ему, ежели думаешь, что письмо поможет тебе привести его к повиновению.

Поручая тебя опеке Господа Бога, пребываем благосклонные к тебе».

Когда Кмициц прочитал это письмо, он в душе обрадовался, что полковникам удалось ускользнуть из рук шведов, и про себя пожелал им ускользнуть и из рук Радзивилла; однако все приказы князя он исполнил: отослал конницу, укрепил пехотой Кейданы и даже начал рыть шанцы вокруг замка и города, пообещав себе в душе сразу же после окончания этих работ отправиться в Биллевичи за мечником и панной Александрой.

«К силе я не прибегну, разве только в крайности, – говорил он себе, – и ни в коем случае не стану покушаться на Оленьку. Да и не моя это воля, а княжеский приказ! Не примет она меня ласково, знаю я это; но, Бог даст, убедится она со временем, что намерения мои чисты, ибо не против отчизны служу я Радзивиллу, но для ее блага».

Размышляя так, он усердно работал над укреплением Кейдан, где в будущем должна была найти приют его Оленька.

Володыёвский тем временем уходил от гетмана, а гетман упорно его преследовал. Стало теперь пану Михалу совсем тесно, так как от Бирж двинулись на юг крупные шведские отряды, восток Литвы был занят царскими полчищами, а на дороге в Кейданы подстерегал его гетман.

Заглоба был очень этим удручен и все чаще обращался к Володыёвскому с вопросом:

– Пан Михал, скажи ты мне, ради Христа, пробьемся мы или не пробьемся?

– О том, чтобы пробиться, и речи быть не может! – отвечал маленький рыцарь. – Ты знаешь, пан, я вовсе не трус и ударить могу на кого хочешь, хоть на самого дьявола. Но против гетмана я не устою, где мне с ним равняться! Сам же ты сказал, что мы окуни, а он шука. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы уйти, но коль скоро дело дойдет до битвы, говорю тебе прямо, он нас побьет.

– А потом велит изрубить и отдать собакам. Ради Бога! В любые руки, только не Радзивилла! А не лучше ли тогда повернуть к пану Сапеге?

– Теперь уж поздно, путь отрезан гетманскими и шведскими войсками.

– Нелегкая меня дернула подговорить Скшетуских ехать к Радзивиллу! – сокрушался Заглоба.

Но пан Михал не терял надежды, особенно потому, что и шляхта и крестьяне предупреждали его о движении гетмана, ибо все сердца отвратились от Радзивилла. Пан Михал пускался на всякие военные хитрости, какие только знал, а знал он их очень много, ибо чуть не с малых лет привык воевать с татарами и казаками. Когда-то в войске Иеремии он прославился походами против татарских орд, вылазками, внезапными наскоками, молниеносными маневрами, в которых он превосходил прочих офицеров.

Теперь же, запертый между Упитой и Роговом, с одной стороны, и Невяжей, с другой, он петлял на пространстве в несколько миль, все время уклоняясь от боя и изматывая хоругви Радзивилла, и даже огрызался порою, как волк, преследуемый гончими, который не однажды

проскочит между охотниками, а когда собаки станут наседать, обернется и сверкнет белыми клыками.

Но когда подошла конница Кмицица, гетман закрыл самые тесные щели и сам поехал стеречь, чтобы сошлись два крыла невода.

Это было на Невяже.

Полки Мелешко и Ганхофа и две хоругви конницы, предводимые самим князем, образовали как бы лук, тетивой которого была река. Володыёвский со своим полком был внутри лука. Правда, перед ним была единственная переправа через болотистую реку; но на другом берегу, у этой переправы стояли два шотландских полка и две сотни казаков Радзивилла да шесть полевых пушек, нацеленных так, что под их огнем ни один человек не смог бы переправиться на другой берег.

Тогда лук начал сжиматься. В середине его войско вел сам гетман.

К счастью для Володыёвского, ночь и буря с проливным дождем приостановили движение войск, зато у его отрезанной хоругви не оставалось уже ничего, кроме небольшого, поросшего лозняком луга между полукольцом войск Радзивилла и рекой, которую на другом берегу охраняли шотландцы.

На следующий день, едва утренняя заря осветила верхушки лоз, полки двинулись дальше, они шли, шли – дошли до самой реки и остановились в немом изумлении.

Володыёвский сквозь землю провалился, – в лозняке не было ни живой души.

Сам гетман остолбенел, а потом обрушился на офицеров, командовавших полками, которые стерегли переправу. Снова у князя был такой жесткий приступ астмы, что окружающие опасались за его жизнь. Но гнев победил даже астму. Двоих офицеров, которым было поручено стеречь переправу, князь приказал расстрелять; но Ганхоф все-таки упросил сперва проверить, каким же образом зверь ухитрился уйти из западни.

Оказалось, Володыёвский, воспользовавшись темнотой и дождем, вывел всю хоругвь из лозняка к реке, и они пустились где вплавь, где вброд вниз по течению, проскочив мимо правого крыла войск Радзивилла, которое подходило к самому руслу реки. Несколько лошадей увязли в одном месте по самое брюхо в болоте, тут, очевидно, хоругвь и вышла на правый берег.

Следы сразу показали, что хоругвь во весь опор понеслась по направлению к Кейданах. Гетман тотчас догадался, что Володыёвский стремится пробиться на Подлясье к Гороткевичу или Якубу Кмицицу.

А не подожжет ли он мимоходом Кейданы, не попытается ли ограбить замок?

Страшное опасение сжало сердце князя. Большая часть денег и драгоценностей была у него в Кейданах. Правда, Кмициц со своей пехотой должен был обеспечить охрану, но если он этого не сделал, неукрепленный замок мог легко стать добычей дерзкого полковника. Радзивилл нимало не сомневался, что у Володыёвского станет храбрости, чтобы напасть даже на кейданскую резиденцию. И времени для этого у него могло быть достаточно, так как ускользнул он в начале ночи и ушел от погони на добрых шесть часов ходу.

Так или иначе, надо было скакать во весь дух на спасение Кейдан. Князь оставил пехоту и тронулся вперед со всей конницей.

Прибыв в Кейданы, он не нашел Кмицица; но в замке было спокойно. Когда же князь увидел шанцы и стоявшие на насыпях полевые орудия, молодой усердный полковник еще более вырос в его глазах. В тот же день Радзивилл осмотрел с Ганхофом укрепления, а вечером сказал ему:

– Он это сделал по собственному почину, без моего приказа, и так хорошо укрепил замок, что теперь здесь можно долго обороняться даже от пушек. Если он смолodu не свернет себе шею – далеко пойдет.

Был еще один человек, при воспоминании о котором князь не мог не удивляться, но удивление в этом случае мешалось с яростью, ибо человеком этим был Михал Володыёвский.

– Я бы скоро покончил с мятежом, – говорил он Ганхофу, – будь у меня двое таких офицеров. Кмициц, пожалуй, даже посмелее, но у него нет опыта, а тот воспитан в школе Иеремии за Днепром.

– Ясновельможный князь, не прикажешь ли преследовать его? – спросил Ганхоф.

Князь бросил на него взгляд и сказал многозначительно:

– Тебя он побьет, а от меня убежит. – Но через минуту прибавил, нахмурясь: – Здесь теперь все спокойно, однако в скором времени нам надо будет двинуться на Подлясье, чтобы покончить с конфедератами.

– Ясновельможный князь, – сказал Ганхоф, – стоит нам только уйти отсюда, как все возьмется здесь за оружие и выступят против шведов.

– Кто это все?

– Шляхта и мужики. И на шведах дело не кончится, они возьмется и за диссидентов, ибо всю вину за эту войну они приписывают нашим единоверцам, они считают, что это мы перешли на сторону врага и даже привели его сюда.

– Я о брате Богуславе думаю. Не знаю, справится ли он там, на Подлясье, с конфедератами.

– О Литве надо думать, о том, как удержать ее в повиновении нам и шведскому королю. Князь заходил по покою.

– Вот если бы поймать как-нибудь Гороткевича и Якуба Кмицица! – говорил он. – Захватят они там мои имения, разорят, ограбят, не оставят камня на камне.

– Может, с генералом Понтусом договориться, чтобы на то время, пока мы будем на Подлясье, он прислал сюда побольше войска?

– С Понтусом... никогда! – вспыхнул Радзивилл. – Уж если говорить, так только с самим королем. Нет нужды мне вести переговоры со слугами, коль можно сделать это с господином. Вот если бы король повелел Понтусу прислать мне тысячи две конницы – это другое дело. Но Понтуса я об этом просить не стану. Надо кого-нибудь послать к королю, пора с ним самим начать переговоры.

Худое лицо Ганхофа покрылось легким румянцем, глаза загорелись.

– Будь на то твоя воля, ясновельможный князь...

– Ты бы поехал, знаю; но доедешь ли, вот вопрос. Ты ведь немец, а иноземцу небезопасно углубляться в страну, охваченную волнением. Кто знает, где теперь король и где он будет через две недели или через месяц. Придется поколесить по всей Литве. Да и нельзя тебе ехать, туда надо послать своего, и из родовитых, дабы всемилостивейший король уверился, что не вся шляхта оставила меня.

– Человек неопытный может все дело испортить, – робко заметил Ганхоф.

– Все дело будет состоять в том, чтобы вручить мои письма и *responsum*<sup>63</sup> мне доставить, да растолковать, что не я велел бить шведов под Клеванами, – а это всякий сумеет сделать.

Ганхоф молчал.

Князь снова в тревоге заходил по покою, и на челе его читалась непрестанная душевная борьба. Ни минуты покоя не знал он с той поры, как заключил договор со шведами. Пожирала его гордыня, грызла совесть, удручало неожиданное сопротивление народа и войск; ужасало темное будущее, угроза разорения. Он метался, терзался, не спал по ночам, хирел. Глаза у него ввалились, он исхудал; румяное когда-то лицо его стало серым, и чуть не каждый час прибавлялось седины в усах и на голове. Словом, жил он в муках и сгибался под бременем забот.

Ганхоф следил за гетманом глазами, а тот все ходил по покою; полковник еще надеялся, что он передумает и пошлет его.

---

<sup>63</sup> ответ (лат.).

- Но князь вдруг остановился и хлопнул себя ладонью по лбу:
- Две хоругви конницы немедленно на конь! Я сам поведу.
- Ганхоф поглядел на него с удивлением.
- Поход? – невольно спросил он.
  - Ступай! – сказал князь. – Дай Бог, чтобы не оказалось слишком поздно.



## Глава XX

Кончив рыть шанцы и охранив Кейданы от внезапного нападения, Кмициц не мог больше откладывать поездку в Биллевици за россиенским мечником и Оленькой, тем более что от князя он получил прямой приказ привезти их в Кейданы. И все же пан Анджей тянул с отъездом, а когда отправился наконец в путь во главе полусотни драгун, такая тревога охватила его, будто шел он навстречу собственной гибели. Он чувствовал, что не ждет его там ласковый прием, и трепетал при одной мысли о том, что шляхтич может даже оказать вооруженное сопротивление, и тогда придется прибегнуть к силе.

Он принял решение сперва упрашивать и уговаривать. А чтобы приезд его никак не был похож на вооруженное нападение, он оставил драгун в корчме, расположенной в полуверсте от деревни и в версте от усадьбы мечника, а сам с одним только вахмистром и стремянным двинулся вперед, отдав приказ, чтобы карету, приготовленную на всякий случай, прислали немного погодя.

Был послеполуденный час, и солнце уже сильно клонилось к закату; но день после ненастной ночи стоял прекрасный, и небо было чистое; лишь кое-где на западе кудрявились розовые облачка, медленно спускаясь за оком, будто отара овец, уходящая с поля. Кмициц ехал через деревню с бьющимся сердцем и с тем беспокойством, с каким татарин въезжает впереди отряда в деревню, озираясь по сторонам, не спрятались ли где в засаде вооруженные люди. Но три всадника не привлекли ничьего внимания, одни только босые деревенские мальчишки улепетывали с дороги от лошадей, да крестьяне, завидев красивого офицера, снимали шапки и кланялись ему до земли. А он ехал вперед, пока, миновав деревню, не увидел усадьбу – старое гнездо Биллевичей, с обширными садами позади, которые тянулись далеко-далеко, до заливных лугов.

Кмициц убавил тут ходу и стал разговаривать сам с собою; видно, ответы готовил на вопросы, а сам тем временем задумчивым взором окидывал поднимавшиеся перед ним строения. Это не был дворец магната; однако с первого же взгляда можно было догадаться, что живет здесь довольно богатый шляхтич. Сам дом, выходявший задом в сад, а лицом обращенный на дорогу, был огромный, но деревянный. Сосновые стены потемнели от старости, так что оконные стекла на их фоне казались совсем белыми. Над срубом громоздилась огромная кровля с четырьмя дымовыми трубами посередине и двумя голубятнями по краям. Целые тучи белых голубей кружили над кровлей, то взмывая с шумом вверх, то спускаясь, словно снежные хлопья, на черные гонты, то трепыхаясь вокруг столбов крыльца.

Это крыльцо, украшенное щитом с гербами Биллевичей, нарушало соразмерность частей, так как расположилось оно не посередине, а сбоку. Видно, прежде дом был поменьше, потом сделали с одной стороны пристройку, но и пристройка с течением времени тоже потемнела и ничем уже не отличалась от основного строения. Два бесконечно длинных крыла, примыкавших к дому, тянулись по обе его стороны, образуя как бы два плеча подковы.

В этих боковых крыльях были покои, которые во время больших съездов отводились для гостей, кухни, кладовые, каретные сараи, конюшни для лошадей, которых хозяева любили иметь под рукой, помещения для служащих, челяди и надворных казаков.

Посреди обширного двора росли старые липы с гнездами аистов на вершинах; внизу, между деревьями, сидел на привязи медведь. Два колодца с журавлями по бокам двора и распятие между двумя копытами у въезда дополняли картину этого обиталища богатого шляхетского рода. По правую сторону от дома поднимались среди густых лип соломенные кровли риг, коровников, овчарен и амбаров.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.